



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Slav 4341.30.815

HARVARD COLLEGE LIBRARY

Bought with the income of  
**THE KELLER FUND**

---

Bequeathed in Memory of  
JASPER NEWTON KELLER  
BETTY SCOTT HENSHAW KELLER  
MARIAN MANDELL KELLER  
RALPH HENSHAW KELLER  
CARL TILDEN KELLER









*совм*

# КРИТИКЪ-САМОБЫТНИКЪ

Аполлонъ Александровичъ

ГРИГОРЬЕВЪ.

(КЪ XXXV ЛѢТЮ СО ДНЯ ЕГО СМЕРТИ).

БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

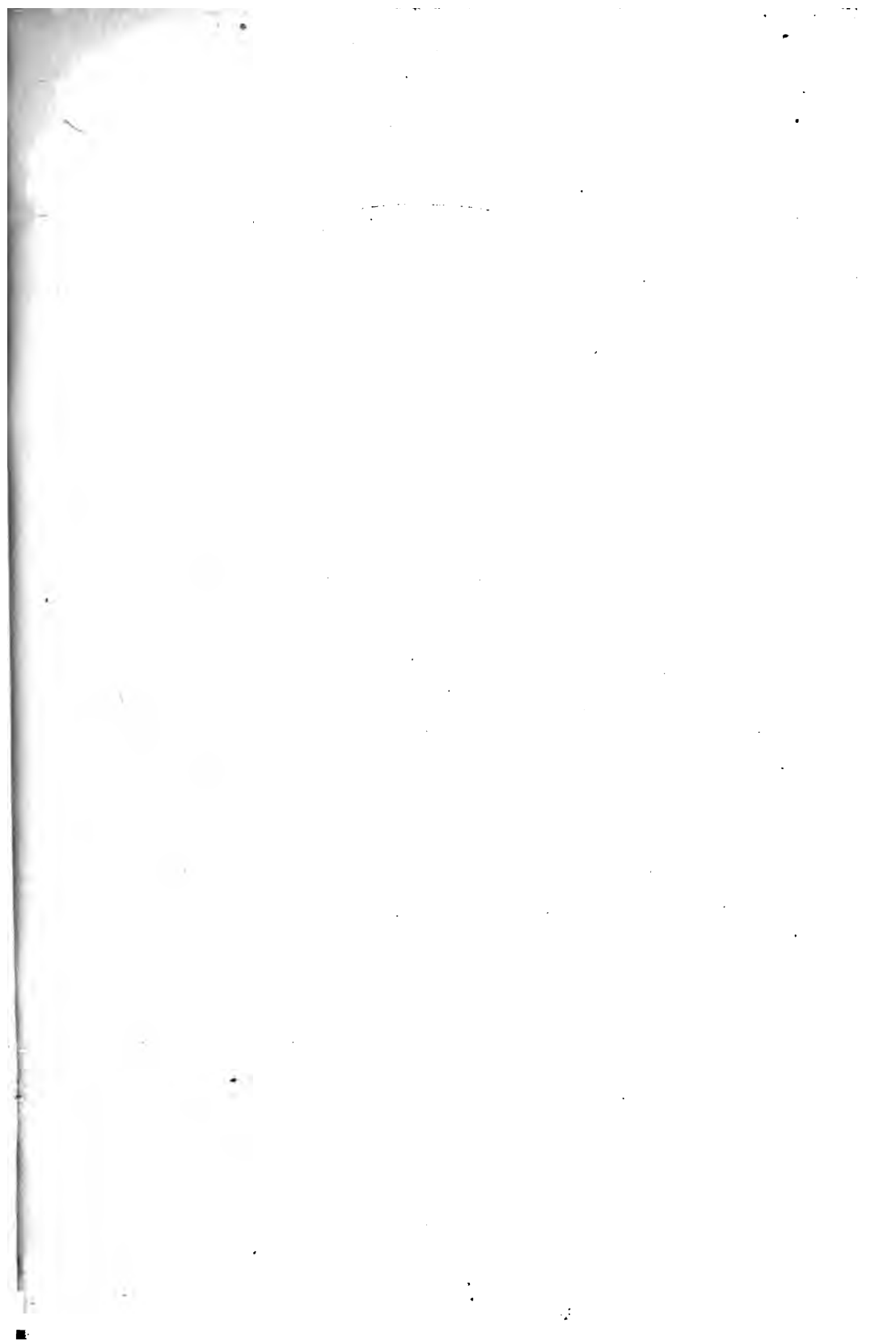
СЪ ПОРТРЕТОМЪ.

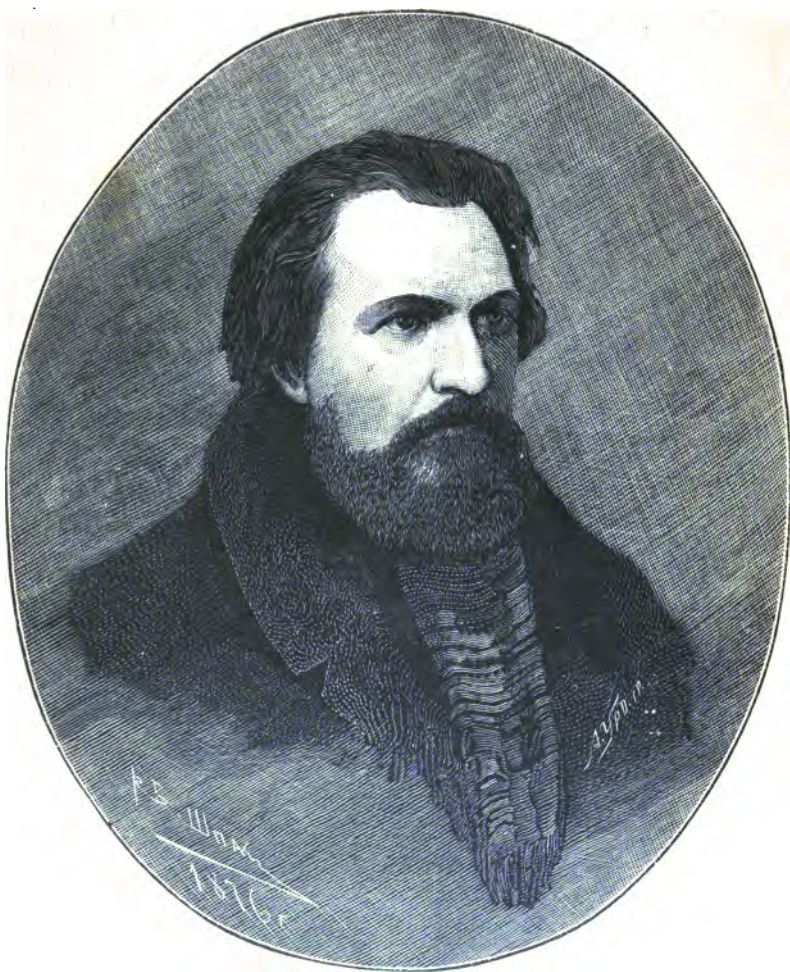
Л. М. Шахъ-Пароніанцъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія А. Е. Ландау. Театральная Площадь, 2.  
1899.







Аполлонъ Александровичъ  
ГРИГОРЬЕВЪ.

Типо-Литографія А. Е. Ландау. Театральная Пloщадь, 2.  
Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 16 Февраля 1899 г.

7/7

# КРИТИКЪ-САМОВЫТНИКЪ

АПОЛЛОНЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ

ГРИГОРЬЕВЪ.

(КЪ XXXV ЛѢТУ СО ДНЯ ЕГО СМЕРТИ).

---

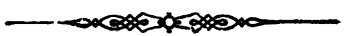
БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

СЪ ПОРТРЕТОМЪ.

---

Л. М. Шахъ-Пароніанцъ.

---



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія А. Е. Ландау. Театральная Площадь, 2.

1899.

Slav 4341.30.815

✓



*Heller*

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 11 февраля 1899 г.

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

---

Предлагаемый біографическій очеркъ одного изъ замѣчательныхъ истинно русскихъ мыслителей является въ нѣкоторомъ родѣ опытомъ, далеко не полнымъ, надлежаще не отдѣланнымъ и слабымъ сравнительно съ тѣмъ, какого заслуживаетъ великій критикъ нашего отечества. Писатель, жизнь котораго преисполнена непрерывной геройской внутренней и внѣшней борьбы, дорогихъ побѣдъ и горькихъ неудачъ, важныхъ заслугъ передъ родиной и тяжкихъ обидъ со стороны современниковъ, достоинъ во имя глубокой признательности потомства болѣе искуснаго пера и ждетъ себѣ талантливаго рассказчика.

Какъ извѣстно, пробѣлы и промахи въ каждой работѣ становятся видѣть только по окончаніи ея; равнымъ образомъ многіе недостатки въ изложеніи этой книжки обнаружались самому автору лишь позже; но онъ не рѣшился отказаться отъ мысли выпустить ее въ свѣтъ въ настоящемъ видѣ, вслѣдствіе глубокаго сознанія имъ полезности ея для снисходительнаго читателя и въ надеждѣ на возможность переработки ея въ слѣдующемъ изданіи на основаніи указаній строгихъ, но безпристрастныхъ рецензентовъ.

Главной задачей составителя жизнеописанія Аполлона Александровича Григорьева служить напомнить сообща съ голосами друзей покойнаго и лучшихъ русскихъ людей обществу о даровитѣйшемъ критикѣ, честно ратовавшемъ по гробъ свой за пробужденіе народнаго самосознанія, за самостоятельность изящнаго искусства и литературы и за развитіе правильныхъ эстетическихъ воззрѣній и вкуса. Такой голосъ необходимъ и понадобится еще не одинъ до тѣхъ поръ, пока труды Аполлона Григорьева,



составлявшіе его плоть и кровь, покоятся въ архивной пыли на пожелтѣвшихъ страницахъ отошедшихъ въ вѣчность органовъ печати, и пока наслѣдники его или другія лица, предпочитающія затрачивать крупныя суммы денегъ на печатаніе различныхъ курьезовъ западно-европейской мысли, не расщедраются хоть сколько-нибудь на изданіе полного собранія сочиненій критика-самобытника.

Кстати кое-что объ этомъ эпитетѣ. Слово «самобытникъ», быть можетъ, вовсе не существуетъ или мало употребительно, но оно весьма точно передаетъ основной характеръ личности и дѣятельности Аполлона Григорьева.

Въ нынѣшнемъ году, 25 сентября, исполнятся 35 лѣтъ со дня смерти критика-самобытника. Между тѣмъ до сего времени нѣтъ его цѣнныхъ произведеній, кромѣ одного тома, не только въ народныхъ читальняхъ, посвященныхъ славнымъ именамъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя и другихъ русскихъ классиковъ, но и въ магазинахъ и въ библіотекахъ для интеллигенціи; не безъ малыхъ хлопотъ достается чтеніе его литературныхъ работъ и критическихъ статей, разбросанныхъ въ разныхъ журналахъ, и въ Императорской Публичной Библіотекѣ. Кто же поручится, что не пройдетъ еще 15 лѣтъ и не наступитъ полувѣковая годовщина кончины Аполлона Григорьева, а русскій писатель для горячо любимаго имъ русскаго народа не останется все тѣмъ же «однимъ изъ ненужныхъ людей», какъ онъ съ горечью въ душѣ называлъ себя въ послѣдніе годы жизни?

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Памяти А. А. Григорьева <sup>1)</sup>.

Тебя я зналъ! Ты былъ одинъ изъ нихъ,  
Изъ тѣхъ людей, чья жизнь полна тревоги.  
Глубокихъ думъ, восторговъ молодыхъ...  
Кого влекутъ таинственные боги  
Всесильно въ мѣръ страданій роковыхъ;  
Кто жаждетъ жить со всею полнотою...  
Ты самъ сказалъ: „хоть мигъ — и тотъ за мною!“  
И правъ ли ты, или дерзко виновать —  
Не намъ судить! О вѣрь, нашъ милый братъ,  
Учитель нашъ восторженный, но строгій, —  
Ты дорогъ намъ за то, что вѣрилъ много.

*К. Бабиковъ.*

Духъ времени и отраженіе его въ жизни Аполлона  
Григорьева.

Жизнь Аполлона Александровича Григорьева, даровитаго русскаго критика, интересна не только какъ выдающагося общественнаго дѣятеля, но и какъ передового челоуѣка своего времени, отразителя характера, воззрѣній и мыслей извѣстной эпохи со всеѣми ея сильными и слабыми сторонами.

Характернымъ признакомъ нашего столѣтія служить быстрая смѣна въ Европѣ политическихъ событій, научныхъ системъ, литературныхъ направленій, формъ жизни — однимъ словомъ, какъ выражался покойный критикъ, вѣяніе. Разнообразныя теченія европейской мысли не оставались для Россіи чуждыми. Почти каждое десятилѣтіе надъ нею проносились новыя вѣянія, возбуждительно дѣйствовавшія на настроеніе общества и о дѣльныхъ личностей и вызывавшія борьбу старыхъ началъ

---

<sup>1</sup> „Эпоха“ 1864 г., октябрь.

съ новыми. Особенно отъ частыхъ перемѣнъ направленій умственного движенія зависѣло то болѣзненное состояніе современнаго человѣка, которое выражается въ необыкновенной его нервности и раздражительности. Еще большую силу вліянія вѣяній должны были чувствовать на себѣ люди отъ природы впечатлительные, живые и подвижные. Къ числу такихъ именно натуръ принадлежалъ Аполлонъ Григорьевъ. «Это былъ, во-первыхъ, литераторъ въ томъ старомъ, исключительномъ значеніи этого слова, которое многимъ теперь уже становится непонятнымъ, такъ какъ публицистика все болѣе и болѣе завладѣваетъ у насъ литературной средой; во-вторыхъ, это была натура артистическая въ столь же полномъ и исключительномъ значеніи слова. Явленія чистой мысли, поэзіи и сопредѣльныя съ нею изящныя искусства составляли для него все, попеременно увлекаая его въ свою область. То философія, доведенная нѣмцами до поэзіи, то дѣйствительно поэтическое явленія современныхъ французской, нѣмецкой, англійской и русской литературъ, то сценическое искусство и музыка, то сама жизнь съ своихъ обаятельныхъ, увлекающихъ сторонъ владѣла имъ безраздѣльно. Онъ не только изучалъ, на примѣръ, въ свое время философію, или восхищался попеременно сочиненіями Шиллера, Гюго, Байрона, Бальзака, Занда, Гейне, Лермонтова, Тургенева, Островскаго; онъ, такъ сказать, переживалъ все это, почти постоянно глядя на жизнь сквозь призму, представленную имъ однимъ изъ его любимцевъ: а все это болѣе или менѣе ярко отражалось въ его послѣдовательныхъ трудахъ, придавая имъ характеръ какъ бы чего-то неустановившагося, измѣнячиваго» <sup>1)</sup>).

Быть можетъ, подъ вліяніемъ новыхъ и новыхъ вѣяній чуткая, воспріимчивая и отзывчивая душа Григорьева создала изъ него въ жизни не поэта, въ полномъ смыслѣ этого слова, но борца мысли и литературнаго судью. Огромное значеніе вѣяніямъ приписываетъ и самъ онъ въ автобіо-

---

<sup>1)</sup> „Библиотека для чтенія“ 1864 г. № 8.

графіи: «Мои литературныя и нравственныя скитальчества» <sup>1)</sup>).

Не долго суждено было ему прожить, всего 42 года, но и въ этотъ короткій промежутокъ времени онъ испыталъ не мало умственныхъ переворотовъ: онъ ознакомился съ духомъ схоластики XVII в. изъ уроковъ, даваемыхъ ему семинаристомъ; съ идеями нравственной философіи и католицизма XVIII в. по произведеніямъ французскихъ и англійскихъ ложноклассическихъ литературъ, съ неодолимою жаждою перечитываемыхъ его отцомъ; съ характеромъ романтизма и материализма и съ метафизикой Шеллинга и Гегеля, способствовавшей развитію славянофильства съ его идеализмомъ и демократизмомъ и со всѣми послѣдующими измѣненіями и развѣтвленіями теоріи, которыя возникли на русской почвѣ, какъ-то: съ ученіями западниковъ, почвенниковъ, нигилизмомъ и т. п. Онъ съ юношескихъ лѣтъ поочередно платилъ дань каждому изъ этихъ направленій мысли 20, 30, 40, 50 и 60-хъ годовъ.

Но было еще одно вѣяніе, которое не только взяло въ концѣ концовъ верхъ надъ всѣми упомянутыми, но дало опредѣленную фizioномію русскому критику и обнаружило его оригинальность. Вѣяніе это было основное, коренное, было первымъ и послѣднимъ вѣяніемъ въ жизни Аполлона Григорьева. Оно заключалось для критика въ идеяхъ русской самобытности. Послѣднія составляютъ ключъ къ пониманію личности Григорьева и разгадку всей его литературной дѣятельности. Вотъ чѣмъ именно интересна жизнь Аполлона Александровича Григорьева, человѣка рѣдкихъ достоинствъ по своему душевному складу, по беззавѣтной преданности дѣлу всего своего существованія, и гражданина, котораго въ отечествѣ равно высоко цѣнили и цѣнятъ какъ самые близкіе друзья, такъ и ярые противники, ненавистники его сторонниковъ.

---

<sup>1)</sup> „Время“ 1862 г. №№ 11 и 12, „Эпоха“ 1864 г. №№ 3 и 5.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Родина. — Семья. — Дѣтство. — Вліяніе двора. — Домашнее обученіе. —  
Чтеніе книгъ.

Родился А. А. Григорьевъ въ 1822 году въ Москвѣ въ домѣ Козина у Тверскихъ воротъ, но росъ въ наиболѣе своеобразной по своему давно сложившемуся быту и обстановкѣ старины части древней столицы—въ Замоскворѣчьи. Россія въ то время только что успѣла сбросить съ себя бремя недавнихъ невзгодъ нашествія французовъ, и въ воздухѣ еще сильно чувствовались слѣды мощнаго подъема народнаго духа. Москва двѣнадцатаго года была полна преданій.

Московскій пожаръ отозвался и на судьбѣ семейства Григорьевыхъ. Они прежде жили подѣ покровительствомъ помѣщика, дѣда Аполлона Александровича, довольно богато, а потомъ, когда у старика сгорѣли два дома на Дмитровкѣ, жизнь всего рода ихъ перемѣнилась, и о прошломъ осталось въ душѣ впечатлительнаго ребенка навсегда смутное воспоминаніе какого-то счастья. То же обстоятельство послужило родителямъ его причиной переезда въ Замоскворѣчье на Болвановку.

Родители Аполлона Григорьева хотя по мужской линіи происходили изъ духовнаго званія, а по женской изъ вольноотпущенническаго сословія, были тѣмъ не менѣе дворяне и дворянскую честь цѣнили высоко. Его отецъ, Александръ Ивановичъ, титулярный совѣтникъ, человѣкъ умный и добродушный, но поверхностно образованный, безхарактерный, служилъ секретаремъ въ магистратѣ и пользовался въ кругу сотоварищей большимъ вѣсомъ, благодаря своему воспитанію въ Благородномъ пансіонѣ московскаго университета и знанію французскаго языка.

Жена его, Татьяна Андреевна, была дочерью крѣпостного

кучера Григорьевыхъ. «По семейнымъ преданіямъ, Александръ Ивановичъ, служившій первоначально въ сенатѣ, какъ передаетъ сынъ критика, увлекся ею и, вслѣдствіе препятствія со стороны своихъ родителей къ браку, «запилъ» и потерялъ мѣсто. Приживъ съ возлюбленною сына Аполлона, онъ былъ поставленъ въ необходимость обвиняться съ нею» <sup>1)</sup>).

О матери своей Аполлонъ Григорьевъ отзывается, какъ о женщинѣ, не получившей никакого образованія, кромѣ чтенія азбуки, справедливой и съ нѣкоторымъ эстетическимъ чутьемъ, умѣвшей прекрасно пѣть по слуху, но въ то же время крайне раздражительной вслѣдствіе болѣзненныхъ припадковъ.

Авторитетъ ея чувствовался во всемъ домѣ, и Александръ Ивановичъ, способный жить во всякой обстановкѣ ради тишины и мира, по рефлексіи беззавѣтно подчинялся своей супругѣ.

Отецъ критика впослѣдствіи страдалъ приступами неистовства, унаслѣдовавъ родовой недугъ.

Ненормальное настроеніе родителей вліяло на ребенка, усилило его впечатлительность и сдѣлало его сострадательнымъ до болѣзненности.

Болѣе здоровой и энергической натурой рисовался въ воображеніи дитяти его дѣдъ Иванъ Григорьевичъ, который косвеннымъ образомъ нѣсколько позднѣе содѣйствовалъ литературному развитію мальчика. «Дѣдъ мой, вспоминаетъ съ отраднымъ чувствомъ Григорьевъ, въ общихъ чертахъ удивительно походилъ на старика Багрова, и день его въ ту эпоху, когда онъ уже могъ жить на покой, мало разнился отъ дня Степана Багрова. Разница между нимъ и Степаномъ Багровымъ заключалась въ томъ, что онъ же, кряжевый человѣкъ, поставленъ былъ въ инныя жизненныя условія. Онъ не родился помѣщикомъ, а сдѣлался имъ, да и то подъ конецъ своей жизни, многодѣльной и многотрудной. Пробилъ онъ ее, разумѣется, службой, а потому пропалъ, что былъ человѣкъ умный и энергичный. У него была

---

<sup>1)</sup> А. Григорьевъ. «Одинокій критикъ». Книжки Недѣли. 1895 г, августъ, с.р. 6.

страшная жажда къ образованію. Онъ былъ большой наче-  
чикъ духовныхъ книгъ и даже нерѣдко спорилъ съ архіере-  
ями; послѣ него осталась большая бібліотека, которою поль-  
зовались его потомки. Дѣдъ мой былъ знакомъ съ Новиковымъ  
и отъ него получилъ много книгъ».

Первыми пріятными впечатлѣніями дѣтства Григорьева  
были тѣ, которыя онъ вынесъ отъ ранняго своего сближенія  
съ людьми изъ простого народа. «Суевѣрія и преданія  
оказывали мое дѣтство, какъ дѣтство всякаго, — гово-  
ритъ онъ, — большой или небольшой руки барченка, окружен-  
наго большой или небольшой дворней и по временамъ совер-  
шенно предоставляемаго ей. Дворня, а у насъ именно  
испоконъ вѣка велась она, несмотря на то, что отецъ мой  
только что жилъ достаточно, была вся она изъ деревни, и  
съ ней я пережилъ весь тотъ міръ, который съ дѣйстви-  
тельнымъ мастерствомъ передалъ Гончаровъ». — Это соприкосновеніе  
съ простонародьемъ оказало на мальчика много хорошаго и не  
мало вреднаго вліянія, но во всякомъ случаѣ имѣло весьма  
важныя послѣдствія въ нравственномъ и умственномъ отноше-  
ніяхъ. Вредъ сказался въ преждевременномъ пробужденіи въ  
немъ физическихъ инстинктовъ и въ чрезмѣрномъ развитіи  
фантазіи. «На безобразно нервную натуру мою, замѣчаетъ  
Григорьевъ, міръ суевѣрій подѣйствовалъ такъ, что въ 14  
лѣтъ, напившись, кромѣ того, Гофманомъ, я истинно му-  
чился по ночамъ въ своемъ мезонинѣ, гдѣ спалъ я одинъ съ  
Иваномъ, или Ванюшей, который былъ моложе меня годомъ.  
Лихорадочно-тревожно прислушивался я къ бою часовъ, а они  
же притомъ шипѣли и сопѣли страшно неистово, и засыпалъ  
всегда только послѣ 12 часовъ, послѣ крика предразсвѣтнаго  
пѣтуха». Но вотъ и хорошая сторона такого сближенія. Во-  
просъ этотъ не разъ останавливалъ на себѣ умы педагоговъ,  
но факты не ждутъ рѣшеній ученыхъ, и въ данномъ дѣлѣ  
болѣе, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ, играетъ роль случай-  
ность. Дворовые очень любили ребенка и не таили отъ него  
своихъ секретовъ, что давало ему возможность приглядѣться

лучше къ характеру и душевнымъ качествамъ простаго русскаго человѣка, на которомъ много грубыхъ слѣдовъ оставило крѣпостное право. Дѣтскія наблюденія должны были невольно поселить въ груди будущаго поборника народныхъ началъ жизни неугасимую привязанность къ порабощенному люду. «Рано также изучилъ я всѣ тонкости крѣпкой русской рѣчи, и отъ кучера Василя наслушался сказокъ о батракахъ и ихъ извѣстныхъ хозяевахъ; вообще кучера Василя,—заключаетъ съ чувствомъ благодарности Григорьевъ,—во многихъ отношеніяхъ я долженъ считать своимъ воспитателемъ, почти на половину моимъ первымъ учителемъ». Ни мать, ни отецъ не препятствовали близкимъ отношеніямъ сына къ дворовымъ и сами вообще относились къ нимъ человѣчно, заботливо, не стѣняя ихъ въ ихъ веселіи и даже попойкахъ. Чѣмъ характеризовалось самое сближеніе, видно изъ слѣдующаго. «Во всѣ народныя игры игрывалъ я съ нашей дворней на широкомъ дворѣ: и въ бую, и въ лапту, и даже въ чехарду, когда случалось, что отецъ и мать уѣзжали изъ дому въ гости и не брали меня; всѣ басни народнаго животнаго эпоса про лисицу и волка, про лисицу и пѣтуха, про житье-бытье пѣтуха, кота и лисицы въ одномъ домѣ—переслушалъ я въ осеннія сумерки отъ деревенской дѣвочки Марины, взятой изъ деревни собственно для забавы мнѣ».

Если ко всему этому прибавить еще вліяніе на мальчика съ пылкимъ воображеніемъ его дѣда и двоюродной тетки, лицъ съ доброй, восторженной душой, рассказывавшихъ дитяти съ своей стороны разныя чудеса и исторіи о мертвецахъ и колдуньяхъ, нисколько не удивительны будутъ то глубокое сочувствіе, та горячая любовь, то глубокое пониманіе родного народа, которыми проникнуты критическія статьи и прочія произведенія талантливаго, смѣлаго провозвѣстника русской самобытности. Впослѣдствіи Григорьеву вспоминалось все это: и басни и пѣсни народа, и рассказы и книги дѣда. Эти обстоятельства его дѣтства такъ глубоко запали въ его душу, что заставили его въ автобіографіи отвести имъ едва ли не первое



мѣсто. «Не безъ намѣренія напираю я, утверждаетъ онъ, на этотъ частный фактъ моей личной жизни. Быть можетъ, силѣ первоначальныхъ впечатлѣній обязанъ я развязкою умственного процесса, совершившагося со мною поворота къ горячему благоговѣнiю передъ земскою народною жизнью».

Мечтательнаго мальчика мало забавляли игрушки. На седьмомъ году мать принялась съ нимъ за азбуку, а три года спустя приглашенъ былъ для обученiя его сынъ священника семинаристъ, нѣкто Сергѣй Ивановичъ, только что поступившій въ университетъ на медицинскій факультетъ. Молодой студентъ при всемъ своемъ добросердечii оказался далеко не искуснымъ учителемъ. Приѣмъ схоластическаго преподаванiя и зубренiе священной исторiи и латинской грамматики Лебедева слово въ слово сразу убили въ живомъ дитяти охоту къ ученiю и расположили его къ лѣни. Особенно онъ не питалъ любви къ математикѣ, зато рассказы изъ римской исторiи о Врутѣ, Цинцинатѣ, Камиллѣ и прочихъ великихъ дѣятеляхъ приковывали вниманiе любознательнаго ученика.

Чтенiе книгъ сдѣлалось вскорѣ его страстью. Отъ дѣда достался ему цѣлый сундукъ съ книгами духовнаго и свѣтскаго содержанiя, преимущественно изъ произведенiй русской литературы съ конца прошлаго столѣтiя: сатирическiе журналы: «И то и се», «Всякая Всячина», назидательныя сочиненiя Эмина, журналы и изданiя Новикова, произведенiя Княжнина, Николева, Загоскина, Лажечникова, Зотова, «Исторiя Государства Россiйскаго» Карамзина, передъ которой особенно онъ благоговѣлъ, и множество другихъ. Юноша не только самъ упивался чтенiемъ, но также чутко прислушивался къ чтенiю отца, для чего прибѣгалъ ко всевозможнымъ уловкамъ. Чтенiе происходило по вечерамъ, даже послѣ ужина,—и онъ, лежа въ спальнѣ, жадно внималъ отцовскому чтенiю въ столовой, не смыкая главъ вплоть до окончанiя его во 2-мъ часу ночи. Читались старинныя романы переводной литературы и сочиненiя Пушкина, Марлинскаго, Загоскина, Полежаева, а также «Исторiя» Карамзина. «Чтенiе

производилось пожирающее... Но въ особенности съ засосомъ, сластью, искреннѣйшей симпатіей и жадностью читались романы Ратклифъ, Жанлисъ, Дюкре Дюменили, Кортенъ, Клау-роса, сочиненія Августа Лафонтена, Вальтеръ Скотта и др.» Иногда удавалось ему тайкомъ прочитывать эти книги въ кабинетѣ отца въ отсутствіе послѣдняго. Естественнo, чтеніе подобныхъ произведеній способствовало, съ одной стороны, несвоевременному умственному развитію, съ другой—переутомленію мозга и развращенію понятій. Между тѣмъ учебныя занятія подвигались туго, потому что способности притуплялись чрезмѣрнымъ напряженіемъ подъ вліяніемъ чтенія.

Для обученія французскому языку взяли въ дядьки француза, который занимался съ мальчикомъ довольно успѣшно около двухъ лѣтъ, на третій же годъ на Святой съ нимъ приключился случай, напоминающій о славномъ наставникѣ-иностраницѣ Гринева: онъ въ пьяномъ состояніи слетѣлъ съ лѣстницы, расшибся и умеръ въ больницѣ.

Въ комнатѣ студента собирались часто товарищи его, и тогда шли оживленныя бесѣды о различныхъ философскихъ теоріяхъ, которыя при всей своей недоступности пониманію мало-по-малу обратили юнаго Григорьева къ ознакомленію съ психологіей Векке, философіей Шеллинга, Гегеля и др.

Въ первой половинѣ 30-хъ годовъ замѣчается среди университетской молодежи пробужденіе интереса къ отвлеченному мышленію и въ знаменитомъ кружкѣ Станкевича сосредоточиваются лучшія интеллигентныя молодыя силы. Философія Шеллинга овладѣваетъ всецѣло юными умами и въ окружающей атмосферѣ ощущается бодрое настроеніе. Правда, въ стѣнахъ московскаго университета еще господствуетъ старый застой, но въ печати начинается обновленіе. Внезапное появленіе «Литературныхъ мечтаній» Бѣлинскаго въ журналѣ «Молва» вызывать въ обществѣ, особенно въ молодежи, сильный подъемъ духа <sup>1)</sup>).

---

<sup>1)</sup> Сочин. А. Григорьева. Т. I, стр. 303—4.

«Какимъ образомъ и этотъ кружокъ посредственностей, т. е. Сергѣя Ивановича и посѣщавшихъ его товарищей, спрашиваетъ А. А. Григорьевъ,—задѣвали жизненные вихри, какимъ образомъ вѣянія эпохи не только что касались ихъ, но нерѣдко и уносили за собою, конечно, только умственно? Вѣдь, дѣло въ томъ, что, если оживлялась бесѣда, то не о выгодныхъ мѣстахъ и будущихъ карьерахъ говорилось... Говорилось, и говорилось съ азартомъ о самоучкѣ Полевомъ и его «Телеграфѣ» съ романтическими стремленіями; каждая новая строка Пушкина жадно ловилась въ безчисленныхъ альманахахъ той наивной эпохи; съ какой-то лихорадочностью произносилось имя «лордъ Байронъ»; изъ устъ переходили дикія и порывистыя стихотворенія Полежаева... Когда произносилось это имя и—очень рѣдко, конечно,—нѣсколько другихъ еще болѣе отверженныхъ именъ, какой-то ужасъ овладѣвалъ кругомъ молодыхъ людей,—и вмѣстѣ что-то страшно соблазняющее, неодолимо влекущее было въ этомъ ужасѣ, а если въ торжественные дни именинъ, рожденій и иныхъ разрѣшеній «вина и елса» компанія доходила до нѣкотораго искусственно приподнятаго настроенія, то неопредѣленное чувство суевѣрнаго и вмѣстѣ обаятельнаго страха смѣнялось какою-то отчаянною, наивною симпатіею и къ тѣмъ рѣчамъ и къ тѣмъ людямъ, которые или «жгли жизнь» беззавѣтно, или дерзостно ставили ее на карту... Слышались какія-то странныя, какія-то какъ будто и не свои рѣчи изъ устъ этихъ благонаправныхъ молодыхъ людей.

«Какимъ образомъ даже въ трезвыя минуты передавали они рассказъ другъ другу объ ихъ, страшныхъ имъ, товарищахъ, отдавшихъ голову и сердце до нравственнаго запоя шеллингизму, или всю жизнь свою бѣснованію страстей! Вѣдь всѣ они, благонаправные молодые люди, знали хорошо, что отдача себя въ полное обладаніе силъ такого мышленія ни къ чему хорошему повести не можетъ. Нѣкоторые пытались даже нѣсколько юмористически отнестись къ философскому или жизненному бѣснованію—что дескать «умъ за разумъ у людей заходить» — и все-таки поддавались лихорадочному обаянію.

Какимъ образомъ, замѣчаетъ Ап. Ал. въ заключеніе, — людей, которыхъ ждала въ будущемъ тина мѣщанства или много-много что участь быть постоянными «пивогрызами», тогда всевластно увлекали вѣянія философіи и поэзіи, новыя, дерзкія стремленія науки, которая гордо строила цѣлый міръ однимъ трансцендентальнымъ мышленіемъ изъ одного всеохватывающаго принципа.

«Соблазнъ, страшный соблазнъ носился въ воздухѣ, звучавшемъ страстно сладкими строфами Пушкина. Соблазнъ рвался въ нашу жизнь вихрями юной французской словесности. Поколѣніе, выросшее, не искало точки опоры или покоя, а только соблазнялось тревожными ощущеніями. Поколѣніе, подроставшее, надыхавшись отравленнымъ этими ощущеніями воздухомъ, жадно хотѣло жизни, борьбы и страданій» <sup>1)</sup>. Порывистая натура Ап. Григорьева подвергается новымъ влияніямъ. Это юношеское увлеченіе предшествовало поступленію его въ университетъ, и переходное душевное состояніе весьма живо очерчено имъ въ слѣдующихъ строкахъ: «Яснѣтъ... Раздается могущественный голосъ, вмѣстѣ и узаконивающій и прищипоривающій стремленія и неясныя гаданія эпохи, — голосъ великаго борца Виссаріона Бѣлинскаго. Въ «Литературныхъ мечтаніяхъ», какъ во всякомъ геніальномъ произведеніи, схватывается въ одно цѣлое все прошедшее и вмѣстѣ закидываются сѣти въ будущее. Вѣетъ другой эпохой. Дѣтство мое личное уже кончилось. Отрочества у меня не было, да не было собственно и юности. Юность, настоящая юность, началась для меня очень поздно, а это было что-то среднее между отрочествомъ и юностью. Голова работаетъ, какъ паровая машина, скачетъ во всю прыть къ оврагамъ и безднамъ, а сердце живетъ только мечтательною, фантастическою, напускною жизнью. Точно не я живу, а разные образы литературы во мнѣ живутъ».

---

<sup>1)</sup> „Моя литературныя и нравственныя скитальчества“. „Время“ 1862 г. № 11.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Студенчество и Московскій университетъ съ новыми порядками и молодыми профессорами. — Знакомство съ Я. Полонскимъ и А. Фетомъ и литературныя симпатіи товарищей. — Занятія науками и успѣхи Григорьева. — Увлеченіе философіей. — Любовь къ музыкѣ. — Пробужденіе общественнаго самосознанія въ связи съ расцвѣтомъ генія Пушкина.

Обстановка отчужаго дома, образъ жизни, семейныя отношенія, кругъ духовныхъ интересовъ и характеръ воспитанія, несмотря на нѣкоторыя ненормальныя условія, въ общемъ отразились довольно благопріятно на зарѣ жизни въ Аполлонѣ Григорьевѣ, надѣленномъ отъ природы прекрасными душевными качествами и богатыми задатками. Изъ-подъ родительскаго крова онъ вступилъ въ аудиторію Московскаго университета и въ кругъ новыхъ товарищей съ высоконравственными убѣжденіями, съ неутолимой жаждой знанія и съ полною готовностью къ самоотверженному труду.

Студенчество его совпало съ лучшей порой исторіи университета, когда на кафедрахъ появились молодые талантливые ученые, имена которыхъ запечатлѣлись навсегда въ сердцахъ русской молодежи и общества. «На входномъ порогѣ этой эпохи, по словамъ Аполлона Григорьева, написано: «Московскій университетъ» — послѣ преобразованія 1836 года — университетъ Рѣдкина, Крылова, Морошкина, Крюкова, университетъ таинственнаго гегелизма, съ тяжелыми его формами и стремительной, тянущейся неодолимо впередъ силой — университетъ Грановскаго»...

Григорьевъ избралъ юридическій факультетъ. Товарищами Аполлона Александровича по университетской скамьѣ оказались два славныхъ русскихъ поэта: Яковъ Петровичъ Полонскій и Аѳанасій Аѳанасьевичъ Фетъ. Послѣдній жилъ продолжительное время въ семействѣ Григорьевыхъ. Въ воспоминаніяхъ обоихъ поэтовъ находятся весьма интересныя свѣдѣнія о студенчествѣ критика и нѣкоторыхъ характерныхъ фактахъ его послѣдующей жизни.

Вотъ что сообщаетъ о немъ Я. П. Полонскій въ статьѣ «Мои студенческія воспоминанія». «На экзаменѣ въ большой бѣлой залѣ съ бѣлыми колоннами, въ новомъ университетскомъ зданіи, сосѣдомъ моимъ по скамьѣ былъ не кто иной, какъ Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ. Тогда онъ былъ еще свѣжимъ, весьма благообразнымъ юношей, съ профилемъ, напоминавшимъ профиль Шиллера, съ голубыми глазами и съ какою-то тонко розлитой по всему лицу его восторженностью или меланхоліей. Я тотчасъ же съ нимъ заговорилъ—и мы сошлись. Онъ признался мнѣ, что пишетъ стихи; я признался, что пишу драму (совершенно мною позабытую) подъ заглавіемъ «Вадимъ Новгородскій, сынъ Мары Посадницы». Григорьевъ жилъ за Москвой-рѣкой въ переулкѣ у Спаса въ Наливкахъ <sup>1)</sup>. Жилъ онъ у своихъ родителей, которые не разъ приглашали меня къ себѣ обѣдать. А Фетъ, студентъ того же университета, былъ ихъ постояннымъ сожителемъ, и комната его въ мезонинѣ была рядомъ съ комнатою молодого Григорьева. Аэоня и Аполлоша были друзьями» <sup>2)</sup>.

Я. П. Полонскій упоминаетъ о предосторожностяхъ родителей Григорьева: несмотря на то, что сынъ ихъ былъ уже студентомъ, они боялись его посылать одного куда бы то ни было. «Родители его, говорить поэтъ, охотно отпускали его въ театръ, куда онъ ѣздилъ въ сопровожденіи Фета, но не къ товарищамъ. Старушка, мать его, держала его какъ бы на привязи: онъ никуда не выѣзжалъ безъ ея соизволенія. У меня бывалъ онъ рѣдко и оставался у меня обыкновенно только до 9 часовъ вечера; на дворѣ или за воротами постоянно ожидали его пошевни, и никогда я не могъ уговорить его остаться у меня дольше. «Нелзя»,—говорилъ онъ, спѣшилъ проститься и уѣзжалъ» <sup>3)</sup>.

Сынъ А. А. Григорьева подтверждаетъ этотъ фактъ, пре-

<sup>1)</sup> Здѣсь, на Малой Полянкѣ, семейство Григорьева жило въ собственномъ домѣ, купленномъ Александромъ Ивановичемъ въ 1830 году.

<sup>2)</sup> Ежемѣсячныя литер. приложенія къ журналу „Нива“ за 1898 г. № 12

<sup>3)</sup> Тамъ же.

красно характеризующій приёмы домашняго воспитанія критика: «Мы уже упоминали, замѣчаетъ онъ,—о томъ семейномъ догматизмѣ, который держался въ домѣ Григорьевыхъ главнымъ образомъ вліяніемъ Татьяны Андреевны,—догматизмѣ, надъ которымъ Аполлонъ Александровичъ, будучи уже на 4-мъ курсѣ, жестоко издѣвался втихомолку, но тѣмъ не менѣе по субботамъ сходилъ внизъ, по приглашенію: «пожалуйте къ маменькѣ голову чесать»,—и подставлялъ свою голову подъ ея гребень. Въ гости его отпускали не иначе, какъ на своей лошади въ сопровожденіи кучера Василя, который требовалъ, чтобы къ 10-ти часамъ молодой баринъ, «по приказанію маменьки», непременно возвращался домой» <sup>2)</sup>).

«Съ первыхъ же лѣтъ пребыванія въ университетѣ, по свидѣтельству того же лица, Аполлонъ Александровичъ обратилъ на себя вниманіе такихъ профессоровъ, какъ И. Д. Бѣляевъ и Н. И. Крыловъ. Бѣляевъ говорилъ съ восторгомъ о своемъ ученикѣ. Мало общительный Крыловъ, бывшій въ то время деканомъ, пригласилъ Аполлона Александровича къ себѣ, что считалось тогда особенной и мало кому достававшейся честью. Будучи на второмъ курсѣ, онъ былъ потребованъ къ властительному и блестящему попечителю учебнаго округа, графу С. Г. Строганову, который спросилъ его по-французски, имъ ли было написано французское разсужденіе, поданное при полугодичномъ испытаніи? «Оно такъ хорошо, — прибавилъ графъ, — что я усомнился, чтобы оно было писано студентомъ», и на утвердительный отвѣтъ Григорьева замѣтилъ: «Vous faites trop parler de vous, il faut vous effacer»..

«Вскорѣ А. А. сдѣлался центромъ мыслящаго студенческаго кружка, и около него сгруппировались лучшіе представители тогдашняго студенчества: Боклевскій, Калайдовичъ, А. В. Новосильцевъ, С. М. Соловьевъ, Студицкій, В. А. Черкасскій, С. С. Ивановъ, А. А. Фетъ и многіе другіе.

«Быстро и съ тѣмъ же совершенствомъ, какъ и француз-

---

<sup>2)</sup> А. А. Григорьевъ. „Одинокій критикъ“. „Книжки Недѣли“ 1895 г., августъ, стр. 20—21.

скимъ языкомъ, овладѣлъ Григорьевъ и языками англійскимъ и нѣмецкимъ; знаніе послѣдняго дало ему возможность читать философскія книги, начиная съ Гегеля, ученіе котораго, распространяемое московскими профессорами съ Рѣдкинымъ и Крыловымъ во главѣ, составляло главнѣйшій интересъ частыхъ бесѣдъ студентовъ между собою. До чего имя Гегеля сдѣлалось популярнымъ даже въ самомъ домѣ Григорьевыхъ, можно заключить изъ того, что приставленный къ А. А. слуга Иванъ, выпившій какъ-то не въ мѣру, крикнулъ при разѣздѣ изъ театра, вмѣсто: «коляску Григорьева» — «коляску Гегеля!» Съ той поры въ домѣ говорили о немъ, какъ объ Иванѣ Гегелѣ<sup>1)</sup>.

«Что же касается до его внутренней жизни, замѣчаетъ Я. П. Полонскій, то въ первые дни нашего знакомства онъ нерѣдко приходилъ въ отчаяніе отъ стиховъ своихъ, записывалъ возвращенія и давалъ мнѣ ихъ читать. Это была какая-то смѣсь метафизики и мистицизма».

Молодые люди, сблизившись, разглядѣли другъ въ другѣ много хорошихъ сторонъ, между которыми главное мѣсто занимали у обоихъ стремленіе ихъ къ расширенію своего умственного кругозора и страстная любовь къ поэзіи. Взаимная помощь въ разрѣшеніи волнующихъ философскихъ, эстетическихъ и нравственныхъ вопросовъ, безпристрастная и строгая оцѣнка первыхъ литературныхъ опытовъ, кромѣ уваженія къ чужому мнѣнію и слову, выработали въ пріятеляхъ то вѣрное и тонкое пониманіе изящнаго и серьезное, безкорыстное, честное и непоколебимое отношеніе къ своему призванію, которыми въ послѣдующей жизни и дѣятельности они рѣзко выдѣлялись среди безчисленныхъ ученыхъ, писателей и публицистовъ.

А. А. Фетъ подробно описываетъ совмѣстную жизнь съ Григорьевымъ въ домѣ родителей послѣдняго, времяпровожденіе и свою дружбу съ нимъ. «Казалось, говорить поэтъ, трудно было бы такъ близко свести на долгіе годы двѣ такихъ противоположныхъ личности, какъ моя и Григорьева. Между тѣмъ

<sup>1)</sup> А. Григорьевъ. „Одинокій критикъ“. „Книжки Недѣли“ 1895 г. августъ, стр. 15—16.



насъ соединяло самое живое чувство общаго бытія и врожденныхъ интересовъ. Я зналъ и чувствовалъ, до какой степени Григорьевъ, среди стѣснительной догматики домашней жизни, дорбжилъ каждую свободною минутою для занятій; а между тѣмъ, я всѣми силами старался мѣшать ему, прибѣгая иногда къ пыткѣ, выстраданной еще въ Верро и состоящей въ томъ, чтобы, поймавъ съ обѣихъ сторонъ кисти рукъ своей жертвы и подсунувъ въ нихъ снизу подъ ладони большіе пальцы, вдругъ вывернуть обѣ свои кисти, не выпуская рукъ противника, изъ середины ладонями кверху; при этомъ не ожидавшій такого мучительнаго и безпомощнаго положенія рукъ противникъ лишается всякой возможности защиты. При такихъ отношеніяхъ надо было бы ожидать между нами враждебныхъ чувствъ, но въ сущности было наоборотъ. Я отъ души любилъ свою жертву, а Аполлонъ своего мучителя, и, если слово воспитаніе не пустой звукъ, то наше сожителство лучше всего можно сравнить съ точеніемъ одного ножа о другой, хотя со временемъ лезвія ихъ получаютъ совершенно различное значеніе. Связующимъ насъ интересомъ оказалась поэзія, которой мы старались учиться всюду, гдѣ она намъ представлялась» <sup>1)</sup>.

«Надо отдать справедливость старикамъ Григорьевымъ, что они были чрезвычайно щедры на всѣ развлеченія для своего сына. Первое мѣсто занимали Большой и Малый (французскій) театры. Главнымъ источникомъ наслажденій былъ для А. А. Большой театръ съ Мочаловымъ въ драмѣ, Ферзингомъ, Нейретеромъ и Бекомъ въ оперѣ. Говоря объ актерахъ, вліявшихъ на Григорьева, нельзя также не упомянуть и о Щепкинѣ, за которымъ Григорьевъ всегда и въ послѣдующіе годы своей жизни признавалъ значеніе великаго толкователя Фамусова и героевъ гоголевскихъ комедій, о только-что выступавшемъ въ то время Садовскомъ и о всеобщемъ любимцѣ Жи-

---

<sup>1)</sup> А. Фетъ. „Ранніе годы моей жизни“. „Русское Обозрѣніе“ 1893 г., январь.

вокини, котораго публика, еще до появленія изъ-за кулисъ, привѣтствовала громомъ рукоплесканій» <sup>1)</sup>).

Я. П. Полонскій указываетъ, какой оттѣнокъ носили сомнѣнія, мучившія будущаго критика. «Рядомъ сомнѣній можно прійти къ отрицанію, но самое сомнѣніе еще не есть отрицаніе. Разъ въ университетѣ встрѣтился со мною Аполлонъ Григорьевъ и спросилъ меня: «Ты сомнѣваешься?» — «Да», — отвѣчалъ я. — «И ты страдаешь?» — «Нѣтъ» — «Ну, такъ ты глупъ» — промолвилъ онъ и отошелъ въ сторону. Это нисколько меня не обидѣло. Я былъ искрененъ и сказалъ правду; мои сомнѣнія были еще не настолькоъ глубоки и сознательны, чтобъ доводить меня до отчаянія».

Философскія сомнѣнія, при всей глубинѣ и силѣ, не ослабляли въ студентѣ Григорьевѣ его религіознаго чувства, какъ бываетъ нерѣдко въ юности съ другими. Однажды Фетъ позволялъ себѣ неумѣстную шутку во время молитвы своего друга. «Передъ праздникомъ, передаетъ Я. П. Полонскій, ходилъ онъ (Григорьевъ) въ церковь къ всеобщей и разъ, когда онъ, вставши на колѣни, до самаго пола преклонилъ свою голову, онъ услышалъ надъ самымъ ухомъ шопотъ Фета, который, пробравшись въ церковь, незамѣтно всталъ рядомъ съ нимъ на колѣни, также опустилъ свою голову и сталъ издѣваться надъ нимъ, какъ Мефистофель».

По отзывамъ обоихъ друзей, Аполлонъ Григорьевъ очень любилъ музыку и пѣніе; хотя онъ дурно игралъ на рояли, зато прекрасно передавалъ русскіе народные мотивы, которыми увлекался до самозабвенія. Онъ имѣлъ обыкновеніе по утрамъ прямо съ кровати садиться въ залъ за рояль и будить родителей звуками какой-либо сонаты.

Въ то время такъ же, какъ и всѣ, онъ восхищался Мейерберомъ; «Адскій вальсъ» изъ «Роберта Дьявола» въ полномъ смыслѣ слова потрясалъ Григорьева.

Впоследствии, когда Григорьевъ вращался въ литератур-

---

<sup>1)</sup> А. Григорьевъ, „Одинокій критикъ“. „Книжки Недѣли“ 1895 г. авг. стр. 18.

ныхъ кружкахъ, онъ порою доставлялъ истинное наслажденіе своимъ близкимъ друзьямъ не только собственнымъ мастерскимъ пѣніемъ подъ аккомпаниментъ гитары, но и исполненіемъ искусныхъ пѣвцовъ изъ простонародья, которыхъ выискивалъ повсюду. Объ этой привязанности критика къ народной музыкѣ Фетъ рассказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ слѣдующіе достойные вниманія факты.

«Сюда же (къ Фету и Борисову), повѣствуетъ поэтъ, весьма часто изъ-за Москвы-рѣки хаживалъ Аполлонъ Григорьевъ. И когда, бывало, эти два энтузіаста—Громека и Григорьевъ сойдутся за вечернимъ чаемъ, наше скромное обиталище превращается въ Геликонъ. Григорьевъ, несмотря на бѣдный голосокъ, доставлялъ искренностью и мастерствомъ своего пѣнія дѣйствительное наслажденіе. Онъ собственно не пѣлъ, а какъ бы пунктиромъ обозначалъ музыкальный контуръ піесы. Пѣвалъ онъ по цѣлымъ вечерамъ, время отъ времени освѣжаясь новымъ стаканомъ чаю, а затѣмъ нерѣдко около полуночи уносилъ домой пѣшкомъ свою гитару.

Говоря о цыганскихъ и русскихъ пѣсняхъ вообще, Григорьевъ однажды съ величайшимъ энтузіазмомъ сталъ рассказывать о двухъ вольноотпущенныхъ гитаристахъ, играющихъ въ одномъ погребкѣ въ Сокольникахъ. «Это несомнѣнные таланты!—восклицалъ Григорьевъ:—и надо непременно назвать Дмитрія Петровича Боткина, такъ какъ онъ въ душѣ музыкантъ, и я общаю ему величайшее наслажденіе».

Въ назначенный день пріятели съ Аполлономъ Александровичемъ во главѣ отправились. Погребокъ находился въ переулкѣ, противъ сада дачи, занимаемой Катковымъ и Леонтьевымъ. Когда посѣтители помѣстились у овального стола на диванѣ и на креслахъ и, по распоряженію Григорьева, подали салатникъ со льдомъ, стаканы и бутылку редерера, вошли въ комнату два человека среднихъ лѣтъ, весьма похожіе другъ на друга и наружностью и сѣренькими суконными скюртуками. «Поставивъ рядомъ два табурета по правую сторону арки, они, продолжаетъ описаніе этого случая Фетъ, начали строить свои ги-

тары. По одной уже чистотѣ звуковъ, которой добивались они отъ своихъ гитаръ, можно было ожидать отъ нихъ мастерства. И дѣйствительно, трудно было съ большимъ навыкомъ, играя первую и вторую гитару, съ большей гармоніей и блескомъ выводить русскую пѣсню изъ ея задушевнаго напѣва на свѣтъ Божій. Григорьевъ торжествовалъ, чувствуя одержанную надъ всѣми нами полную побѣду. Сколько разъ впослѣдствіи слушателямъ этого импровизованнаго концерта приходилось съ восторгомъ вспоминать о немъ!» <sup>1)</sup>

Онъ же познакомилъ А. Фета съ весьма милой дѣвушкой, музыкантшей въ душѣ—Екатериной Сергѣевной П—ой, вышедшей впослѣдствіи замужъ тоже за піаниста и композитора Бородина <sup>2)</sup>. Какъ можно убѣдиться изъ свидѣтельствъ сверстниковъ Григорьева, онъ и до конца жизни оставался тѣмъ же горячимъ поклонникомъ народной гармоніи, какимъ являлся и въ дѣтствѣ и въ юности.

Университетская пора съ ея средой имѣли важное значеніе въ умственномъ отношеніи для юноши. Онъ былъ очевидцемъ и самъ лично пережилъ славную эпоху не только пробужденія общественнаго самосознанія подъ влияніемъ статей Виссаріона Григорьевича Бѣлинскаго и появленія славянофиловъ, людей передовыхъ по своимъ гуманнымъ воззрѣніямъ и образу жизни, но и полного расцвѣта русской литературы, обогащенной гениемъ Пушкина и поэтовъ его школы, провозгласившей новыя задачи искусства въ противовѣсъ отжившимъ направленіямъ ложноклассическому и романтическому. Безымянный авторъ одной изъ статей, посвященныхъ памяти А. А. Григорьева въ 1889 году, сжато, но мѣтко и въ яркихъ краскахъ изображаетъ характеръ эпохи, современной Григорьеву, и отношеніе послѣдняго къ свѣтлѣйшему періоду развитія національной мысли. «Дѣтскій, отроческій и юношескій возрасты его (Григорьева),—говоритъ онъ,—падаютъ на лучшую полосу нашей

<sup>1)</sup> „Изъ моихъ воспоминаній“. А. Фетъ. „Русскій Вѣстникъ“ 1889 года, № 11 стр. 128—29.

<sup>2)</sup> Тамъ же стр. 148.

былой литературной поры. Чтобы вѣрно судить о Григорьевѣ, слѣдуетъ представить себѣ ту литературную обстановку 1820—1830 и 1840-хъ годовъ, среди которой подросталъ и крѣпчалъ его критическій талантъ. Григорьевъ представляетъ характерный образецъ писателя, въ глубокомъ кровномъ родствѣ находящагося съ духовными теченіями своей эпохи, связывающаго свою дѣятельность съ тѣмъ, что было до него и что претворилось въ немъ во вторую натуру. Припомнимъ ту пору: на литературной сценѣ дѣйствуютъ старые литераторы прошлаго вѣка, которымъ не по вкусу приплась оригинальная вещь пушкинскаго оперившагося генія—«Русланъ и Людмила»,—исключая наиболѣе талантливыхъ изъ нихъ. Жуковский, Кaramзинъ, Дмитріевъ, Измаиловъ, Крыловъ, Батюшковъ—вотъ писатели, подготовлявшіе духовную новь для мужавшаго пахаря—Пушкина. Открывается правильная постоянная литературная дѣятельность Пушкина. Геній его паритъ надъ современниками всего десятилѣтія 20-хъ годовъ. Подъ крылья могучаго орла умѣстилось все, до него бывшее, и оставалось еще много мѣста для первенцовъ личнаго вдохновенія. Въѣстѣ съ Пушкинымъ выступаетъ плеяда талантливыхъ сотрудниковъ и сердечныхъ сочувственниковъ поэта; это были Дельвигъ, Баратынскій, Языковъ, Козловъ, кн. Вяземскій, Марлинскій, Давыдовъ, Рылѣевъ, Чаадаевъ, Гнѣдичъ и Полевой. Всѣ эти писатели группировались возлѣ хозяина поэзіи того времени—Пушкина. По справедливости, время то называется пушкинскимъ. Его онъ создалъ, наполнилъ творческой росой своего генія, одухотворилъ собой, вспахалъ, посѣялъ великое множество будущихъ творческихъ ростковъ. Такова à vol d'oiseau картина литературной эпохи пятьдесятъ слишкомъ лѣтъ назадъ. Вотъ она-то и воспитала Григорьева, она-то — эта эпоха — вышла составной частью его натуры» <sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Памяти А. А. Григорьева". „Новости“ 1889 г. 25 сентября, № 264.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Окончаніе курса наукъ въ университетѣ и служба при немъ.—Основа личности Григорьева и его предпочтеніе литературнаго поприща карьерѣ ученаго.—Переездъ въ Петербургъ и поступленіе на службу въ Сенатъ.—Начало писательской дѣятельности Григорьева въ „Репертуарѣ и Пантеонѣ“. — Изданіе сборника „Стихотвореній“ и отзывъ Вѣлинскаго.—Столичныя впечатлѣнія.

Въ 1842 году А. А. Григорьевъ, 20 лѣтній юноша, окончилъ курсъ наукъ первымъ кандидатомъ съ золотою медалью въ Московскомъ университетѣ. Послѣдній, въ виду необыкновенныхъ способностей и любознательности молодого человѣка, предложилъ ему посвятить себя ученой дѣятельности. Но пылкій, мечтательный умъ Григорьева намѣтилъ себѣ иной путь; вмѣсто ограниченія своего круга мыслей и сферы труда областью какой-либо спеціальности, онъ предпочелъ отдаться чистому искусству, не стѣсняющему свободы человѣческаго духа проникать въ глубочайшіе богатые рудники внутренняго міра и обозрѣвать всѣ разнообразныя явленія на безпредѣльномъ просторѣ бурнаго житейскаго моря въ ихъ правдивомъ, реальномъ, но высоко-художественномъ отраженіи въ зеркалѣ родной литературы. Много лѣтъ спустя онъ такъ отзывался о себѣ:

Какой-то странникъ вѣчный я...  
Меня осядлость не прельщаетъ,  
Меня минута увлекаетъ...  
Ну, хоть минута, да моя!..  
А тамъ... а тамъ суди Владыко!..  
Я знаю самъ, что это дико,  
Что это къ ужасамъ ведетъ...  
Но переспоришь ли природу?  
Я въ жизни вѣрю лишь въ свободу,  
Невѣдомъ вовсе мнѣ расчетъ...  
И вѣчно, не сприсяся броду,  
Какъ омежной, кидался въ воду.

Еще въ родительскомъ домѣ онъ углублялся въ сущность вопросовъ человѣческаго бытія; въ университетѣ сильнѣе стали тревожить его духъ разнаго рода сомнѣнія, разрѣшенія которыхъ онъ искалъ въ наукѣ и въ философіи. Въ настоящее время, столкнувшись лицомъ къ лицу съ самой жизнью, онъ не только не успокоился сколько-нибудь, — напротивъ, съ большимъ жаромъ устремился найти отвѣты въ своихъ поискахъ за истиной.

Философія Шеллинга, съ которою онъ уже сжился, болѣе всѣхъ другихъ научныхъ теорій и системъ согласовалась съ его складомъ ума и чувствъ, и ему оставалось теперь только приложить ея принципы къ оцѣнкѣ фактовъ русской дѣйствительности. Покаместъ думы его сосредоточивались на отвлеченной теоріи, учившей органическому строю природы и человѣческой жизни, цѣлесообразности всего сущаго и признававшей вселенную и произведенія художества воплощеніемъ божественныхъ идей въ осязательныхъ формахъ. Въ то же время ученіе другого философа, Гегеля, нашедшее свое примѣненіе къ искусству въ критикѣ его истолкователя, Бѣлинскаго, не могло не повліять на образъ мыслей Григорьева, успѣвшаго провѣрить свой эстетическій вкусъ при оцѣнкѣ литературныхъ произведеній въ кругу товарищей-поэтовъ. Но живымъ образцомъ для развитія его творческихъ способностей служила поэзія гениальнаго Пушкина, только-что сошедшаго въ могилу, но владѣвшаго умами всей Россіи, даже Европы. Такимъ образомъ подъ благотворнымъ вліяніемъ Шеллинга, создавшаго изъ пытливаго юноши мыслителя, Бѣлинскаго, образовавшаго въ немъ критика, и Пушкина, воспитавшаго изъ артистической натуры его художника, Григорьевъ силою сложившихся вполне естественно условій не могъ иначе порѣшить свою участь при выборѣ себѣ подходящей карьеры въ жизни, какъ только вступить на литературное поприще.

Сперва, конечно, онъ удовлетворилъ своей врожденной склонности къ поэтическому творчеству и продолжалъ писать стихотворенія, выражая въ нихъ съ полной искренностію, какъ

и на студенческой скамьѣ, свои теплыя чувства, завѣтныя мечты и благородные порывы.

Подобно Лермонтову, Аполлонъ Григорьевъ слагалъ стихи исключительно въ минуты вдохновенія. Въ одномъ письмѣ, отъ 19 марта 1858 года, изъ-за границы имѣется замѣчательное мѣсто, обличающее въ авторѣ истиннаго поэта; онъ выписываетъ свой послѣдній экспромптъ:

Болезнь птичка запертая,  
Въ теплицѣ глухнущій цвѣтокъ,  
Печально вынешь ты, не зная,  
Какъ зрокъ день и міръ широкъ;  
Какія тайны открываетъ  
Жизнь повседневная порой,  
Какъ грудь высоко поднимаетъ  
Единство братское съ толпой.

Къ этому невольно и искренно вырвавшемуся у него аккорду онъ присовокупляетъ слѣдующія строки: «Я еще никогда не писалъ стиховъ безъ внутренняго душевнаго побужденія. Самъ я не знаю, какъ это у меня всегда дѣлается; но самыя глубокія впечатлѣнія были у меня тѣ, которыя приходили въ мою душу совершенно неожиданно; или нѣтъ, не то! которыя долго лежали въ душѣ подъ спудомъ и вдругъ всплывали на поверхность совсѣмъ готовыя, полныя, всю душу захватывающія» <sup>1)</sup>).

Съ университетомъ Григорьевъ не сразу разстался: онъ нѣкоторое время состоялъ тамъ сначала секретаремъ университетскаго совѣта, а затѣмъ библіотекаремъ.

«Мѣсто это ему выхлопоталъ, какъ сообщаетъ его сынъ, Крыловъ (Никита Ивановичъ), который былъ въ то время очень сильно привязанъ къ лучшему своему ученику и самъ не разъ приходилъ къ старикамъ Григорьевымъ. Какъ нарочно, секретарь университетскаго правленія Назимовъ вышелъ въ отставку и, при вліяніи Крылова въ совѣтѣ, едва окончившій

---

<sup>1)</sup> Новыя письма А. А. Григорьева, „Эпоха“ 1865 г. февраль.



курсъ Григорьевъ былъ выбранъ секретаремъ правленія. Радости стариковъ не было конца.

«Можно было предполагать, что неуклонный посѣтитель лекцій и неутомимый труженикъ будетъ и безукоризненнымъ чиновникомъ. Но на дѣлѣ вышло далеко не то: сухіе списки, отчеты, требовавшіе тѣмъ не менѣе настойчиваго вниманія, не возбуждали въ А. А. никакой симпатіи, и совѣтъ университета скоро пришелъ къ убѣжденію въ совершенной неспособности Григорьева исполнять секретарскую должность. Крыловъ помѣстилъ А. А. на мѣсто университетскаго бібліотекаря». <sup>1)</sup> Молодой чиновникъ полагалъ своимъ нравственнымъ долгомъ все служебное жалованье отдавать родителямъ, не оставляя ничего на собственные расходы. Такое безкорыстіе побуждало его искать себѣ средствъ инымъ путемъ: онъ началъ давать уроки въ частныхъ домахъ и тайкомъ писать въ журналахъ; кромѣ того, по словамъ Фета, онъ находился въ сношеніяхъ съ масонской ложей, откуда получалъ нерѣдко денежную поддержку.

Неловкое и стѣсненное матеріальное положеніе наконецъ заставило его также тайно покинуть Москву. Въ своемъ рѣшеніи уѣхать въ Петербургъ онъ признался только Фету, прося послѣдняго проводить его до Шевалдышевой гостиницы, откуда въ 3 часа дня долженъ былъ уйти въ Петербургъ дилижансъ,—и послѣ выѣзда его явиться къ родителямъ его, чтобы успокоить ихъ. Поэтъ такъ рассказываетъ объ отѣздѣ Ап. Григорьева и о впечатлѣніи, произведенномъ этимъ на стариковъ: «Въ минуту отѣзда дилижанса мы пожали другъ другу руки, и Аполлонъ вошелъ въ экипажъ. Когда дилижансъ тронулся, я почувствовалъ себя какъ бы въ опустѣломъ городѣ. Это чувство сиротливой пустоты я донесъ съ собою до дома Григорьевыхъ. Не буду описывать взрыва негодованія со стороны Александра Ивановича и жалобнаго плача Татьяны Андреевны послѣ моего объявленія объ отѣздѣ ихъ сына.

<sup>1)</sup> А. Григорьевъ. «Одинокій критикъ». «Книжки Недѣли» 1895 г. авг. стр. 21.

Только успокоившись нѣсколько, на другой день они рѣшились послать вслѣдъ за сыномъ слугу Ивана (Гегеля) съ платьемъ, туалетными вещами и нѣсколькими сотнями рублей денегъ. При отъѣздѣ Аполлонъ сказалъ мнѣ, у кого можно было искать его въ Петербургѣ. Оказалось, что Аполлонъ по добродушной безшабашности роздалъ множество книгъ изъ университетской бібліотеки, которыя мнѣ пришлось не безъ хлопотъ возвращать на старое мѣсто.<sup>1)</sup>

Изъ Петербурга въ 1843 году онъ прислалъ письмо М. П. Погодину, съ которымъ сблизился въ Москвѣ въ первое сотрудничество свое въ «Москвитянинѣ» подъ псевдонимомъ А. Трисмегистова. Это письмо характеризуетъ личность Аполлона Александровича во многихъ отношеніяхъ и какъ молодого человѣка съ возвышенными, благородными стремленіями и какъ только что начинающаго свою дѣятельность писателя, а также передаетъ его университетскія впечатлѣнія. «Благодарю васъ, писалъ онъ М. П. Погодину,—за память обо мнѣ, благодарю васъ за участіе. Но я долженъ оправдаться передъ вами въ разнаго рода слухахъ. Я оставилъ службу, потому что я не могу служить, потому что служба убиваетъ, потому что, наконецъ, я чувствую въ себѣ силы дѣлать на свѣтѣ что-нибудь лучшее, чѣмъ вести настольные реестры, ибо иные, можетъ быть, очень полезны сами по себѣ, но только для этого полезнаго дѣла со временемъ изобрѣтутся машины. Кто чувствуетъ въ себѣ присутствіе жизненной силы, кто сознаетъ въ себѣ Бога, то есть человѣка, тому стыдно губить полдня на машинную дѣятельность, особенно если онъ не пылаетъ возвышенною страстью къ разнымъ степенямъ Владиміровъ, Аннъ и Станиславовъ. Предоставляю это другимъ вѣрнымъ слугамъ отечества. Я не пишу къ моимъ роднымъ, потому что мнѣ нечего писать къ нимъ покамѣстъ. Придетъ время, когда я буду жить для нихъ и только для нихъ, ибо, право, я люблю ихъ. Возвратиться съ горькими слезами я не

---

<sup>1)</sup> А. Фетъ. „Ранніе годы моей жизни“. „Русское Обозрѣніе“ 1893 г. янв.

могу, ибо много плакать не о чемъ: слышать же подобныя слова отъ васъ страшно грустно, ибо я вѣрилъ въ то, что вы вѣрите въ фанатизмъ истины и свободы. Въ Петербургѣ я не развратничаю, а добываю свой хлѣбъ трудомъ, часто горькимъ и почти всегда неблагодарнымъ, но клянусь Богомъ—не жалуясь. Имѣю честь положительно изложить вамъ, что я дѣлаю и дѣлалъ, кромѣ писанія стиховъ, которыхъ сборникъ буду имѣть честь скоро представить вамъ въ печати; кромѣ романа, котораго половина напечатана уже въ «Репертуарѣ», кромѣ, наконецъ, бездны повѣстей и разныхъ книжонокъ, переведенныхъ мною безъ имени для поддержанія моего будущаго существованія, я перевожу: 1) пѣсни Беранже, которыя къ январю, надѣюсь, выйдутъ книжкою; 2) я перевелъ: «L'école des Vieillards» Делавиня—въ стихахъ; «Louis XI» его же—въ стихахъ; «La journée d'Alcibiade» Lemercier—въ прозѣ; «Richelieu» Lemercier—въ стихахъ; «Минну Фонъ-Барнгельмъ» Лессинга—въ прозѣ; 3) написалъ драму, которая выйдетъ вмѣстѣ съ стихотвореніями. Доказательства ясныя, кажется, что я работаю. Родные мои звали меня въ Москву—но, скажите ради Бога, что я буду тамъ дѣлать? Служить я не могу, филистерствовать тоже, ибо вы сами слишкомъ хорошо знаете, какъ глупъ, пошлъ и цинически подлъ юридическій факультетъ. Когда оставите университетъ вы, Давыдовъ, отчасти Шевыревъ, тогда, за исключеніемъ добраго, хотя ограниченнаго Грановскаго и свѣжаго еще, благороднаго, хотя исполненнаго предразсудковъ и византійской религіи Соловьева, останется стадо скотовъ, богохульствующихъ на науку. Вы помните, какою безотрадною тоской терзался я отъ бесплодности ихъ ученій, полныхъ циническаго рабства, прикрытаго лохмотьями западной науки. Что же мнѣ тамъ дѣлать, мнѣ-фанатику, который не можетъ равнодушно слышать мерзости, который обрекъ себя бороться, страдать до смерти? О чемъ же мнѣ плакать и раскаиваться? О томъ, что я гордо и смѣло пошелъ искать истины и свободы, что не отдѣлялъ мышленія отъ жизни, слова отъ дѣла, что поднимаю по силамъ знамя

борьбы, Божественный крестъ Иисуса. О, возьмите назадъ ваши слова! Вы должны благословить меня, ибо вы сами, человѣкъ дѣла, а не слова. Пусть другіе бросаютъ въ меня камень, пусть другіе назовутъ меня безумцемъ—вы меня поймете. Еще разъ, даже съ точки зрѣнія положительной, зачѣмъ я возвращусь въ Москву? Здѣсь я какъ-нибудь перебиваюсь, тамъ у меня не будетъ средствъ жизни, ибо я не пойду кланяться. Есть смиреніе благородное, смиреніе передъ человекомъ—Богомъ, и вы знаете, смиренъ ли я; но смиреніе и позорное униженіе передъ жрецами Ваала и рабами Веліара есть срамъ и грѣхъ. Я готовъ смириться предъ вами, какъ передъ наставникомъ и отцомъ, но не требуйте отъ меня уваженія къ тому, что я ненавижу и презираю. Я любилъ,—это правда,—но давно уже отказался отъ всякой мысли о личномъ счастьи, давно уже смотрю я на себя, какъ на часть цѣлаго человѣчества, и на страданія свои, какъ на страданія эпохи. И поэтому-то я имѣю святое право быть гордымъ. Есть двѣ дороги—дорога общая, избитая, и дорога просто; я выбралъ послѣднюю. Благословите же меня, а не проклиняйте. Вспомните, что изъ всего молодого поколѣнія, можетъ быть, одинъ я понимаю и люблю васъ, понимаю и люблю столько же, сколько презираю и ненавижу филистерію. Моя любимая мысль теперѣ—уѣхать въ Сибирь учителемъ гимназіи, о чемъ я хлопочу, и что, во-первыхъ, развяжетъ меня съ долгами, ибо въ Сибирь выдается годовое жалованье, во-вторыхъ, дастъ мнѣ на три года покою, необходимаго для писанія всего, мною задуманнаго. Прошу васъ удостоить меня письмомъ, хотя столько же лаконическимъ, какъ предшествующее. Я живу теперь у редактора «Репертуара» и «Полицейской газеты» Межевича, одного изъ слишкомъ немногихъ благородныхъ людей, какихъ я знаю». <sup>1)</sup>

Въ Петербургѣ онъ получилъ мѣсто въ 1-мъ Департаментѣ Правительствующаго Сената.

---

<sup>1)</sup> Н. Барсуковъ. „Жизнь и труды М. П. Погодина“. Книга VIII.

Съ 1843 года начинается писательская дѣятельность Ап. Григорьева. Въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ», издающихся подъ его редакціей, появляются его стихотворенія какъ собственныя, такъ и переведенныя изъ Беранже, беллетристическіе опыты и критическіе отзывы.

Его первыя поэтическія сочиненія носятъ романтическій характеръ. Въ сужденіяхъ Григорьева о литературныхъ и другихъ вопросахъ нельзя не видѣть широкой начитанности, серьезнаго знанія и любовнаго отношенія къ жизни и къ дѣлу.

Въ числѣ произведеній, напечатанныхъ имъ въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ», можно отмѣтить слѣдующія, изъ которыхъ нѣкоторыя подписаны псевдонимомъ *А. Трисмегистовъ*: «Офелія, одно изъ воспоминаній Виталина». — «Гамлетъ на одной провинціальной сценѣ». — «Одинъ изъ многихъ», рассказъ въ трехъ эпизодахъ: 1) Любовь женщины, 2) Антоша, 3) Созданіе женщины. — «Встрѣча», рассказъ въ стихахъ. — Поэма «Видѣніе». — «Робертъ Дьяволь» (изъ записокъ диллетанта). — «Русская драма и русская сцена» и разнаго рода замѣтки о представленіяхъ на сценахъ Императорскихъ театровъ.

Въ оцѣнкѣ современныхъ литературныхъ фактовъ впервые прорывается наружу и художественное чутье Ап. Григорьева: онъ указываетъ на свѣжіе задушевные мотивы поэзіи Фета, пластически передающей неуловимые оттѣнки чувства. Значеніе молодого литератора для даннаго журнала было велико.

Въ «Сынѣ Отечества» за 1857 годъ, между прочимъ, о первыхъ шагахъ Аполлона Григорьева на поприщѣ печати говорится слѣдующее: «Вѣроятно, публика не забыла еще начала его литературной дѣятельности, стихотворной и прозаической, — дѣтъ 15 назадъ въ петербургскихъ періодическихъ изданіяхъ, — начала, носившаго на себѣ отпечатокъ восторженнаго необыкновенно-энергическаго таланта и образованности многосторонней, такъ важной для поэта въ наше время. Найдутся свидѣтели и того, что знаменитое своею плачевною участію изданіе «Репертуаръ и Пантеонъ» имѣло только краткій періодъ самостоятельнаго значенія и литературнаго достоинства,

именно лѣтъ 12 назадъ, подъ управленіемъ г. Ап. Григорьева. Вѣроятно, помнятъ и маленькую книжку его «Стихотвореній», С.-Петербургъ 1846 годъ, гдѣ между полуфантастическими, полуболѣзненными изліяніями поэтической души встрѣчаются здоровые, сильные отзывы на самые существенные вопросы жизни и общества,—отзывы, послужившіе образцами для произведеній многихъ другихъ поэтовъ, пользующихся большою извѣстностью». <sup>1)</sup> Нелишне предупредить читателя, что приведенныя слова исходятъ изъ устъ такого органа, который враждебно настроенъ противъ критика за его послѣдующее «поклоненіе, по выраженію автора статьи, фетишамъ славянофильства», о чемъ рѣчь будетъ ниже.

Сборникъ «Стихотвореній» Григорьева, не всегда удачныхъ по формѣ, но симпатичныхъ по гуманности мотивовъ и искренности ихъ даровитаго автора, исполненнаго теплой вѣры и отзывчиваго на все свѣтлое въ мірѣ, встрѣтилъ слишкомъ безпристрастнаго судью въ лицѣ В. Г. Бѣлинскаго, не признавашаго въ авторѣ вообще поэтического дара. «Мы прошли ее, писалъ критикъ,—больше, чѣмъ съ принужденіемъ—почти со скукою. Дѣло въ томъ, что изъ нея мы окончательно убѣдились, что онъ не поэтъ, вовсе не поэтъ. Въ его стихотвореніяхъ прорываются проблески поэзіи, но поэзіи ума, негодованія. Видишь въ нихъ умъ и чувство, но не видишь фантазіи, творчества, даже стиха. Правда, мѣстами стихъ его бываетъ силенъ и прекрасенъ, но тогда только, когда онъ одушевленъ негодованіемъ, превращается въ бичъ сатиры, касаясь нѣкоторыхъ явленій дѣйствительности (какъ напримѣръ, въ разсказѣ «Олимпій Радинъ» мимоходныя замѣтки о Москвѣ, о семейственности). Въ лиризмѣ же его стихъ прозаиченъ, не гладокъ, не складенъ, вялъ. Вездѣ одни разсужденія, нигдѣ образовъ, картинъ. Сверхъ того, паеосъ лиризма г. Григорьева однообразенъ, не столько *личенъ*, сколько *эгоистиченъ*, не столько истиненъ, сколько заимствованъ ... Онъ пѣ-

<sup>1)</sup> «Сынъ Отечества» 1857 года № 37 см. Обзоръ литер. журналовъ.

вещь вѣчно одного и того же предмета—собственного своего страданія. Можетъ быть, мы ошибаемся, но въ такомъ случаѣ мы ошибаемся искренно. Какими бы ни казались намъ стихотворенія г. Григорьева, мы все-таки видѣли въ нихъ не совсѣмъ обыкновенное явленіе, и они возбудили въ насъ живой интересъ къ личности ихъ автора, о которомъ мы знаемъ только по его стихотвореніямъ.

Мы сказали выше, что онъ не поэтъ, и повторяемъ это теперь; но онъ глубоко чувствуетъ и многое глубоко понимаетъ; это иногда его дѣлаетъ поэтомъ. Для доказательства выпишемъ его прекрасное стихотвореніе «Городъ».

Да, я люблю его, громадный, гордый градъ,  
Но не за то, за что другіе;  
Не зданія его, не пышный блескъ палатъ  
И не граниты вѣковые  
Я въ немъ люблю, о нѣтъ! Скорбящею душой  
Я прозрѣваю въ немъ иное, —  
Его страданіе, подъ ледяной корою,  
Его страданіе больное.

Пусть почву шаткую онъ заковалъ въ гранитъ  
И защитилъ ее отъ моря,  
И пусть сурово онъ въ самомъ себѣ таятъ  
Волненіе радости и горя,  
И пусть его рѣка къ стопамъ его несетъ  
И роскоши и нѣги дани, —  
На нихъ отпечатлѣнъ тяжелый слѣдъ заботъ,  
Людского пота и страданій.

И пусть горять свѣтло огни его палатъ,  
Пусть слышимъ въ нихъ веселья звуки —  
Обманъ, одинъ обманъ! Они не заглушаютъ  
Безумно-страстныхъ стоновъ муки!  
Страданіе одно привыкъ я подмѣчать,  
Въ окнѣ ль съ богатой гардиной,  
Иль въ темномъ уголку, —вездѣ его печати!  
Страданье уровень единой!

И въ тѣ часы, когда на городъ гордый мой  
Ложится ночь безъ тьмы и тѣни,  
Когда прозрачно все, мелькаетъ предо мной  
Рой отвратительныхъ видѣній...

Пусть ночь ясна, как день, пусть тихо все вокруг,  
Пусть все прозрачно и спокойно, —  
Въ покой томъ затихъ на время злой недугъ,  
И то прозрачность изымъ гайиной.

Въ этомъ стихѣ есть сила, а въ цѣлой піесѣ дышитъ своего рода поэтическое обаяніе; но всего болѣе поражаетъ васъ въ ней болѣзненно настроенный умъ.

Г. Григорьевъ можетъ писать, но ему нужно сознать значеніе и характеръ своего таланта. Онъ вовсе не лирическій поэтъ, и, дѣлая себя героемъ своихъ стихотвореній, онъ только путается въ неопредѣленныхъ и безвыходныхъ рефлексіяхъ и ощущеніяхъ<sup>1)</sup>.

Далѣе Бѣлинскій приводитъ еще одно стихотвореніе, которое причисляетъ къ удачнымъ:

Нѣтъ, не тебѣ идти со мной  
Къ высокой цѣли бытія,  
И не тебя душа моя  
Звала подругой и сестрой.  
Я не тебя въ тебѣ люблю,  
Но лучшей участи залогъ,  
Но ту печать, которой Богъ  
Твою природу заклеилъ.  
И думалъ я, что ту печать  
Ты сохраняешь среди борьбы,  
Что противъ свѣта и судьбы  
Ты въ силахъ голову поднять.  
Но дорогъ судъ тебѣ людской  
И мнѣнне дорого рабовъ,  
Не ненавишь ты окрѣвъ:  
Мой путь иной, мой путь не твой.  
Тебя молить я слишкомъ гордъ, —  
Мы не равны ни здѣсь, ни тамъ, —  
И въ хорѣ звѣздъ не слиться намъ  
Въ созвучій родственныхъ аккордъ.  
И пусть твой образъ роковой  
Мнѣ никогда не позабыть...  
Мнѣ стыдно женщину любить,  
И не назвать ее сестрой.

<sup>1)</sup> Сочиненія В. Г. Бѣлянского. Т. X, стр. 402—411.



Между прочими стихотвореніями сборника Аполлона Григорьева можно предложить читателю двѣ вещицы, замѣчательныя по глубинѣ и силѣ чувства автора и по музыкальности стиха:

З В У К И.

(А. Е. Варламову).

Опять они... Звучать напѣвы снова  
Безрадостной тоской.  
Я радъ имъ, радъ! они—замѣна слова  
Души моей больной.  
Они звучать безумными мечтами,  
Которыя сказать  
Смѣшно и стыдно было бы словами,  
Которыхъ не прогнать.  
Они звучать прошедшимъ небывающимъ  
И снами свѣтлыхъ лѣтъ, —  
Стремленіемъ напраснымъ и усталымъ  
Къ тѣнямъ, которыхъ нѣтъ.

1845 годъ. Авг.

Нѣтъ, за тебя молиться я не могъ,  
Держа вѣнецъ надъ головой твоею.  
Страдалъ ли я иль, просто, вѣнею,  
Тебѣ теперь сказать я не умѣю, —  
Но за тебя молиться я не могъ.

И помню я—чела уборъ вѣнчальный  
Измятъ вѣнцомъ мнѣ было жаль: къ тебѣ  
Такъ шли цвѣты... Усталый и печальный,  
Я позабылъ въ то время о молебѣ,  
И все берегъ чела уборъ вѣнчальный.

За что цвѣтовъ тогда мнѣ было жаль —  
Богъ вѣдаетъ: за то ль, что безъ расцвѣта  
Имъ суждено погибнуть, за тебя ль, —  
Не знаю я... въ прошедшемъ нѣтъ отвѣта,  
А мнѣ цвѣтовъ глубоко было жаль...

1842 годъ.

Не менѣе строго Бѣлинскій отнесся къ беллетристическимъ опытамъ молодого писателя. «За первый свой честный трудъ,

за Антошу, говоритъ Григорьевъ, я былъ обруганъ Бѣлинскимъ хуже всякаго школьника» <sup>1)</sup>).

Аполлонъ Григорьевъ по душѣ былъ коренной русскій и въ жизни истый москвичъ, и внѣ родины тяготился разлукой болѣе, чѣмъ могъ бы кто-либо другой.

Каждая строка писемъ Григорьева изъ-за границы полна теплыхъ воспоминаній и дышитъ любовью къ отчизнѣ. «Въ воображеніи у меня, писалъ онъ позже изъ Флоренціи подъ впечатлѣніемъ карнавала, —рисовалась наша масляница, —нашъ добрый, умный и широкій народъ съ загулами, запоями, колоссальнымъ распутствомъ... Въ памяти моей оживала зимняя व्यюга, Новинское, остроуміе разговора фабричныхъ съ паяцами, самокаты, пѣсни моей родины, —погребки... Во всемъ этомъ ужасномъ безобразіи даровитаго и могучаго, свѣжаго племени —гораздо больше живого и увлекающаго, чѣмъ въ послѣднихъ судорогахъ отжившей жизни. Мнѣ представлялись лѣтніе монастырскіе праздники моей великой, поэтической и вмѣстѣ простодушной Москвы, ея крестные ходы и проч. —все, чѣмъ такъ немногіе умѣютъ у насъ дорожить, и что на самомъ дѣлѣ полно истинной, свѣжей поэзіи, —чему я отдавался всегда со всѣмъ увлеченіемъ моего мужицкаго сердца» <sup>2)</sup>).

Въ невиской столицѣ онъ чувствовалъ себя оторваннымъ отъ своей почвы, чуждымъ всѣмъ и всему, одинокимъ. Петербургская жизнь съ перваго же посѣщенія произвела на него непріятное впечатлѣніе своими мрачными сторонами. «Въ этомъ новомъ мірѣ, сознается онъ, —для меня промелькнула полоса жизни совершенно фантастической; надъ нравственной природой моей пронеслось странное мистическое вѣяніе, но, съ другой стороны, я узналъ, съ его запахомъ довольно тухлымъ и цвѣтомъ довольно грязнымъ, міръ панаевской «Тли», міръ «Песцовъ», «Межаковъ» и другихъ темныхъ личностей, міръ

<sup>1)</sup> „Краткій послужной списокъ на память моимъ старымъ и новымъ друзьямъ“. Эпоха 1864 года. Сентябрь.

<sup>2)</sup> Новые письма А. Григорьева. „Эпоха“ 1865 г. февраль.

«Александрин» въ полномъ цвѣтѣ ея развитія съ водевилями г. Григорьева 1... и еще скитавшагося Некрасова—Перепельскаго, съ особеннымъ кресломъ для одного богатаго купчика, и вмѣстѣ съ высокой артисткой, заставлявшей народъ забывать этотъ страшно-пошлый міръ» <sup>1)</sup>).

Но были и болѣе серьезныя обстоятельства, послужившія причинами возвращенія Григорьева въ Москву: онъ запутался въ долгахъ и сталъ злоупотреблять напитками, положивъ въ это время начало своему будущему недугу — запою. По словамъ Александра Аполлоновича, «старикки Григорьевы сами ѣздили въ Петербургъ выручать сына и привезли его на родину».

---

<sup>1)</sup> „Мои литературныя и нравственныя скитальчества“. „Время“ 1862 года, № 11.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Возвращеніе въ Москву.—Сотрудничество въ „Московскомъ Городскомъ Листкѣ“, „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и „Отечественныхъ Запискахъ“.—Преподаваніе въ Сиротскомъ домѣ и 1-й Московской гимназіи.—„Москвитининъ“,—составъ редакціи и направленіе журнала; статьи А. Григорьева о современной русской литературѣ: взгляды его на историческую критику; „новое слово“.—„Опытъ о русскихъ народныхъ вѣсняхъ“.—Вліяніе критики А. Григорьева на современное ему общество.—„Русская Бесѣда“.

Не долго, около четырехъ лѣтъ, прожилъ А. А. Григорьевъ въ Петербургѣ. Съ 1847 года онъ снова въ родной Москвѣ. Здѣсь онъ посвящаетъ себя педагогической дѣятельности и продолжаетъ принимать участіе въ литературѣ. Сначала онъ преподаетъ межевые законы въ Сиротскомъ домѣ, а потомъ занимаетъ должность учителя законовѣдѣнія и русскаго языка въ 1-й Московской гимназіи.

Писательская дѣятельность его сосредоточивается при «Московскомъ Городскомъ Листкѣ». Въ этой газетѣ представляетъ большой интересъ его статья «Гоголь и его послѣдняя книга». Молодой критикъ сочувственно относится къ душевной борьбѣ великаго юмориста и, въ противоположность мнѣнію большинства литераторовъ и общества, въ «Перепискѣ съ Друзьями» цѣнитъ высоконравственныя идеи глубокомысленнаго писателя. За подобныя отступленія отъ общаго мнѣнія ему приходится вынести новое осужденіе, но только уже не со стороны Бѣлинскаго, а Герцена. «Вышла странная книга Гоголя, замѣчаетъ Григорьевъ въ своемъ «Краткомъ послужномъ спискѣ», — и рука у меня не поднялась на странную книгу, проповѣдывавшую, что «со словомъ надо обращаться честно». Вышла моя статья въ «Листкѣ», и я былъ оплеванъ

буквально именемъ подлеца Герценомъ и его кружкомъ». Гоголь, въ свою очередь, по этому поводу такъ отзывался въ 1847 году, въ письмѣ изъ Марсели отъ 25 мая Шевыреву о своемъ критикѣ: «Статья Григорьева довольно молодая, говорить больше въ пользу критика, чѣмъ моей книги. Онъ, безъ сомнѣнія, юноша очень благородной души и прекрасныхъ стремленій. Временный гегелизмъ пройдетъ, и онъ станетъ ближе къ тому источнику, откуда черпается истина» <sup>1)</sup>).

Въ названной газетѣ Григорьевымъ напечатаны еще двѣ статьи: «По поводу перевода Донъ-Жуана Байрона» и «Отзывъ объ Аполлонѣ Майковѣ»; кромѣ того, онъ въ ней ведетъ особый отдѣлъ «Обозрѣніе журналовъ», пишетъ фельетоны, напри- мѣръ, «Москва и Петербургъ (Замѣтки зѣваки А. Трисмегистова)», гдѣ обнаруживается юморъ его, и помѣщаетъ оригинальныя и переводныя стихотворенія.

Въ 1848 и 49 годахъ онъ, по его собственнымъ словамъ, предпочелъ заниматься, пока можно было, въ потѣ лица работою переводовъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» <sup>2)</sup>).

Произведенія Островскаго и Фета возбуждаютъ въ Григорьевѣ все большій интересъ и придаютъ его сужденіямъ твердость и бодрость. Работая въ «Московскомъ Городскомъ Листкѣ», онъ пригласилъ къ участию въ этой газетѣ и молодого драматурга.

Въ 1850 году Аполлонъ Александровичъ попробовалъ послать въ Петербургъ статью о Фетѣ, и, вопреки его надеждамъ, она была напечатана. Вслѣдъ за этимъ онъ, благодаря нѣкоторому содѣйствію со стороны А. Д. Галахова и П. Н. Кудрявцева, сталъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» вести лѣтопись московскаго театра, но ненадолго, такъ какъ, судя по его замѣчанію, его отзывы о сценѣ «не переварились» редакціей А. А. Краевского.

Въ это же время произошла перемѣна и въ частной жизни критика.

<sup>1)</sup> Сочиненія и письма Н. В. Гоголя. Т. VI стр. 401, изд. П. Кулиша.

<sup>2)</sup> „Краткій послужной списокъ“. „Эпоха“. 1864 года, сентябрь.

Еще будучи студентомъ старшаго курса, онъ познакомился въ Москвѣ «черезъ Никиту Ивановича Крылова, какъ передаетъ сынъ критика, съ однимъ весьма почтеннымъ московскимъ семействомъ вдовы генеральши Коршъ, на одной изъ дочерей которой—Любови Федоровнѣ—Крыловъ былъ женатъ»<sup>1)</sup>. По приѣздѣ изъ Петербурга, Григорьевъ вновь сблизился съ семьей В. О. Корша, редактировавшаго впоследствии газету «С. Петербургскія Вѣдомости».

Въ 1848 году послѣдовала женитьба Аполлона Александровича на сестрѣ В. О. Корша, дѣвицѣ Лидіи Феодоровнѣ. Черезъ годъ у новой четы родился сынъ Владиміръ, который, впрочемъ, вскорѣ скончался. По смерти Татьяны Андреевны (въ 1854 году) отецъ критика уступилъ молодымъ свою квартиру въ домѣ на Малой Полянкѣ, а самъ помѣстился на антресоляхъ. Здѣсь семейство Аполлона Александровича проживало постоянно, хотя самъ онъ по большей части находился съ ней въ разлукѣ: то въ Петербургѣ, то за-границей, то въ Оренбургѣ, приѣзжая въ Москву съ 1858 года рѣдко и на весьма короткій срокъ.

Наплывъ свѣжихъ впечатлѣній московской жизни, повидимому, благотворно подѣйствовалъ на крѣпкую, сильную натуру Григорьева, и онъ своей энергіей поддерживалъ шаткое существованіе нѣкоторыхъ органовъ печати; между прочимъ, ему не мало былъ обязанъ въ этомъ отношеніи «Москвитянинъ», издававшійся М. П. Погодинымъ и Ст. Шевыревымъ.

Для критической дѣятельности Григорьева наступалъ блестящій періодъ. Его воззрѣнія, приковывая всеобщее вниманіе къ личности автора, встрѣчали, съ одной стороны, сочувствіе публики, съ другой—отпоръ нѣкоторыхъ партій журнальнаго міра.

Но вотъ не стало Виссаріона Бѣлинскаго, который въ тридцатые и сороковые годы питалъ русскій умъ и воспитывалъ вкусъ къ изящному, выясняя великое значеніе западно-

<sup>1)</sup> Вторая дочь ея, Софья, была выдана за московскаго богача Куманина, а третья, Антонидя, вышла замужъ за К. Д. Кавелина.

европейской культуры, преобразований Петра I-го и успешное развитие новой русской словесности, кончая Пушкинымъ, Кольцовымъ, Гоголемъ. Съ потерей его у каждого возникалъ самъ собою вопросъ: «кто же явится на смѣну знаменитаго истолкователя литературныхъ явленій?» Публика уже не довольствовалась критическими и историческими статьями съ мистической и односторонней патріотической окраской изъ-подъ пера Дудышкина, Шевырева, Погодина и др. и ожидала болѣе сѣжныхъ мыслей, отвѣчающихъ на запросы и нужды общественнаго, духовнаго и экономическаго быта. Литература, въ свою очередь, выдвигала серьезныхъ бытописателей Тургенева, Григоровича, Писемскаго, Островскаго и Гончарова, поднимавшихъ вопросъ о свободѣ человѣческой личности, въ частности о положеніи женщины и участи крѣпостныхъ, и ставившихъ его ребромъ предъ правительствомъ и обществомъ. Художественное творчество принимало новое жизненное направленіе, искусство брало на себя новыя роли, становясь въ совершенно инныя отношенія къ дѣйствительности.

Въ этотъ-то періодъ чаяній мыслящей Россіи, предшествовавшей Севастопольской кампаніи, и въ послѣдовавшее новое царствованіе все громче и чаще слышался голосъ Аполлона Александровича Григорьева, сказавшаго свое «новое слово».

«Москвитянинъ» привлекъ къ себѣ Аполлона Григорьева нѣкоторыми сторонами своего направленія и удачнымъ составомъ редакціи. «Въ журналѣ этомъ въ то время участвовали: А. Н. Островскій, Т. И. Филипповъ, А. Θ. Писемскій, А. А. Потѣхинъ, Е. Н. Эдельсонъ, В. Н. Алмазовъ. Весь этотъ кружокъ, какъ и самъ Погодинъ, имѣлъ въ сущности славянофильское направленіе, но былъ очень свободенъ въ своихъ симпатіяхъ и понемногу отдѣлился отъ чистаго славянофильства. Погодинъ, имѣвшій въ свое время влияние и на Пушкина и на первыхъ славянофиловъ, пользовался большимъ уваженіемъ и у поименованныхъ лицъ, извѣстныхъ подъ названіемъ «молодой редакціи», за свой глубочайшій патріотизмъ, за живость и глубину чисто русскихъ симпатій; но онъ, оставаясь

при своих ииіііііхъ и называя себя старою редакціею, предоставилъ въ своемъ журналѣ просторъ молодому кружку, съ великимъ энтузіазмомъ работавшему на литературномъ поприщѣ. Главнымъ отличіемъ этого кружка было восторженное поклоненіе художественной литературѣ, въ ней они видѣли наилучшее выраженіе народнаго духа и духа времени, въ ней искали, по удачному выраженію Н. Н. Страхова, «откровеній и правдъ». Тутъ Островскій былъ провозглашенъ «новымъ словомъ» въ литературѣ, тутъ господствовало благоговѣніе къ Пушкину и Гоголю и совершался отпоръ натуральной школѣ и другимъ уклоненіямъ петербургской литературы. Славянофильство было, какъ извѣстно, гораздо строже и скупѣе въ своихъ симпатіяхъ, и молодая редакція, упрекая его въ холодности къ литературѣ и мечтая занять мѣсто во главѣ литературнаго движенія, обособилась въ отдѣльную партію. Къ этой-то партіи и принадлежалъ А. А. Григорьевъ, много способствовавшій впоследствии образованію того направленія, которое долго было извѣстно въ петербургской литературѣ подъ именемъ направленія «почвенниковъ». Направленіе это во всякомъ случаѣ русское, патріотическое, искавшее себѣ опредѣленія и, наконецъ, примкнувшее къ славянофильству. Но нѣкоторое время оно держалось особнякомъ, и на это была двоякая причина: во-первыхъ, желаніе самостоятельности, вѣра въ свои силы; во-вторыхъ, желаніе проводить свои мысли въ публику, какъ можно успѣшнѣе, интересоваться ее, избѣгать столкновеній съ ея предубѣжденіями<sup>1)</sup>.

Враждебный славянофиламъ «Сынъ Отечества» темными, грубыми чертами обрисовываетъ роль Аполлона Григорьева въ редакціи «Москвитянина», «который тогда уже умиралъ медленною смертію, и оживалъ только отъ рѣзкихъ гальваническихъ приѣмовъ своего врача, г. Григорьева». «И въ этомъ послѣднемъ (пока) фазисѣ своего литературнаго поприща, продолжаетъ газета, г. Григорьевъ представилъ неоспоримыя до-

---

<sup>1)</sup> „Гражданинъ“ 1889 г., № 266.



казательства сильного дарованія и блистательной образованности,—но тутъ же его постоянная способность *увлекаться* достигла пестѣднихъ предѣловъ: кидая грязью въ своихъ прежнихъ идоловъ, онъ съ удвоеннымъ жаромъ принялся поклоняться новымъ, мѣстнымъ, извѣстнымъ фетишамъ славянофильства: мурмоликъ, охобню; съ жаромъ неофита зашелъ дальше самыхъ опытныхъ жрецовъ этой литературной ереси, и, наконецъ, дошелъ до знаменитаго миеа «новаго слова» Островскаго;—напечаталъ въ «Москвитиниѣ» громоносную «Оду — сатиру—элегію», прославленную особенно коротенькимъ отвѣтомъ, явившимся совершенно неожиданно въ томъ же «Москвитиниѣ» <sup>1)</sup>. Въ этой характеристикѣ нельзя не видѣть рядомъ съ признаніемъ за Ап. Григорьевымъ недюжиннаго таланта также ошибочнаго взгляда автора замѣтки на критика въ вопросѣ о принадлежности его къ славянофиламъ.

На самомъ дѣлѣ въ эту пору настолько развилась самостоятельность и окрѣпли убѣжденія Аполлона Григорьева, что онъ въ своемъ міровоззрѣніи только удачно сочеталъ все лучшее, что заключалось и въ ученіи славянофиловъ 40-хъ годовъ, и въ системахъ нѣмецкихъ философовъ, и въ романтизмѣ, и въ поэзіи Пушкинскаго періода, и наконецъ въ запасѣ личныхъ наблюденій надъ русской народной и общественной жизнью.

Его широкое, многостороннее міросозерцаніе, со всѣмъ несмѣтнымъ богатствомъ идей, оказалось малодоступнымъ не только пониманію людей, стоявшихъ на низкомъ уровнѣ умственнаго и эстетическаго развитія, но и подчасъ его собственному сознанію, едва поддаваясь словесному изложенію. Поэтому не удивительно, что органы печати, подобные вышеупомянутому, то съ ожесточеніемъ нападали на Аполлона Григорьева, то глумились надъ его отвлеченными, чрезвычайно туманными для нихъ понятіями и оригинальными выраженіями, надѣлая автора статей кличками тѣхъ партій, въ періодическихъ изданіяхъ которыхъ ему, носителю и пламенному истолкователю

---

<sup>1)</sup> „Сынъ Отечества“ 1857 г.

собственныхъ идей, приходилось въ силу простой случайности сотрудничать.

Въ «Москвитинѣ» обнаружилась въ достаточной степени оригинальность его взглядовъ на жизнь, на искусство и на критику. Въ основѣ всѣхъ его мнѣній, критическихъ статей и литературныхъ сочиненій лежала идея народной самобытности, самостоятельности искусства и свободы, непосредственности художественнаго творчества, какъ процесса воспроизведенія предметовъ и явленій дѣйствительности, отраженныхъ чрезъ призму внутренняго міра поэта, его личной природы и идеаловъ.

Московская жизнь въ данный періодъ дѣятельности Аполлона Григорьева навѣяла на него дорогія воспоминанія дѣтства—и новыя знакомства съ людьми, носившими, какъ онъ выражается, «въ душѣ безпритязательно, наивно, до безсознательности вѣру въ народъ и народность», вызвали въ немъ кипучую дѣятельность и жажду осуществленія завѣтныхъ думъ, мыслей о русской самобытности. «Все народное, даже мѣстное, что окружало мое воспитаніе, пишетъ онъ позднѣе въ автобіографіи,—все, что я на время почти успѣлъ заглушить въ себѣ, отдавшись могущественнымъ вѣяніямъ наукъ и литературы, подымается въ душѣ съ неожиданною силою и растетъ, растетъ до фанатической исключительной мѣры, до нетерпимости, до пропаганды... Пять лѣтъ новой жизни школы...»

Въ другомъ мѣстѣ онъ вспоминаетъ этотъ періодъ своей жизни и называетъ его «второю и настоящею молодостью». «Въ душѣ, пишетъ онъ, новая или, лучше сказать, обновленная вѣра въ грунтъ, почву, народъ, въ пору воссозданія въ умѣ и въ сердцѣ всего непосредственнаго, что только, повидимому, похерили въ нихъ рефлексія и наука, въ пору надеждъ, зеленыхъ, какъ обертки нашего милаго «Москвитина» 1851 года... Я ожилъ душою, я вѣрилъ... я всѣми управленіями рвался на встрѣчу къ тѣмъ великимъ открытіямъ, которыя сверкали въ начинавшейся дѣятельности Островскаго, къ тѣмъ свѣжимъ ключамъ, которые били въ

«Тюфякъ» и другихъ вещахъ Писемскаго да въ ярко-талантливыхъ и симпатичныхъ наброскахъ И. Т. Кокорева;—передо мной какъ будто изъ-подъ спуда возникалъ міръ преданій, отринутыхъ только логически рефлексією, со мной заговорили вновь и заговорили внятно, ласково и старымъ стѣны стараго Кремля, и безыскусственно высоко-художественныя страницы старыхъ лѣтописей; меня, какъ что-то растительное, сталъ опять обивать, какъ въ годы дѣтства, органическій міръ народной поэзіи. Одинокѣствомъ я перерождался,—я, жившій нѣсколько лѣтъ какою-то чужою жизнью, переживавшій что-то, но во всякомъ случаѣ не свои, страсти, начиналъ на днѣ собственной души доискиваться собственной самости... Хорошо было это все, какъ утренняя зоря, какъ блестящая пыль на лепесткахъ цвѣтовъ». <sup>1)</sup>

Не взирая на признаваемое имъ самимъ страстное увлеченіе его славянофильскими идеями съ оттѣнками узкости и односторонности воззрѣній Погодина, участіе его въ «Москвитинѣ» въ теченіе пяти лѣтъ, съ 1851 по 1855 гг., оказалось весьма плодотворнымъ и способствовало развитію русской критической мысли и правильному пониманію литературы.

Статьи «Русская литература въ 1851 году» и «Русская изящная литература въ 1852 году» пролили новый свѣтъ на сущность и задачи исторической критики, указали исходную точку состоянія новѣйшей русской словесности и отмѣтили новыя литературныя явленія, какъ-то: произведенія Писемскаго, Евгенія Туръ, Островскаго, Потѣхина, Крестовскаго и молодыхъ лириковъ.

«Нашъ вѣкъ, говорится въ первой статьѣ, есть вѣкъ по преимуществу историческій, и повторимъ опять, мы менѣе всего отрицаемся отъ такого его значенія. Историческій взглядъ есть приобрѣтеніе, завоеваніе, купленное многими тяжкими опы-

---

<sup>1)</sup> А. Григорьевъ. „Мои литературныя и нравственныя скитальчества“. „Время“. 1882 г.

тами, многими трудами. Странно бы было, если бы эта общая схема не приложена была и къ искусству, странно было бы, если бы не было исторической критики; скажемъ еще болѣе, мы сами думаемъ, что едва ли въ наше время можетъ и существовать иная критика, кромѣ исторической.

1) Историческая критика рассматриваетъ литературу, какъ органическій продуктъ вѣка и народа въ связи съ развитіемъ государственныхъ, общественныхъ и моральныхъ понятій. Такимъ образомъ всякое произведеніе литературы является на судъ ея живымъ отголоскомъ времени, его понятій, вѣрованій и убѣжденій, и постольку замѣчательнымъ, поскольку — отразило оно жизнь вѣка и народа. Но, такъ какъ во всемъ временномъ есть частицы вѣчнаго, неперемѣннаго, и такъ какъ это вѣчное, неперемѣнное остается постояннымъ масштабомъ для оцѣнки различныхъ видимыхъ явленій, то и слѣдуетъ отсюда прямо, что общіе эстетическіе законы подразумѣваются исторической критикой художественныхъ произведеній.

2) Историческая критика рассматриваетъ литературныя произведенія въ ихъ преемственной и послѣдовательной связи, выводя ихъ, такъ сказать, одно изъ другого, сопоставляя ихъ, сличая между собою, но не уничтожая одного въ пользу другого, не возвышая послѣдне-написаннаго на счетъ предшествовавшихъ. Показать относительное значеніе всѣхъ литературныхъ произведеній въ массѣ, опредѣлить каждому подобающее мѣсто, какъ органическому, живому продукту жизни, — и повѣрить каждое безотносительными законами изящнаго, непременно повѣрить каждое — вотъ дѣло исторической критики.

3) Историческая критика, рассматривая литературное произведеніе, какъ живой продуктъ общественной и моральной жизни, опредѣляетъ, что... внесло оно содержаніемъ своимъ въ массу познаній о человѣкѣ<sup>1)</sup>.

Исходною историческою точкою въ состояніи новѣйшей русской литературы Ап. Григорьевъ признаетъ Гоголя. «Каждая

---

<sup>1)</sup> Соч. Ап. Григорьева. Т. I, стр. 4—7.

литературная эпоха имѣетъ своего главнаго представителя, отъ котораго, какъ отъ исходнаго пункта, ведетъ она свое начало. Въ немъ, какъ въ фокусѣ, совмѣщаются ея художественныя и моральныя задачи, она живетъ подъ его могущественнымъ вліяніемъ, она вся представляетъ собою, такъ сказать, периферію его личности. Новое слово сказано имъ, и это новое слово толкуется, поясняется болѣе или менѣе даровитыми послѣдователями. Новая стезя пробивается геніемъ, и только расширяется, очищается талантами. Такимъ геніемъ литературной эпохи, которую переживаемъ мы до сихъ поръ, по справедливости, можетъ быть названъ Гоголь. Все, что есть дѣйствительно живого въ явленіяхъ современной изящной словесности, идетъ отъ него, поясняетъ его, или даже поясняется имъ. Цѣльная, полная художественности натура Гоголя, такъ сказать, развѣтвляется въ различныхъ сторонахъ современной словесности» <sup>1)</sup>.

Затѣмъ Ап. Григорьевъ касается вопроса объ отношеніи истиннаго художника къ окружающей дѣйствительности, утверждая, что «на судъ исторической критики» отъ поэта требуется, кромѣ таланта, также опредѣленное міросозерцаніе. «Міросозерцаніе, или проще, взглядъ поэта на жизнь не есть что-либо совершенно личное, совершенно принадлежащее самому поэту. Широта или узкость міросозерцанія обуславливается эпохой, страной, однимъ словомъ, — временными и мѣстными историческими обстоятельствами. Геніальная натура, при всей своей крѣпкой и несомнѣнной самости или личности, является, такъ сказать, фокусомъ, отражающимъ крайніе, истинные предѣлы современнаго ей мышленія, послѣднюю истинную степень развитія общественныхъ понятій и убѣжденій. Это мышленіе, эти общественныя понятія и убѣжденія возводятся въ ней, по слову Гоголя, «въ перлъ созданія», очищаясь отъ грубой примѣси различныхъ уклоненій и односторонностей. Геніальная натура носитъ въ себѣ, такъ сказать, кладъ всего

---

<sup>1)</sup> Тамъ же стр. 8.

неперемѣннаго, что есть въ стремленіяхъ ея эпохи. Но, отражая въ себѣ эти стремленія, не служить имъ рабски, а владычествуешь надъ ними, глядя яснѣе многихъ впередъ. Противорѣчія примиряются въ ней высшими началами разума, который вмѣстѣ съ тѣмъ есть и безконечная любовь» <sup>1)</sup>.

Творческая дѣятельность Гоголя положила начало троякому отношенію послѣдующихъ писателей къ жизни и создала три направленія; послѣднее изъ нихъ наиболѣе общало въ будущемъ и его представителями, по мнѣнію критика «Москвитянина», являлись Писемскій и Островскій; они, по убѣжденію его, стоятъ по творчеству «выше всѣхъ другихъ современныхъ дѣятелей литературныхъ»; отъ нихъ именно онъ ждетъ «новаго слова», не досказаннаго, вслѣдствіе преждевременной кончины, Гоголемъ.

Оцѣнку литературныхъ явленій слѣдующаго года Ап. Григорьевъ начинаетъ съ новой пьесы Островскаго «Бѣдная Невѣста», которая вполнѣ оправдала надежды критика. Относя къ слабымъ сторонамъ комедіи недостатокъ экономіи въ планѣ и въ подробностяхъ, отсутствіе симметричности въ постройкѣ ея, нѣсколько эпическій характеръ развитія дѣйствія и примѣсь лиризма, Ап. Григорьевъ тѣмъ не менѣе утверждаетъ, что она можетъ считаться «замѣчательнымъ произведеніемъ во всякой литературѣ, а задачи ея широки, благородны и новы, что, безъ сомнѣнія, поставяетъ автора во главѣ современнаго литературнаго движенія». «У Островскаго одного, замѣчаетъ онъ, въ настоящую эпоху литературную есть свое прочное, новое и вмѣстѣ идеальное міросозерцаніе, съ особеннымъ оттѣнкомъ, обусловленнымъ какъ данными эпохи, такъ, можетъ быть, и данными натуры самого поэта. Этотъ оттѣнокъ мы назовемъ, нисколько не колеблясь, кореннымъ русскимъ міросозерцаніемъ, здоровымъ и спокойнымъ, юмористическимъ безъ болѣзненности, прямымъ безъ увлеченій въ ту или другую крайность, идеальнымъ, наконецъ, въ справедливомъ смыслѣ

---

<sup>1)</sup> Сочин. Ап. Григорьева. Т. I, стр. 10.

идеализма, безъ фальшивой грандіозности или столько же фальшивой сентиментальности» <sup>1)</sup>).

Въ статьѣ «Русская изящная литература въ 1852 году» критикъ замѣчательно вѣрно опредѣлилъ отличительныя черты поэтической фizioноміи Огарева, Щербины, Фета, Майкова, Полонскаго, и своей поразительной проницательностью предугадалъ всю мощь дарованія послѣднихъ трехъ маститыхъ художниковъ, недавно завершившихъ свой сравнительно долгій жизненный путь.

Въ статьѣ «Замѣчанія объ отношеніи современной критики къ искусству» («Москвитянинъ» 1855 г. № 3) Григорьевъ видитъ нѣкоторое преимущество западной критики передъ русской въ томъ, что ея оцѣнка писателей отличается большей положительностью и постоянствомъ.

Въ «Москвитянинѣ» (№ 15) Аполлонъ Александровичъ разобралъ народныя пѣсни, и его «Опытъ о русскихъ пѣсняхъ» вышелъ въ свѣтъ особымъ изданіемъ въ 1854 году.

Къ статьямъ Григорьева «Русская литература въ 1851 г.» и «Русская изящная литература въ 1852 году» тѣсно примыкаетъ другая, посвященная имъ въ «Москвитянинѣ» въ 1855 году оцѣнкѣ перваго періода дѣятельности Островскаго, подъ заглавіемъ «О комедіяхъ Островскаго и ихъ значеніи въ литературѣ и на сценѣ».

Въ ней авторъ отводитъ молодому драматургу первое мѣсто въ современной ему русской литературѣ, признавая за нимъ «новое слово». Это «новое слово» въ свое время подняло цѣлую бурю въ печати, и смѣлому критику отъ недобросовѣстныхъ и грубыхъ выходокъ противниковъ пришлось энергично отстаивать свои взгляды на искусство; его возраженія, повидимому, не остались «гласомъ вопіющаго въ пустынь». «Новое слово» — выраженіе, отъ котораго авторъ сей статьи, — пишетъ критикъ, — всего менѣе, конечно, способенъ отречься, несмотря на глумленія, которыя пройдутъ, если уже не прошли, — «новое слово» ускользнуло отъ опредѣленія старой кри-

<sup>1)</sup> Сочин. Ап. Григорьева. Т. I, стр. 63.

тики, а теперь уже такъ далеко отъ нея, что она его и видитъ—да «зубъ нейметъ», какъ говорится» <sup>1)</sup>).

Въ заключеніе Ап. Григорьевъ даетъ слѣдующую полную оцѣнку комедій Островскаго. «Новое слово»!—употребляю теперь съ нѣкоторою гордостью. Это выраженіе, высокопарность котораго выкуплена легкомысленнымъ или недобросовѣстнымъ посмѣяніемъ, которому оно подвергалось, — вотъ коренная, основная причина негодования старой критики на писателя, которому по всему праву, по общему признанію массы, принадлежитъ, несмотря на его недавнее появленіе, несмотря на нѣкоторые недостатки, — несомнѣнное первенство въ современной литературѣ.

«Съ 1847 до 1855 года Островскій написалъ всего 9 произведеній и изъ нихъ только *пять* значительныхъ по объему и *шесть* по содержанію, только *четыре* изъ нихъ даются на театрѣ, но эти *четыре*, безъ церемоніи говоря, создали народный театръ,—частью создали, частью выдвинули впередъ артистовъ, пробудили общее сочувствіе *всѣхъ* классовъ общества, измѣнили во многомъ взглядъ на русскій бытъ, познакомили насъ съ типами, которыхъ существованія мы не подозревали и которые тѣмъ не менѣе, несомнѣнно, существуютъ, съ отношеніями въ высшей степени новыми, драматическими, съ многоразличными сторонами русской души, и глубокими, и трогательными, и нѣжными, и разгульными,—сторонами, до которыхъ никто еще не касался. Право гражданства литературнаго получило множество яркихъ, определенныхъ образовъ, новыхъ живыхъ созданій въ мірѣ искусства—и все это прошло безъ урока для критики. Талантъ уже породилъ толпу подражателей, и грубыя подражанія печатались въ ея журналахъ, а она продолжала глумиться надъ новымъ словомъ таланта!

«Таково положеніе вопроса о новомъ явленіи. Что же именно есть въ немъ такого новаго, что не принимается критикою?—ибо вопросъ, что она враждуетъ не во имя эстетическихъ по-

<sup>1)</sup> Сочинен. Ап. Григорьева стр. 114—115.



ложеній, мы считаемъ рѣшеннымъ. Новы въ талантѣ Островскаго, какъ во всякомъ самобытномъ талантѣ,—содержаніе и форма. Подъ содержаніемъ разумѣю я: 1) общее отношеніе поэта къ жизни, его міросозерцаніе; 2) типы, имъ создаваемые и манеру ихъ изображенія. Подъ формою: 1) самобытность постройки произведеній, и 2) особенность языка. Новое слово Островскаго есть самое старое слово—народность: новое отношеніе его есть только прямое, чистое, непосредственное отношеніе къ жизни» <sup>1)</sup>. Каждое въ своемъ родѣ оригинальное произведеніе Островскаго «носило уже на себѣ яркую печать самобытности таланта, выражавшейся и 1) въ новости быта, выводимаго авторомъ и до него еще не початого,—если исключить нѣкоторые очерки Вельтмана и Луганскаго, очерки, набросанные, такъ сказать, вскользь, мимоходомъ, и 2) въ новости отношенія автора къ изображаемому имъ быту и выводимымъ лицамъ, и 3) въ новости манеры изображенія, и 4) въ новости языка—въ его цвѣтистости, особенности. Изъ всего этого новаго, что съ первой минуты своего появленія въ литературу приносилъ съ собою молодой поэтъ, критика въ состояніи была,—да и теперь еще находится,—понять только новость изображаемаго имъ быта» <sup>2)</sup>.

Въ «Москвитянинѣ» за тотъ же годъ (№№ 15 и 16) въ статьѣ «Обозрѣніе наличныхъ литературныхъ дѣятелей» критикъ выражаетъ мысль, что «созданія искусства столь же живы и самобытны, какъ явленія самой жизни, такъ же рождаются, а не дѣлаются, какъ рождается, а не дѣлается все живое».

Эти отрывки изъ статей «Москвитянина» подтверждаютъ, что воззрѣнія Ап. Григорьева болѣе или менѣе опредѣлились и поколебать ихъ какимъ-нибудь постороннимъ вліяніемъ или вѣяніемъ было бы не легко. Къ какому лагерю онъ ни присоединялся, онъ по существу всегда оставался самимъ собой, т. е. вѣрнымъ взлелѣянной имъ съ дѣтства идеѣ народолюбія

<sup>1)</sup> Сочин. Ап. Григорьева. Т. I, стр. 118—119

<sup>2)</sup> Тамъ же стр. 114.

и національной самобытности въ самомъ положительномъ, лучшемъ значеніи слова, а не въ смыслѣ нетерпимости и народной отчужденности.

Сотрудничество въ «Москвитянинѣ» будило въ душѣ Аполлона Александровича по прошествіи многихъ лѣтъ пріятныя воспоминанія, такъ какъ оно было полно весьма живой дѣятельности не безъ горячей журнальной полемики. «Съ 1851 по 1854 г. включительно, записано въ его «Краткомъ послужномъ спискѣ», — энергія дѣятельности, — и ругань на меня неимовѣрная, до пѣны у рта. Въ эту же эпоху писались извѣстныя стихотворенія, во всякомъ случаѣ, замѣчательныя искренностью чувства».

Аполлонъ Григорьевъ, отличаясь рѣдкимъ прямодушіемъ и искренностью, главнымъ достоинствомъ въ человѣкѣ, въ дѣятельности, въ произведеніяхъ искусства считалъ правду, за которую ратовалъ, принося въ жертву всѣ насущные интересы жизни. То, что онъ сказалъ въ одной изъ своихъ статей о В. Г. Бѣлинскомъ, гораздо болѣе характеризуетъ его собственную личность, и какъ человѣка, и какъ критика, а именно: «Высокій удѣлъ, данный судьбою немногимъ изъ критиковъ, — едва ли даже, за исключеніемъ Лессинга, данный не одному Бѣлинскому. И данъ этотъ удѣлъ совершенно по праву. Горячаго сочувствія при жизни и по смерти стоилъ тотъ, кто самъ умѣлъ горячо и беззавѣтно сочувствовать. Безстрашный боецъ за правду — онъ не усумнился ни разу отречься отъ лжи, какъ только признавалъ ее, и гордо отвѣчалъ тѣмъ, которые упрекали его за измѣненія взглядовъ и мыслей, что не измѣняетъ мыслей только тотъ, кто не дорожитъ правдой. Кажется даже, онъ созданъ былъ такъ, что натура его не могла устоять противъ правды, какъ бы правда ни противорѣчила его взгляду, какихъ бы жертвъ она ни потребовала. Смѣло и честно звалъ онъ первый геніальнымъ то, что онъ таковымъ созналъ, и, благодаря своему критическому чутью, ошибался рѣдко. Такъ же смѣло и честно разоблачалъ онъ, часто наперекоръ общему мнѣнію, все, что казалось ему ложнымъ или напыщеннымъ, —

заходилъ иногда за предѣлы, но въ сущности, въ основахъ, *никогда* не ошибался. У него былъ ключъ къ *словамъ* его эпохи, и въ груди его жила могущественная и вулканическая сила. Теоріи увлекали его, какъ и многихъ, но въ немъ было всегда нѣчто высшее теорій, чего нѣтъ во многихъ. У него — теоретики назовутъ это слабостью, а мы великою силою — никогда не достало бы духу развѣнчать во имя теоріи сегодня то, что созналъ онъ великимъ и прекраснымъ вчера<sup>1)</sup>.

Въ «Русской Бесѣдѣ» за 1856 годъ Григорьевъ помѣстилъ «одну изъ серьезнѣйшихъ», по его выраженію, своихъ статей — «О правдѣ и искренности въ искусствѣ», разрешающую три важныхъ вопроса: о правдѣ въ искусствѣ, о соотношеніи искусства и нравственности и объ объективности художественнаго творчества.

Сущность перваго вопроса заключается въ томъ, «имѣеть ли право художникъ, какъ извѣстное лицо съ извѣстнымъ образомъ мыслей, съ извѣстною настроенностью чувствованій, переноситься въ состоянія духа, ему чуждыя, въ настройства чувствованій, болѣе напряженныя или менѣе напряженныя, нежели свойственное ему душевное настройство?» — По мнѣнію критика, современныя требованія правды и искренности отъ художника и художества исключаютъ всякую напряженность въ творествѣ, потому что послѣдняя, «какъ ржавчина, оставляетъ свой слѣдъ на чистой стали таланта, растлѣваетъ и окончательно истощаетъ таланты небольшихъ размѣровъ».

*Объ искренности отношеній* художника къ жизни и практическомъ значеніи искусства А. А. Григорьевъ приходитъ къ такому заключенію: «Однимъ словомъ, искусство всѣмъ истиннымъ художникамъ, во все ли ихъ поприще, въ срединѣ ли его, подъ конецъ ли — во открывалось имъ въ видѣ великой вѣрренной имъ міровой силы, въ видѣ высшаго служенія на пользу души человѣческой, на пользу жизни общественной. Возстаніе же нѣкоторыхъ изъ нихъ противъ *полезности* происходило изъ источника законной вражды съ узкимъ понятіемъ

---

<sup>1)</sup> Сочиненія Ал. Григорьева. Т. I, стр. 233—4.

о полезности. Той пользы матеріальной, которая выражается, напримѣръ, въ очищеніи улицъ, не даетъ вообще жизнь духа, къ выраженіямъ которой принадлежитъ и искусство,—но безъ этихъ выраженій, безъ этихъ въ глазахъ поборниковъ полезности «побасенокъ»,—оледенѣла, омертвѣла бы жизнь, и человечество впало бы въ такое состояніе, въ которомъ самое очищеніе улицъ было бы излишне». <sup>1)</sup>

«Искусство есть идеальное выраженіе жизни—и вопросъ о томъ, имѣетъ ли право художникъ переноситься въ чуждое ему, совершенно законенъ и основателенъ. Художникъ увѣковѣчиваетъ только жизненно-законные типы, ибо на немъ лежитъ обязанность правды и правдиваго отношенія къ явленіямъ, правдиваго положительнаго, или правдиваго отрицательнаго. Правда есть свѣтъ, озаряющій жизнь, отдѣляющій въ ней случайное отъ существеннаго, преходящее и временное отъ неперемѣннаго и вѣчнаго. Художникъ, какъ вноситель свѣта и правды, является такимъ образомъ высшимъ представителемъ нравственныхъ понятій окружающей его жизни, т. е. своего народа и своего вѣка, и инымъ даже быть не можетъ истинный художникъ. Примѣръ самый разительный имѣемъ мы въ нашемъ Пушкинѣ, котораго истинно-художническая и слѣдовательно въ высшей степени правдивая и зрячая натура, все болѣе и болѣе свергая съ себя кору чужихъ наростовъ, отряхая прахъ наносныхъ вліяній, стала возвышаться наконецъ до коренныхъ народныхъ созерцаній, даже до созерцаній религиозныхъ, составляющихъ высшую повѣрку жизненныхъ и народныхъ стихій, входящихъ въ понятіе о нравственности: укажу въ этомъ отношеніи на такія стихотворенія, какъ «Отрывокъ», «Молитва»,—на занятіе поэта выписками изъ Четивхъ Миней и т. п.» <sup>2)</sup>.

«Искусство по существу своему нравственно, поколику оно жизненно, и поколику самую жизнь повѣряетъ оно идеаломъ» <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Сочиненія Ап. Григорьева. Т. I, стр. 137.

<sup>2)</sup> Тамъ же стр. 142.

<sup>3)</sup> Тамъ же стр. 144.

Аполлонъ Григорьевъ настоятельно требуетъ отъ искусства быть выраженіемъ жизни и ея дѣйствительныхъ и общихъ, а не вымысленныхъ и случайныхъ явленій, и полагаетъ въ основу истинно художественнаго произведенія не только живую правду, но правду, непремѣнно обусловленную неизмѣнными законами нравственными, правду, подсудную строгому суду гуманности. «Художество, по его опредѣленію, есть выраженіе жизни народа, и коренныя нравственные начала жизни народа суть неминуемо и коренныя начала художества: безъ нарушенія правды народной и правды личной, поколику личная правда имѣетъ глубочайшіе корни свои въ правдѣ общей, художникъ не можетъ принять мѣриломъ иныхъ нравственныхъ началъ, иныхъ созерцаній, кромѣ тѣхъ, которыя даются ему народною жизнію». <sup>1)</sup>

«Вопросъ о связи между художествомъ и нравственностью приведенъ такимъ образомъ въ свои естественныя границы, въ положеніе, что художественное созерцаніе съ нравственнымъ по натурѣ своей не раздѣлимо, что разорванность художественнаго созерцанія съ нравственнымъ отражается въ самомъ искусствѣ извѣстнымъ порокомъ или недостаткомъ» <sup>2)</sup>.

Наконецъ, критикъ переходитъ къ выясненію сущности объективности, которая, по его словамъ, «есть свойство таланта отождествляться съ представляемымъ, описываемымъ, изображаемымъ имъ предметомъ, способность отрѣшаться отъ своей личности и ея обстановки и переноситься въ чужія личности съ иною обстановкою, способность переноситься въ чужую жизнь и жить ею. Объективность въ такомъ ея значеніи есть не иное что, какъ удивительная тонкость поэтической организаціи; чуткость натуры на всякое дыханіе жизни, отзывчивость на все живое» <sup>3)</sup>. «Кромѣ чуткости, мѣткость выраженія составляетъ еще характеристическое свойство объективности. Мѣткость эта по существу своему есть двоякая: одна

<sup>1)</sup> Сочиненія Ап. Григорьева. Т. I, стр. 145.

<sup>2)</sup> Тамъ же стр. 178.

<sup>3)</sup> Сочиненія Ап. Григорьева. Т. I, стр. 183—4.

заключается въ передачѣ чертъ особенныхъ во всей ихъ особенности, съ ихъ, такъ сказать, запахомъ и цвѣтомъ; другого рода мѣткость заключается въ *общности*, въ типичности выраженія: это есть, такъ сказать, заключеніе цѣлаго ряда однородныхъ впечатлѣній въ типическое, часто даже повторяющееся выраженіе—удѣлъ непосредственной, растительной поэзіи, удѣлъ и поэзіи искусственнаго періода въ твореніяхъ поэтовъ, призванныхъ, какъ Пушкинъ, на то, чтобы все минутное и случайное возводить въ типическое и общее» <sup>1)</sup>. Объективность имѣетъ три степени: первая, низшая есть способность художника *копировать* въ обширѣйшемъ смыслѣ этого слова; другую, сравнительно высшую, степень объективности представляетъ способность къ созданію *типовъ*—общихъ, отрѣшенныхъ образовъ; третью, наконецъ, степень объективности можно назвать силою, сознательно обладающею свѣтомъ или идеаломъ; это — художественная способность въ высшемъ ея проявленіи, на безграничной ея свободѣ. «Такимъ образомъ, *объективность* на двухъ высшихъ степеняхъ своихъ, и притомъ на единственно такихъ, о которыхъ говорится, когда говорится о искусствѣ, является не отождествленіемъ съ жизнью явленій, а прозрѣніемъ сущности явленій, прозрѣніемъ, руководимымъ сознаніемъ болѣе или менѣе свѣтлаго и широкаго идеала» <sup>2)</sup>.

Въ заключеніе разбора трехъ поставленныхъ вопросовъ Ап. Григорьевъ въ статьѣ «О правдѣ и искренности въ искусствѣ» говоритъ: «художество, какъ выраженіе правды жизни, не имѣетъ права ни на минуту быть неправдою: *въ правдѣ*—его искренность, *въ правдѣ*—его нравственность, *въ правдѣ*—его объективность» <sup>3)</sup>.

Изъ отзывовъ современной критики печати видно, что статьи Ап. Григорьева не проходили безслѣдно, напротивъ,

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 185—6.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 187.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 189.

вовбуждали горячую полемику, прямо или косвенно оказывали на общественное сознание сильное нравственное влияние. Такъ, «Отечественныя Записки» въ 1864 г. пишутъ: «Лучшая пора дѣятельности Ап. Ал. Григорьева принадлежитъ временамъ «Москвитянина». Тогда въ его статьяхъ, дѣйствительно, была жизнь, особенно рѣзко бросающаяся въ глаза, при господствѣ взгляда исключительно отрицательнаго, завѣщаннаго Бѣлинскимъ. Какъ извѣстно, противъ направленія Бѣлинскаго возстали славянофилы: Хомяковъ, Кирѣевскій, К. Аксаковъ. Ап. Ал. Григорьевъ, только что начавшій писать, применилъ къ нимъ, и все то, что было туманнаго и привлекательнаго въ этомъ ученіи, сказалось страстной любовью къ древней Руси въ статьяхъ А. А. Григорьева. Публика, мало знакомая съ ученіемъ славянофиловъ, чувствовала нѣчто новое въ критическихъ статьяхъ Григорьева. Тамъ говорилось и о любовномъ началѣ древней Руси и о православіи, какъ исключительно русскомъ цивилизующемъ элементѣ и проч.» Къ такому же выводу о значеніи критическихъ статей Ап. Григорьева въ первую половину 50-хъ годовъ приходитъ и г. Волинскій: «Спустя четыре года послѣ смерти Бѣлинскаго, еще до появленія въ литературѣ Чернышевскаго и Добролюбова съ ихъ разсудочнымъ, но яростнымъ задоромъ, произведшимъ совершенно новое броженіе въ русскомъ обществѣ, горячо написанныя статьи Ап. Григорьева должны были возбудить самыя свѣтлыя надежды въ людяхъ съ эстетическимъ вкусомъ. Онѣ въ самомъ дѣлѣ выливались изъ души, трепетавшей отъ всякаго яркаго художественнаго впечатлѣнія. Нѣкоторые приемы анализа, проникнутые поэтической мечтательностью, не могли не напомнить публикѣ пламенной рѣчи Бѣлинскаго. По тонкости отдѣльных замѣчаній въ новыхъ характеристикахъ Писемскаго, Огарева, Фета, Гончарова, Аполлонъ Григорьевъ не имѣлъ соперниковъ среди журнальных рецензентовъ, бродившихъ по смерти Бѣлинскаго въ какихъ-то потемкахъ, бездушно, а иногда и пошловато повторяя и обезцвѣчивая рѣзкія выраженія умершаго учителя. Несмотря на внѣшній блескъ и игру

парадоксальнаго ума, Дружининъ не могъ сравниться съ этимъ даровитымъ поэтомъ, взявшимся за дѣло критики по чувству настоящей, страстной любви къ спорамъ и дебатамъ на эстетическія и историко-литературныя темы. Бойкіе рецензенты, работавшіе въ «Москвитянинѣ» рядомъ съ Аполлономъ Григорьевымъ, иногда даже выражавшіе вѣрныя критическія сужденія, уже совершенно заслонялись его непрерывными трудами, отмѣченными печатью яркаго, самобытнаго таланта» <sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> А. Воыискій. Русскіе критики. СПБ. 1896 г. Стр. 656.



## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Путешествіе въ Италію и Францію.—Магическое дѣйствіе классическихъ памятниковъ искусства и итальянской сцены на эстетическое чувство критика и его восторженные отзывы о жизни на югѣ въ перепискѣ съ дѣвицей Е. С. П.—И.—Прѣбываніе въ семействѣ князей Трубецкихъ и знакомства.—Случай въ Венеціи.—Отсутствіе денегъ и письмо къ А. Фету.—Переломъ въ міросозерцаніи А. Григорьева.

Въ началѣ 1857 года Ап. Ал. Григорьеву представился счастливый случай на время оторваться отъ нервнаго журнальнаго труда, чтобы спокойнѣе оглянуться на прошлое и освѣжить свои силы и мысли путешествіемъ.

Покинувъ службу, онъ въ качествѣ учителя отправился вмѣстѣ съ семействомъ князей Трубецкихъ за границу. Сперва годъ жилъ онъ во Флоренціи и Римѣ, затѣмъ посѣтилъ Парижъ и Берлинъ.

И. С. Тургеневъ, узнавъ неожиданно объ отлучкѣ критика изъ Москвы, писалъ А. Фету изъ Рима 7 ноября 1857 года сообщить: «гдѣ же онъ? Можетъ быть, онъ гдѣ-нибудь здѣсь, по близости, и его можно было бы увидѣть, если не залучить».

Свои сильныя впечатлѣнія и упоительныя настроенія Григорьевъ чистосердечно выражалъ въ интимныхъ, дружескихъ письмахъ къ дѣвицѣ Е. С. П..., которая тогда жила въ Москвѣ, и къ которой онъ питалъ самыя нѣжныя чувства. Въ письмѣ отъ 20 октября, наиболѣе обрисовывающемъ артистическую натуру критика, Аполлонъ Александровичъ ей описываетъ жизнь свою во Флоренціи въ 1857 году такъ: «Напишу же къ Вамъ хоть разъ въ человѣческомъ расположеніи духа, добрый другъ мой... Я сейчасъ только возвратился изъ

оперы — и вотъ два дня, какъ я въ лирическомъ состояніи отъ двухъ здѣшнихъ оперъ, т. е. оперы театра Пергона и оперы театра Пальяно, — отъ Мадонны Мурильо, отъ Флоренціи вообще съ ея старыми палаццами, видѣвшими столько трагедій, съ ея тюрьмой Барджелло, выдавшей столько казней, съ ея чудесами искусства, съ ея безпечною, разѣдающею все мирное спокойствіе жизнью... Знаю, что за лирическое состояніе опять поплачусь извѣстнымъ образомъ, но что нужды? День мой и кончено...

Съ чего же начать? Начну съ Мадонны... Не думайте, чтобы я по сему поводу пошелъ на *pont aux ânes*, т. е. не ожидайте, чтобы я возвратился въ любезное отечество знатокомъ и цѣнителемъ живописи, но органъ для пониманія этого дѣла, который былъ во мнѣ рѣшительно закрытъ, вдругъ во мнѣ обозначился, да и какъ еще? До страсти, до бѣшенства. По цѣлымъ часамъ не выхожу я изъ галлерей, но, на что бы ни смотрѣлъ я, все раза три возвращусь я къ Мадоннѣ. Повѣрите ли Вы, что, когда я первые раза смотрѣлъ на нее, мнѣ хотѣлось плакать... Да! это странно, не правда ли? Этакого высочайшаго идеала женственности по моимъ о женственности представленіямъ я и во снѣ даже до сихъ поръ не видывалъ... И есть тайна полутехническая, полудушевная въ ея созданіи. Мракъ, окружающій этотъ прозрачный, безконечно-нѣжный, дѣвственно-строгій и задумчивый ликъ, — играетъ въ картинѣ столь же важную роль, какъ сама Мадонна и младенецъ, стоящій у нея на колѣняхъ. И это не *tour de force* искусства. Для меня нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что мракъ этотъ есть мракъ души самого живописца, изъ котораго вылетѣлъ, отдѣлился, улетучился божественный сонъ, образъ, весь созданный не изъ лучей дневного свѣта, а изъ рогово-палеваго сіянія зари... Смотрѣлъ и смотрю я на нее и вблизи и вдали и не надивлюсь только одному: простотѣ созданія. Ничего подобнаго тѣмъ искусственнымъ переливамъ свѣта, которые занимаютъ теперешнихъ нашихъ живописцевъ, — нѣтъ даже утонченности въ накладкѣ красокъ: все создавалось смѣло, просто,

широко... Но тутъ есть аналогія съ бетховенскимъ творчествомъ, которое тоже выходитъ изъ безднъ и мрака и такъ же своею простою уничтожаетъ все кричащее, все *жидовское* (хоть *жидовское*, т. е. Мейербергера и Мендельсона—какъ Вы знаете—я страстно люблю).

А знаете ли Вы оперу Верди: «*Les verges siciliennes*»? Она дышитъ энергіею и такою революціонною искренностью во многомъ, что все-таки я долженъ сознаться, что сей господинъ—великій итальянскій талантъ. Вчера въ Пергона (это здѣсь опера аристократическая) синьора Альбертини, не смотря на свою *laideur impossible*,—была такъ очаровательна, что я готовъ былъ упасть къ ея ногамъ и цѣловать ихъ, въ минуту, когда эта очаровательная *furia* орала со всѣмъ неистовствомъ, со всею итальянскою *rabbia*, со всею могучестью итальянской груди... *Coraggio, coraggio, coraggio* (это *coraggio*, идущее все *crescendo*—до адскаго крика, сливающегося съ крикомъ хора и покрывающаго его,—удивительное вдохновеніе маэстро Верди)—и толпа народа ринулась потомъ по призыву милѣйшей *фуріи* на французовъ.

А въ Пальяно—ревутъ и орутъ Гугенотовъ, и все жидовски-сатанинское, что есть въ музыкѣ великаго маэстро, выступаетъ такъ рельефно, что сердце бьется и жилы на вискахъ напрягаются. Меня пятый разъ бьетъ лихорадка—отъ четвертаго до конца пятаго... Это вещь ужасная, буквально ужасная. Одинъ дуэтъ Рауля и Валентины (*Il tempo vola*)... Повторяю, это вещь ужасная съ ея фанатиками, съ ея любовью на краю бездны, съ ея вѣнчаніемъ подъ ножами и ружейнымъ огнемъ. А все-таки—жидъ, жидъ и жидъ. Марсель, это не гугеноть, это жидовскій мученикъ.—Боже мой, да развѣ не слышать этого въ оркестровкѣ его финальной аріи: эти арфы—только ради благопристойности арфы, а въ сущности это оркестровка жидовскихъ цимбаловъ и шабаша...

Живу я въ великолѣпномъ палаццо,—гдѣ плюнуть некуда—все мраморъ да мраморъ... Выйдешь на улицу—ударись въ мрачный Барджелло,—гдѣ на каждомъ камнѣ помоста кричить

кровь человѣческая... Пройдешь нѣсколько шаговъ—и уже на площади del Palazzo vecchio, а тамъ и Микель-Анджеловъ Давидъ и Персей Бенвенуто Челлини... и иногда вспомнишь, что на этой площади бушевала нѣкогда народная воля—и проповѣдывалъ монахъ Саванарола, и тутъ же его потомъ сожгли... Какъ бы я желалъ, горячо желалъ и васъ всѣхъ моихъ добрыхъ друзей перенести хоть на одинъ день въ этотъ міръ, меня окружающій... А то, вѣдь, я или задыхаюсь отъ одинокаго лиризма, или терзаюсь безумнѣйшею тоскою...

Дѣлаю я много, т. е. много чисто для себя и..... Въ дѣло.... вношу я, разумѣется, всего себя, весь свой фанатизмъ и яростный пылъ. А толкъ едва-ли будетъ!.. Увы! Есть натуры, которыя и даровиты, но, какъ-то внѣшне даровиты, ибо въ нихъ нѣтъ пониманія всей сладости чистой и пылкой борьбы за правду жизни... Вотъ это тоже меня приводитъ сперва въ бѣшенство, потомъ въ отчаяніе... Что бы ни было, всѣ усилія положу, чтобы чего-нибудь добиться... Не даромъ же Богъ именно меня, т. е. ходячій вулканъ, послалъ въ этотъ мірокъ... Неужели же энергія, честная и страстная, останется безплодною? Вадоръ! не было еще до сихъ поръ примѣра, чтобы то, чѣмъ я серьезно и упорно занялся, ушло изъ моихъ рукъ<sup>1)</sup>.

Венеція привела Ап. Григорьева въ восхищеніе своими очаровательными видами, но въ ней онъ случайно по разсѣянности чуть не утонулъ. Сынъ его, пользуясь сообщеніями А. П. Милюкова, такъ передаетъ этотъ случай: «Пріѣхавъ въ Венецію и остановившись въ отелѣ на Canal grande, онъ вечеромъ вадумалъ прогуляться. Забывъ, что въ этомъ своеобразномъ городѣ мѣсто улицъ замѣняютъ каналы и выходъ изъ домовъ прямо опускается въ воду, Ап. Ал. отворилъ наружную дверь, шагнулъ, не осматриваясь, впередъ и попалъ на неожиданное купанье. Къ счастью, ему удалось ухватиться за сваю, къ какимъ у подъѣздовъ привязываютъ гондолы, и прибѣжавшіе

---

<sup>1)</sup> „Новыя письма А. А. Григорьева“. „Эпоха“ 1865 г. февраль.

на крикъ люди успѣли вытащить его изъ канала. «Это было мое первое плаваніе по лагунѣ», говорилъ самъ А. А. Григорьевъ, рассказывая этотъ случай» <sup>1)</sup>).

Берлинъ и Вѣна своими различными сторонами, представлявшими рѣзкій контрастъ русской жизни, вызывали въ путешественникѣ остроумныя замѣчанія и отзывы отрицательнаго характера.

Подобно В. Г. Бѣлинскому, Ап. Григорьевъ не терпѣлъ аристократическаго образа жизни со всѣмъ его этикетомъ и утонченностью, и пребываніе въ семьѣ князей Трубецкихъ его тяготило. Во Флоренціи онъ свелъ знакомство съ русскими семьями и съ удовольствіемъ проводилъ время въ ихъ кругу.

Однакожъ Аполлону Александровичу и въ Италіи, какъ въ Россіи, приходилось терпѣть нужду, тѣмъ болѣе, что онъ старался всячески удовлетворять свою любознательность и пополнять свои свѣдѣнія тщательнымъ обзорѣніемъ дивныхъ сокровищъ западной культуры. 4 января 1858 г. онъ прислалъ своему другу, поэту А. Фету, слѣдующее письмо, изъ котораго можно судить о его душевномъ состояніи, отношеніи къ близкимъ людямъ, къ ихъ и собственнымъ литературнымъ занятіямъ и произведеніямъ и наконецъ о матеріальномъ его положеніи: «Другъ и братъ Аѳанасій! Благодарю тебя и за письмо, и главное за ту привязанность, которая въ немъ видна, хотя за этакія вещи не благодарятъ. Все, что ты говорилъ тутъ о служеніи черни и проч.,—это дѣло, да только это все стрѣлы, летящія мимо. Объ этомъ или надобенъ толькѣ долгій или вовсе не нужно никакого до времени. Дѣло покажѣсть не въ томъ,—дѣло въ томъ, что ты меня понимаешь, и я тебя понимаю, и что ни годы, ни мыканье по разнымъ направленіямъ, ни жизнь, положительно-мечтательная у тебя, метеорски-мечтательная у меня, не истребили душевнаго единства между нами. Радъ твоей *Маниловкѣ*, радъ твоимъ стихамъ, которые прилетаютъ ко мнѣ.

<sup>1)</sup> А. П. Милуковъ. „Литературныя встрѣчи и знакомства,“ а также А. Григорьевъ. „Одинокій критикъ.“ „Книжки Недѣли“ 1895 г. сент.

„Какъ май ароматный  
Въ дыханьи весны,  
Какъ гость благодатный  
Съ родной стороны“...

— Какъ гласить цыганская пѣсня; — и, пожалуйста, не вѣрь ты въ отношеніи къ своимъ стихамъ никому, кромѣ Боткина и меня, развѣ только подвергай ихъ иногда математическому анализу Эдельсона — это для ихъ здраваго смысла, и, кромѣ того, у него есть особенное *яркое* чутье, или чутье на *яркое*, но только на яркое, рѣдко на тонкое и музыкально — неудовимое. Вообще вѣрь только *критикамъ* въ этомъ дѣлѣ, а не поэтѣмъ, т. е. ни Тургеневу, ни Толстому, ни даже Островскому, по той простой причинѣ, что они всегда смотрятъ сквозь свою призму. Наилучшее доказательство — несчастное изданіе второе, Тургеневское. Толстой вглядывался въ его натуру сквозь его произведенія — поставилъ себѣ задачею даже съ нѣкоторымъ насиліемъ *имать* музыкально-неудовимое въ жизни, нравственномъ мірѣ, художествѣ. Въ этомъ пока его сила, въ этомъ его и слабость. Островскій шире всѣхъ, конечно, но съ нимъ другая бѣда: онъ часто *подкладываетъ* свое и готовъ предбросовѣстно восторгаться шумихой Мея. Стихи свѣжи, благоуханны и, по моему, даже *ясны*. «Радъ за Ивана Петровича. Но не разучился бы онъ понимать Венгерку, которую такъ *тяжело* и *хорошо* понималъ онъ, силою глубокаго и долгаго душевнаго страданія? А, впрочемъ, нѣтъ! Отъ долгаго *горя* есть всегда приличный осадокъ».

«Слушай, братъ, у меня къ тебѣ опять просьба и большая. Къ ней неизбѣжны два предисловія.

1) Ты знаешь или видишь достаточно, что жизнь моя вся искалѣчена, запутана, перепутана во всякомъ отношеніи. Выйти изъ этой путаницы даже и надежды мало. Знаю, что по возвратѣ пушусь издавать журналъ напропалую, т. е. съ глубокою вѣрою въ истинность своего литературнаго взгляда, съ глубочайшимъ невѣріемъ въ успѣхъ журнала. При этой адской запутанности дѣлъ, у меня отецъ, къ которому я страстно привязался въ послѣднія времена, и семья... ну что тутъ

разсказывать—самъ знаешь и видишь. «*Quisque Fortunae suae faber*» —и я смиренно склоняю голову подъ топоръ судьбы, не отдавая ей, впрочемъ, ничего изъ своего завѣтнаго. Отправляясь, я обрѣзалъ себѣ расходы, *здесь* обрѣзалъ себя еще больше до *пес plus ultra*, чтобы имъ доставалось по крайности столько, сколько бы доставалось въ моемъ присутствіи. Я оставилъ себѣ пять червонцевъ въ мѣсяцъ, и мнѣ положительно не на что ни одѣваться, ни учиться.

2) Въ это время написано мною много: кончена часть вещи «Къ друзьямъ издалека» и часть, носящая названіе «Море». Тутъ весь я, всѣ мои вопросы—философскіе, историческіе, литературные. Но прежде, чѣмъ отдать эту *дорогую* мнѣ книгу Дружинину, хотѣлъ бы отдѣлать ее до точности, до ясности, до извѣстной степени художества. Спаси меня теперь, или лучше спаси мою книгу и дай ей сказаться, какъ ей надо сказаться. Мнѣ на все это время, т. е. до іюня,—на платье, ученіе, галлерей и Парижъ—нужно восемьдесятъ червонцевъ. Прошу тебя именемъ нашей ничѣмъ нерушимой дружбы выслать мнѣ эту сумму черезъ здѣшнихъ банкировъ, на имя какого-либо Флорентійскаго, и главное сохранить глубочайшую *тайну*. Я самъ обязуюсь въ іюнѣ предоставить въ твое полное распоряженіе отдѣланную книгу (въ ней листовъ 10 печатныхъ), а въ случаѣ смерти—оставить записку, въ которой бумаги должны быть предоставлены въ твое распоряженіе... Милый мой, ты знаешь,—я не подлецъ, и, когда что сказалъ кому-либо изъ своихъ кровныхъ, то это будетъ такъ. Во всякомъ случаѣ: 1) объ этомъ ни слова ни пaterу, никому вообще, 2) присылай денегъ тотчасъ же по полученіи сего посланія, или тотчасъ же отвѣчай отрицательно, ибо тогда я отправлю свое чадо въ его грубомъ и необдѣланномъ видѣ къ Дружинину. Главное, пришли денегъ или отвѣчай отрицательно безъ проповѣдей, въ возможной скорости.

«Сей неблагоприятный наскокъ на твою дружбу дѣлается по двумъ причинамъ: 1) потому, что я въ тебя вѣрю и 2) потому, что хлѣбъ у меня есть, но я продаю его, что говорится, на корню».

«За симъ будь здоровъ, кланяйся женѣ, сестрѣ и ея мужу и пиши хорошіе стихи, чѣмъ много доставишь мнѣ удовольствія». Ап. Григорьевъ» <sup>1)</sup>).

Н. Н. Страховъ, дѣлая необходимыя разъясненія къ письмамъ критика, сообщаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ кое-что изъ личныхъ разсказовъ Аполлона Григорьева о важномъ влияніи, оказанномъ на него заграничнымъ путешествіемъ. «Два состоянія постоянно смѣняются въ его душѣ: одно, болѣе частое, — состояніе хандры, безумнѣйшей тоски, при которой особенно трудно достаются ему ночи; другое, болѣе рѣдкое, — восторженное состояніе, порывы лиризма, достигающіе необыкновенной силы. И очень хорошо знаетъ Григорьевъ, что за этимъ лиризмомъ, какъ неизбежное слѣдствіе, идетъ мучительная хандра. Но точно такъ же, какъ и въ послѣдніе свои дни, Григорьевъ говорилъ и тогда: «день мой и кончено». Замѣчательно его отношеніе къ искусствамъ. Понимая поэзію и музыку, онъ, по его собственнымъ словамъ, до поѣздки за границу не понималъ живописи. Органъ для этого пониманія у него открылся во Флоренціи передъ Мадонною Мурильо. Этотъ процессъ внезапнаго откровенія для цѣлой области искусства, или извѣстныхъ его сторонъ и красокъ, извѣстенъ всякому, кто достигъ хотя какого-нибудь пониманія въ искусствѣ. Но онъ не понятенъ и не знакомъ для людей, чуждыхъ искусству, которые и на это дѣло смотрятъ, какъ на другія дѣла, т. е. какъ на дѣло чисто-механическое, требующее только памяти, соображенія и прилежанія.

«Затѣмъ въ письмахъ выражалась и та постоянная, григорьевская страстность, которую онъ вносилъ въ поклоненіе художественнымъ произведеніямъ. Онъ чуть не плачетъ передъ картиною Мурильо; его бьетъ лихорадка, когда онъ слушаетъ Гугенотовъ. Такъ точно, какъ рассказывалъ онъ мнѣ, когда онъ былъ потомъ въ Парижѣ, его трепетъ и благоговѣніе передъ Венерою Милосской не имѣетъ границъ. Этотъ восторгъ былъ еще поддерживаемъ въ немъ тѣми взглядами, съ которыми онъ познакомился въ то время изъ философіи миеологии Шеллинга, своего любимаго философа.

<sup>1)</sup> А. Фетъ. Изъ моихъ воспоминаній. „Русскій Вѣстникъ“, 1889 г., № 11.



«Весьма любопытно то обстоятельство, что Григорьевъ, какъ онъ самъ мнѣ признавался, былъ совершенно равнодушенъ къ красотамъ природы, такъ что и пейзажная живопись для него не имѣла никакого значенія. Міръ человѣческій—вотъ гдѣ была его область. И въ самомъ дѣлѣ, по замѣчанію нѣкоторыхъ эстетиковъ, въ области красоты природа и душа человѣческая всего больше удалены другъ отъ друга, составляютъ какъ-бы два полюса этого міра. Кто, не оборачиваясь, смотритъ на одинъ полюсъ, тотъ можетъ не видѣть другого.

«Кто знакомъ съ сочиненіями Григорьева, тотъ легко замѣтитъ, что взгляды на искусство, сложившіеся у него за границую и отчасти высказываемые въ этихъ письмахъ, были часто имъ повторяемы и развиваемы. Нерѣдко онъ говорилъ, что вся послѣдняя полоса его дѣятельности—только результатъ тѣхъ уединенныхъ размышленій, которымъ онъ предавался во время житія въ Италіи» <sup>1)</sup>.

Въ «Краткомъ послужномъ спискѣ на память моимъ старымъ и новымъ друзьямъ», случайно найденномъ покойнымъ Николаемъ Николаевичемъ Страховымъ, по смерти критика въ своемъ портфелѣ, Григорьевъ въ одномъ пунктѣ замѣчаетъ, что за границей ничего не писалъ, а только думалъ.

Поѣздка въ Италію и Францію отозвалась благотворно на душевномъ настроеніи Ап. Григорьева и не только отрезвила его мысли, но и произвела въ его жизни переломъ. «Западная жизнь, говоритъ онъ, во очію развернулась передомною чудесами своего великаго прошедшаго, и вновь дразнить, поднимаетъ, увлекаетъ. Но не сломилась въ этомъ новомъ столкновеніи вѣра въ свое, народное. Смягчила она только фанатизмъ вѣры. Таковъ умственный и нравственный процессъ» <sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Новые письма А. А. Григорьева. „Эпоха“ 1865 г., февраль.

<sup>2)</sup> А. Григорьевъ. „Мои литературныя и нравственныя скитальчества“. „Время“ 1862 г., ноябрь.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Сочиненія А. Григорьева, напечатанныя въ отсутствіе его. — Статья „Критическій взглядъ на основы, значеніе и приемы современной критики искусства“: несостоятельность чисто-эстетической и исторической критики и отличіе ихъ отъ органической, принципы послѣдней; сущность искусства, роль критики задачи художника, вдохновеніе, гений и его признаки.

Осенью 1858 года Аполлонъ Григорьевъ вернулся въ Россію съ новыми широкими замыслами и съ сильнымъ порывомъ къ дѣятельности.

Въ отсутствіе его появились въ печати его стихотворенія «лучшей москвитяниновской эпохи жизни», помѣщенные въ «Сынѣ Отечества», издававшемся Старчевскимъ, и одна изъ принципиальныхъ статей «Критическій взглядъ на основы, значеніе и приемы современной критики искусства», посвященная А. Н. Майкову, въ «Библіотекѣ для чтенія» 1858 года (№ 1).

Въ своемъ «Краткомъ послужномъ спискѣ» Ап. Григорьевъ не безъ ироніи замѣчаетъ, что ему изготовили патентъ на оберъ-критика, но въ то же время далѣе выражаетъ свою радость, что мысли его «прежнія, москвитяниновскія — вообще всѣ какъ-то получили право гражданства».

Въ только что названной статьѣ излагаются основные принципы оцѣнки художественныхъ произведеній, которые представляютъ новый смѣлый шагъ въ исторіи русской критики. Зародыши оригинальныхъ воззрѣній автора «Критическаго взгляда на основы, значеніе и приемы современной критики искусства» таились въ ученіи «великаго мечтателя-поэта-философа историка-пророка Карлейля»; «послѣдній, какъ заявляетъ Аполлонъ Александровичъ, есть творецъ совершенно новой критики, той, которую называю я критикою органическою». Еще большее вліяніе на развитіе органической критики, которой у насъ впервые положилъ начало Григорьевъ,

оказалъ, безъ сомнѣнія, Шеллингъ; нѣкоторую роль въ выработкѣ ея играли и труды Эмерсона <sup>1)</sup> и Ренана.

Огромное достоинство статей Аполлона Григорьева «О правдѣ и искренности въ искусствѣ» и «Критическій взглядъ на основы, значеніе и приемы современной критики искусства» весьма обстоятельно выясняетъ А. Волинскій, который, нельзя не сознаться, относится вообще къ знаменитому критику и его образу жизни съ сильнымъ предубѣжденіемъ. «Въ двухъ статьяхъ, напечатанныхъ въ «Русской Бесѣдѣ» и «Библиотекѣ для чтенія», — говоритъ авторъ книги «Русскіе критики», — Аполлонъ Григорьевъ изложилъ свои основные взгляды на искусство и на задачу литературной критики. По силѣ теоретической мысли, смѣлости отдѣльныхъ опредѣленій, это — лучшія его работы и, можетъ быть, самое значительное изъ всего, что написано на эту общую тему въ русской журналистикѣ. Если бы не нѣкоторая темнота и тяжеловѣсность по существу талантливаго разсужденія, если бы не какая-то прирожденная склонность къ небрежности стиля и разбросанности изложенія, которая только моментами носитъ слѣды напряженныхъ и вдохновенныхъ умственныхъ настроеній, статьи эти могли бы выдержать сравненіе съ лучшими критическими изліяніями Бѣлинскаго. Несмотря на отсутствіе разсудочнаго анализа, эти широкія *думы* о художественномъ творествѣ и настоящей критической дѣятельности должны быть отнесены къ истинно-философскимъ работамъ.

«Тонкимъ чутьемъ поэта и призваннаго критика Аполлонъ Григорьевъ постигаетъ самые трудные вопросы эстетики и, обладая огромною литературною начитанностью, не говоря уже о всестороннемъ знаніи старыхъ и новыхъ отдѣловъ русской словесности, онъ умѣетъ передавать широкое броженіе своихъ артистическихъ ощущеній сопоставленіемъ яркихъ литературныхъ образовъ, живыми параллелями между умственными эпохами разныхъ народностей. Среди волнующагося тумана, ко-

---

<sup>1)</sup> Къ сожалѣнію, сочиненія этого выдающагося англійскаго мыслителя до сихъ поръ не появлялись въ русскомъ переводѣ.

торый стелется надъ его кипучими, но беспорядочными разсужденіями, вдругъ выступаютъ отдѣльные смѣлые и вѣрные афоризмы, скрѣпляющіе между собою разбросанныя тирады. Въ общемъ, статьи эти имѣютъ характеръ настоящаго критическаго канона, которому Аполлонъ Григорьевъ оставался вѣренъ до конца своей жизни. Его любовь къ литературѣ, его страстное поклоненіе свободному искусству отразились въ нихъ со всею оригинальностью его самобытной натуры. Но, появившись въ самомъ разгарѣ реалистическихъ увлеченій общества, черезъ короткое время по напечатаніи «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности», разсужденія Аполлона Григорьева не должны были имѣть никакого успѣха. Не примыкая ни съ какой стороны къ современному движенію въ области эстетики и даже косвенно полемизируя съ Чернышевскимъ о значеніи искусства, Аполлонъ Григорьевъ въ рѣзкихъ выраженіяхъ отстаиваетъ самостоятельную роль поэтическаго творчества въ умственномъ развитіи общества и независимое положеніе литературной критики, чуждой публицистической задачи, но глубоко связанной съ идеальными теченіями самой жизни». <sup>1)</sup>

Въ началѣ 50-хъ годовъ Аполлонъ Григорьевъ еще придерживался исторической критики, но въ настоящее время, хотя онъ отъ нея не отказывается совершенно, признаетъ необходимымъ построить ее на другомъ основаніи, такъ какъ она оказывается несостоятельной при объясненіи многихъ явленій въ области изящныхъ искусствъ, преимущественно словеснаго.

Годъ спустя онъ написалъ статью подъ заглавіемъ «Нѣсколько словъ о законахъ и терминахъ органической критикѣ», въ которой замѣчаетъ, что ему еще не удалось выразить законы органической критики, потому что они могутъ быть открыты только въ будущемъ, а покамѣстъ онъ имѣетъ въ виду лишь указать необходимость литературной оцѣнки, болѣе соответствующей дѣйствительнымъ запросамъ жизни. «Въ извѣстныя эпохи, къ которымъ, говоритъ онъ, въ особенности

---

<sup>1)</sup> Русскіе критики. Стр. 665—6.

принадлежитъ наша, выполненіе отрицательныхъ задачъ чрезвычайно легко, выполненіе положительныхъ очень трудно. Всякое требованіе, всякая, говоря философскимъ языкомъ, потенція или возможность, возникающая по завершеніи чисто-отрицательной работы, какъ логическій неотразимый выводъ,— сначала является только въ видѣ смутнаго очерка, который наполнить содержаніемъ предоставляется времени. Изъ того, что умерла для насъ критика чисто-эстетическая, т. е. взглядъ на искусство, какъ на нѣчто, отъ жизни отрѣшенное, какъ на особую, рѣзко-отграниченную область,—равно какъ изъ того, что несостоятельною оказалась и критика односторонне-историческая, т. е. взглядъ на искусство, какъ на нѣчто, жизни подчиненное, дагеротипно-безсмысленно отражающее жизнь во всемъ ея случайномъ и неслучайномъ,—логически вытекало требованіе иного рода критики. Логически же обозначалось и общее значеніе этой критики: взглядъ на искусство, какъ на синтетическое, цѣльное, непосредственное, пожалуй, интуитивное разумѣніе жизни, въ отличіе отъ знанія, т. е. разумѣнія аналитическаго, почастнаго, собирательнаго, повѣряемаго данными. Логически же вытекало изъ этого и значеніе самого искусства, какъ фокуса или сосредоточеннаго отраженія жизни въ томъ вѣчномъ, разумномъ и прекрасномъ, что таится подъ ея случайными явленіями» . . . . .

«Не я открылъ бытіе органической критики на степени требованія. Бытіе, какъ требованіе, носится всегда въ воздухѣ. Совершающій всякую отрицательную работу только открываетъ форточку этому воздуху,—стало-быть и заподозривать его въ претензіяхъ на открытіе—нечего. Открываютъ извѣстный міръ, показываютъ его только Колумбы,—но къ логическимъ выводамъ о его непремѣнномъ существованіи приводятся до Колумбовъ и такія личности, которыя далеко не Колумбы. Выводы ихъ—только гадательные, но они приводятъ Колумбовъ къ положительнымъ исканіямъ» <sup>1)</sup>).

Органическая критика рѣзко отличается и отъ чисто-эстетической и отъ исторической, имѣя съ послѣднею вслѣд-

<sup>1)</sup> Сочин. Апол. Григорьева. Т. I, стр. 333—4.

ствіе родства много общаго. Непригодность чисто-эстетической критики, господствовавшей въ полной силѣ только во французской литературѣ въ ложно-классическій періодъ ея, Ап. Григорьевъ объясняетъ тѣмъ, что, «во-первыхъ, эти разсужденія (о планѣ созданій, о соразмѣрности частей и т. п.) бесполезны и для художниковъ, которые—если только они художники истинные—сами рождаются съ чувствомъ красоты и мѣры, а если не истинные, то никакими толками не втолкуете имъ чувства красоты и мѣры, и, во-вторыхъ, эти разсужденія бесполезны и для массы, которой они нисколько не уясняютъ смысла художественныхъ произведеній и которую нисколько не приближаютъ къ ихъ пониманію, къ проникновенію ихъ содержанія и къ оживотворенію себя ихъ содержаніемъ (а въ этомъ, безъ всякаго сомнѣнія, заключается важнѣйшее назначеніе критики)» <sup>1)</sup>.

«Ясно, что критика перестала быть чисто-художественною, что съ произведеніями искусства связываются для нея общественные, психологическіе, историческіе интересы—однимъ словомъ, интересы самой жизни. Попытки удержаться въ предѣлахъ отрѣшенно-художественной критики остаются ни болѣе, ни менѣе, какъ попытками: немногіе изъ рѣшающихся на такія попытки сами не могутъ долго удержаться въ предѣлахъ чисто-техническихъ задачъ: или впадаютъ въ нравственное отношеніе къ искусству, или въ изслѣдованіе вопросовъ, касающихся уже не искусства, какъ техники, а опытной психологій, ищутъ, напримѣръ, разложить художественную способность на составныя части, опредѣлить, изъ какихъ потенцій души слагается наблюдательность или другія свойства, входящія въ представленіе о дарованіи, изслѣдуютъ вопросы, конечно, весьма важные, но важные въ отношеніи психологическомъ, а не въ художественномъ» <sup>2)</sup>.

Существенный недостатокъ исторической критики заключается въ ошибочности самого такъ называемаго историческаго воззрѣнія, на днѣ котораго, въ какія бы формы оно ни обле-

<sup>1)</sup> Соч. А. Григорьева. Т. I, стр. 200.

<sup>2)</sup> Тамъ же стр. 193—4.

калось, лежит совершенное равнодушіе, совершенное безразличіе нравственныхъ понятій; это воззрѣніе неразрывно связано съ мыслію о *безграничномъ, безначальномъ и безконечномъ* развитіи и о послѣдовательной смѣнѣ одной переходной формы другою безъ всякой точки опоры. «Выходя изъ принципа стремленія къ безконечному и полагая идеаль въ будущемъ, оно кончаетъ грубымъ матеріализмомъ; желая объяснить общественный организмъ, оно скрываетъ отъ себя и отъ другихъ въ непроницаемомъ туманѣ точку его начала—бытіе человечества, пока оно не развѣтвилось на народы; требуя специализма, уничтожаетъ безграничностью обобщенія вопросы возможность всякаго спеціальнаго изслѣдованія».

«Историческая критика по существу воззрѣнія не имѣетъ критериума и не вноситъ въ созерцаемое свѣта идеала,—а, съ другой стороны, по невозможности (обусловленной человеческою природою) жить безъ идеала и обходиться безъ критериума, создаетъ ихъ произвольно и прилагаетъ беспощадно. Все это происходитъ отъ того, что, вмѣсто дѣйствительной точки опоры—души человеческой, берется точка воображаемая, предполагается чѣмъ-то дѣйствительнымъ отвлеченный духъ человечества».

«Когда идеаль лежитъ въ душѣ человеческой, тогда онъ не требуетъ никакой ломки фактовъ: онъ ко всѣмъ равно приложимъ и всѣхъ равно судить» <sup>1)</sup>.

«Собственно говоря, словомъ: *историческая школа, историческое направленіе*, обозначается нѣчто другое; ни Савиньи, ни Тьерри, напримѣръ, не дѣляютъ историческаго воззрѣнія въ вышеозначенномъ смыслѣ, но имѣ, какъ и другимъ подобнымъ художественнымъ натурамъ, въ наукѣ должно быть приписано не историческое воззрѣніе, а *историческое чувство*.

«Для души всегда существуетъ единый идеаль, и душа развиваться не можетъ. Развивается, т. е. обогащается новыми точками зрѣнія и богатствомъ данныхъ,—мѣръ ея опыта, мѣръ ея знанія; но обогащеніе и расширеніе этого міра не

---

<sup>1)</sup> Тамъ же стр. 207.

подвигаетъ души къ правдѣ, красотѣ и любви, независимо отъ собственныхъ ея стремленій, тогда какъ, по историческому воззрѣнію, проведенному послѣдовательно, каждая новая минута прогресса должна быть новымъ, отъ стремленія души не зависящимъ, торжествомъ идеи, т. е. духа. Чувство, пока оно не перейдетъ въ слѣпое рабское пристрастіе, всегда справедливо, какъ указатель новыхъ сторонъ жизни.

«Всѣ явленія, какъ предварительныя и тревожно-смутныя, такъ и послѣдовательно-противоположныя и рѣзко опредѣленныя, суть обнаруженія новой силы, силы историческаго чувства» <sup>1)</sup>. Историческое же чувство есть «*сознаніе цѣльности души человеческой и единства ея идеала*, сознаніе, которымъ обусловлена вѣра въ органическое единство жизни, вѣра въ исторію» <sup>2)</sup>.

«Фраза: *относительная истина*—есть ни болѣе, ни менѣе, какъ фраза. Отсутствие прочнаго, безусловнаго идеала, отсутствіе убѣжденія,—вотъ въ чемъ заключается болѣзнь исторической критики, причина ея упадка, причина реакціи противъ нея критики отрѣшенно-художественной» <sup>3)</sup>.

«Какъ грани критики чисто-эстетической заключаются въ требованіи отъ критики поэтическаго пониманія и такта, такъ грани критики исторической опредѣляются историческимъ чувствомъ, т. е. критика должна глубоко понимать, что *живые* голоса жизни слышать она въ художественныхъ отзывахъ, что великія тайны міра души и народныхъ организмовъ открываются ей въ созданіяхъ искусства. Какимъ же образомъ жизнь сама можетъ быть принята за судебный критеріумъ надъ тѣмъ, что въ отношеніи къ ней есть откровеніе, овареніе всего въ ней случайнаго, фокусъ, въ который сводятся ея высшіе законы?

«Между тѣмъ, историческая критика пошла именно этимъ ложнымъ путемъ, т. е. приняла жизнь, какъ *явленіе*, за норму искусства, и правильный приѣмъ: видѣть въ искусствѣ вообще,

<sup>1)</sup> Тамъ же стр. 208—9.

<sup>2)</sup> Сочин. Ап. Григорьева. Т. I, стр. 225.

<sup>3)</sup> Тамъ же стр. 212.



въ искусствѣ словесномъ въ особенности, отраженіе жизни,— обратила весьма быстро въ пріемъ совершенно неправильный: видѣть въ искусствѣ рабское служеніе жизни... Искусство всегда опережаетъ ее (т. е. критику) всегда захватываетъ жизнь шире той минуты, на которой произвольно останавливается критика.

«Какъ *искусство*, такъ и *критика искусства* подчиняются одному критериуму. Одно есть отраженіе идеальнаго, другая— разъясненіе отраженія. Законы, которыми отраженіе разъясняется, извлекаются не изъ отраженія, всегда, какъ *явленіе*, болѣе или менѣе ограниченнаго, а изъ сущности самого идеальнаго. Между искусствомъ и критикою есть органическое родство въ сознаніи идеальнаго, и критика, поэтому, не можетъ и не должна быть слѣпо историческою, а должна быть, или, по крайней мѣрѣ, стремиться быть, столь же *органическою*, какъ само искусство, осмысливая анализомъ тѣ же органическія начала жизни, которымъ синтетически сообщаетъ плоть и кровь искусство» <sup>1)</sup>.

«Что художество въ отношеніи къ жизни, то критика въ отношеніи къ художеству: разъясненіе и толкованіе мысли, распространеніе свѣта и тепла, таящихся въ прекрасномъ созданіи. Естественно поэтому, что, связывая художественное произведеніе съ почвою, на которой оно родилось, рассматривая положительное или отрицательное отношеніе художника къ жизни, критика углубляется въ самый жизненный вопросъ. Критикъ (я разумѣю здѣсь настоящаго, призваннаго критика, а таковыхъ было немного) есть половина художника, можетъ быть, даже въ своемъ родѣ тоже художникъ, но у котораго судящая, анализирующая сила перевѣшиваетъ силу творящую. Вопросы жизни, ея тайныя стремленія, ея явныя болѣзни—близки впечатлительной организаціи критика такъ же, какъ творящей организаціи художника. Выразить свое созерцаніе въ полномъ и цѣльномъ художественномъ созданіи онъ не въ силахъ; но, обладая въ высшей степени отрицательнымъ

---

<sup>1)</sup> Сочин. А. Григорьева. Т. I, стр. 228—9.

сознаніемъ идеала, онъ чувствуетъ (не только знаетъ, что гораздо важнѣе), гдѣ что не такъ, гдѣ есть фальшь въ отношеніи къ міру души или къ жизненному вопросу, гдѣ не досоздалось или испорчено ложью воссозданіе живого отношенія» <sup>1)</sup>).

«Что касается до искусства, то оно всегда остается тѣмъ же, чѣмъ предназначено быть на землѣ, т. е. идеальнымъ отраженіемъ жизни, *положительнымъ*, когда въ жизни нѣтъ разединенія, *отрицательнымъ*, когда оно есть» <sup>2)</sup>).

«Мы перестали вѣрить, чтобы идеальное было нѣчто, отъ жизни отвлеченное. Мы знаемъ всѣ, какъ знаетъ даже Печоринъ, что идея есть явленіе органическое, что она носится въ воздухѣ, которымъ мы дышимъ, что она имѣетъ силу, крѣпкую, какъ обоюдоострый мечъ. Все идеальное есть не что иное, какъ ароматъ и цвѣтъ реальнаго. Но, разумѣется, не все реальное есть идеальное, и въ этомъ-то сущность различія воззрѣнія идеальнаго отъ панъеистическаго.

«Только то живо и дорого въ наукѣ, что есть плоть и кровь; только то вносится въ сокровищницу души нашей, что приняло художественный образъ; все другое есть необходимая, конечно, но черновая работа. Какъ скоро знаніе вырветъ до жизненной полноты, оно стремится принять литыя художественныя формы: есть возможность художественной красоты даже въ логическомъ развитіи отвлеченной мысли, когда въ самой мысли есть начало плоти и крови.

«Велико значеніе искусства. Оно одно, не устану повторять я, вносить въ міръ новое, органическое, нужное жизни. Для того, чтобы въ мысль повѣрили, нужно, чтобы мысль приняла тѣло; и, съ другой стороны, мысль не можетъ принять тѣла, если она не рождена, а сдѣлана искусственно» <sup>3)</sup>).

«Вдохновеніе есть, но какое?

«Художникъ прежде всего человѣкъ, т. е. существо изъ плоти и крови, потомокъ такихъ или другихъ предковъ, сынъ извѣстной эпохи, извѣстной страны, извѣстной мѣстности страны,

<sup>1)</sup> Тамъ же стр. 204.

<sup>2)</sup> Тамъ же стр. 201.

<sup>3)</sup> Сочин. Ап. Григорьева. Т. I, стр. 202.

конечно, наиболѣе даровитый изъ всѣхъ другихъ своихъ собратій, наиболѣе чуткій и отзывчивый на кровь, на мѣстность, на исторію,—однимъ словомъ, онъ принадлежитъ къ извѣстному типу, и самъ есть полнѣйшее или одно изъ полнѣйшихъ выраженій типа; да, кромѣ того, у него есть своя личная натура и своя личная жизнь; есть, наконецъ, сила, ему данная, или, лучше сказать, самъ онъ есть великая вожделѣнная сила, дѣйствующая по высшему закону. Въ тѣ минуты, когда по зову сего закона

Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,  
И звуковъ и сматенья полнъ,  
На берега пустынныхъ волнъ,  
Въ широкошумныя дубровы,

въ тѣ минуты, когда у него

Холодъ вдохновенья  
Власы подъемятъ на челѣ,

совершается съ нимъ дѣйствительно нѣчто таинственное. Но эти минуты, въ которыя, по слову одного изъ таковыхъ, не Богъ знаетъ какъ надѣленныхъ силами, но глубокихъ и искреннихъ, «растаять бы можно», въ которыя «легко умереть»,—подготовлены, можетъ быть, множествомъ наблюденій, раскрывавшихъ прозорливому наблюдателю смыслъ жизни, хотя никогда не преднамѣренныхъ, и душевныхъ страданій. Когда запасъ всего этого накопится до извѣстной нужной мѣры, тогда нѣкая молнія освѣщаетъ художнику его душевный міръ и его отношенія къ жизни, и начинается творчество. Оно и начинается и совершается въ состояніи, дѣйствительно близкомъ къ ясновидѣнію, но и въ это состояніе художникъ вносить всѣ Богомъ данныя ему средства: и свой общій типъ, и свою мѣстность, и свою эпоху, и свою личную жизнь; однимъ словомъ, и тутъ онъ творить не одинъ, и творчество его не есть только личное; хотя, съ другой стороны, и не безличное, не безъ участія его души совершающееся.

«Поэтому то и художество есть дѣло общее, жизненное,

народное, даже мѣстное. Какъ же мы отнесемся къ нему съ равнодушною техникой?—этого нельзя!»<sup>1)</sup>).

Ни произвольная теорія, ни исключительное отрицаніе не носятъ въ себѣ никакихъ задатковъ для развитія искусства: поэтому Аполлонъ Григорьевъ одинаково сильно вооружается и противъ отрицательной критики и противъ теоретиковъ, которые ставятъ прѣграды свободному творчеству.

«Разсматривая явленія литературы, мы можемъ убѣдиться, что произведенія, сочиненныя съ извѣстными отрицательными цѣлями, только свидѣтельствуютъ объ отпорѣ, но никакихъ цѣлей не достигаютъ; одно отрицаніе не создаетъ живого убѣжденія, безъ котораго творчество невозможно. Только живое, только рожденное, только принявшее плоть и кровь, живетъ и дѣйствуетъ. Только вѣрованіе, принципъ сердца, можетъ наполнить жизнь содержаніемъ. Вѣрованіе, предшественницей котораго бываетъ всегда реакція, обыкновенно растетъ незамѣтно, выходитъ наружу, тихо врѣтеть въ уединеніи, но самымъ первымъ своимъ появленіемъ уже оскорбляетъ и раздражаетъ какъ теорію, т. е. то, что жило и отжило, такъ и реакцію, т. е. то, что мечтаетъ жить на основаніи рѣзкой противоположности своей отжившему.

«Принципъ, вносимый въ жизнь вѣрованіемъ, есть сначала безсознательное, но крѣпкое и коренное чувство, а никогда не формула, ибо формула есть не что иное, какъ

звукъ и дымъ  
Вокругъ огня небесъ!

«Принципъ этотъ никогда не есть только отрицательный, потому что онъ данъ самую жизнь, какъ свободный продуктъ ея, а не какъ орудіе противъ отжившаго.

«Принципъ этотъ есть, однимъ словомъ, *новое слово* жизни и искусства, болѣе или менѣе обширное объемомъ, но всегда *рожденное*, а не искусственно сдѣланное, всегда *гениальное*, т. е. съ мировыми силами связанное»<sup>2)</sup>).

<sup>1)</sup> Сочин. Ап. Григорьева. Т. I, стр. 203—4.

<sup>2)</sup> Сочиненія Ап. Ал. Григорьева. Т. I, стр. 216—17.

Тутъ же авторъ «Критическаго взгляда на основы, значеніе и приемы современной критики искусства», останавливается на разсмотрѣніи основныхъ свойствъ генія: «Первый признакъ истинно-новаго или геніальнаго есть присутствіе въ немъ собственнаго, ему только принадлежащаго содержанія... У геніальныхъ натуръ созерцаніе, не разорванное, а цѣльное. Нося въ себѣ будущее, онѣ однако видятъ осязательно живую связь этого будущаго съ настоящимъ и прошедшимъ, знаютъ, что послѣдній шагъ прошедшаго ведетъ къ настоящему, что этого шага миновать нельзя, но нельзя на немъ и остановиться. Съ другой стороны, геніальная творческая сила есть всегда сила въ высшей степени сознательная. Геній есть нѣчто всестороннее; взглядъ геніальной силы дорогъ даже и тогда, когда не касается собственно ей принадлежащаго дѣла. Великая творческая сила есть сила сознательная, сила практическая, сила рождающая, потому что иначе она не могла бы внести во плоти въ міръ врученное ей новое слово жизни или искусства» <sup>1)</sup>.

Въ выписанныхъ выдержкахъ статьи «Критическій взглядъ на основы, значеніе и приемы современной критики искусства», расположенныхъ въ данномъ случаѣ въ измѣненномъ порядкѣ для большаго удобства ознакомленія съ отдѣльными воззрѣніями критика, Аполлонъ Григорьевъ, излагая основныя положенія органической критики въ противоположность отрѣшенно-художественной и исторической, касается многихъ побочныхъ вопросовъ эстетики, какъ напримѣръ: сущности искусства, роли истиннаго критика, личности художника, процесса поэтическаго творчества—вдохновенія, свойствъ артистической природы, генія и проч.

Означенная статья важна особенно въ томъ отношеніи, что доказанныя въ ней начала критики послужили исходными точками для послѣдующихъ этюдовъ автора, и въ ней высказаны такія основательныя требованія литературной опѣнки, которыя впослѣдствіи повторялись неоднократно какъ западно-

---

<sup>1)</sup> Сочиненія А. Григорьева. Т. I, стр. 217—18.

европейскими, такъ и русскими учеными и изслѣдователями принциповъ критики, задачъ искусства и психическихъ явленій художественнаго творчества. Только явное несочувствіе взглядамъ критика-самобытника на народную самостоятельность не только въ жизни, но и въ областяхъ знанія и литературы могло обвинять поборника истинно-русской органической критики въ безразличіе въ неопредѣленномъ, запутанномъ и вообще неудачномъ изложеніи его мнѣній. Нельзя не согласиться съ совершенно вѣрнымъ и прекраснымъ отзывомъ покойнаго московскаго молодого критика Отрока-Говорухи (Ю. Николаева), который въ слѣдующихъ словахъ оцѣниваетъ заслуги Аполлона Александровича: «Истинный начинатель нашей самостоятельной литературной критики есть А. Григорьевъ. Его критическое изслѣдованіе, дѣйствительно, есть «нѣкоторое философское разсужденіе»; разбирая художественныя произведенія, онъ, дѣйствительно, стремится постигнуть этотъ малый міръ — міръ души художника, въ которой отразился міръ Божій.

Григорьевъ предвосхитилъ идею исторической критики, которую, долго спустя послѣ него, высказалъ Тэнъ, но понималъ онъ смыслъ этой идеи гораздо глубже, нежели Тэнъ. Онъ понималъ, что эта идея, хотя вѣрная идея, но односторонняя, понималъ, что она лишь, какъ частность, входитъ въ общую идею «органической критики»; какъ онъ выражался; онъ понималъ, что идея исторической критики, не выразившаяся, какъ результатъ духа народнаго, — идея мертвая; онъ понималъ также, что міровоззрѣніе народное, которое одно создаетъ истиннаго художника, не провѣренное высшимъ идеаломъ — идеаломъ христіанскимъ, можетъ привести къ ложному отношенію къ жизни, а слѣдовательно и къ антихудожественному изображенію ея явленій. Вотъ почему онъ видѣлъ художественное мѣрило жизни въ *правдѣ народной, повѣренной правдою христіанскою*. Посмотрѣвъ съ этой точки на Пушкина, онъ объяснилъ смыслъ его творчества такъ, какъ не объяснялъ его никто, — и значеніе Пушкина въ нашей жизни стало ясно»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> „Московскія Вѣдомости“ 1895 года. Литературныя замѣтки Ю. Николаева.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Отношеніе прессы къ Аполлону Григорьеву по возвращеніи его изъ-за границы.—Этюды о русскихъ писателяхъ въ „Русскомъ Словѣ“ и А. Григорьевъ, какъ истолкователь Пушкина.—Объясненіе терминовъ органической критики.—Сотрудничество въ „Русскомъ Мірѣ“ и статья объ А. Н. Островскомъ.—Выходки противниковъ критика и размоловки его съ редакціями.—Мрачный взглядъ А. А. на свое положеніе въ литературѣ.—Неудачная поѣздка въ Москву для работъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ М. Н. Каткова.—Возвращеніе въ столицу, нужда и заключеніе въ Долгую въ 1860 г.—Статьи въ „Свѣточѣ“.—„Время“, направленіе почвенниковъ и живое участіе въ этомъ журналѣ Григорьева; неожиданное столкновеніе съ М. М. Достоевскимъ.

Возвратъ Аполлона Григорьева въ отечество вообще былъ, по его выраженію, «блистательный». «Результатомъ думы» его на чужбинѣ явились статьи въ «Русскомъ Словѣ» 1859 года.

Журнальный міръ встрѣтилъ критика довольно привѣтливо. Некрасовъ купилъ у него нѣсколько переводныхъ сочиненій: «Паризину» Байрона и «Сонъ въ лѣтнюю ночь» Шекспира; послѣднюю пьесу Григорьевъ переводилъ урывками на лѣтнихъ каникулахъ еще въ 1853 — 1856 годахъ и запродавъ вскорѣ ее Дружинину (за 450 руб.). За границею критикъ написалъ прекрасную поэму «Venezia la bella», которую посвятилъ дѣвицѣ Е. С. П—ой. Это произведеніе также было приобрѣтено у него Некрасовымъ и въ 1858 году помѣщено въ послѣдней книжкѣ «Современника». Оно передаетъ исторію души впечатлительнаго автора и въ яркихъ краскахъ воспроизводитъ каждый періодъ бурной жизни его со всѣми стадіями его умственного и нравственного развитія подъ разнообразными вліяніями эпохи.

Впрочемъ, расположеніе прессы къ нему оказалось весьма непродолжительнымъ. Послѣдующія статьи критика въ «Русскомъ Словѣ» вызвали «градъ насмѣшекъ» Добролюбова и взрывъ хохота въ «Искрѣ». Онъ по своему духу не соотвѣт-

ствовали господствовавшему въ обществѣ и въ публицистикѣ отрицательному направленію, котораго усердно старалась поддерживать большая часть редакцій. Разумѣется, Аполлонъ Григорьевъ, человекъ опредѣленныхъ, имъ самимъ выработанныхъ принциповъ, не могъ и не желалъ слѣдовать по теченію времени, такъ какъ вообще питалъ непримиримую вражду ко всему, что требовало потворства чьимъ-либо вкусамъ и не раздѣляемымъ имъ убѣжденіямъ.

Вначалѣ положеніе Аполлона Григорьева въ редакціи «Русскаго Слова» было довольно хорошо: онъ состоялъ редакторомъ журнала вмѣстѣ съ графомъ Гр. Кушелевымъ-Безбородко и Я. П. Полонскимъ.

Въ 1859 году онъ помѣстилъ въ этомъ органѣ свои лучшіе этюды о русскихъ писателяхъ. Въ статьяхъ «Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина» и «И. С. Тургеневъ и его дѣятельность по поводу романа «Дворянское гнѣздо» Аполлонъ Григорьевъ выяснилъ великое значеніе дѣятельности Пушкина, Грибоѣдова, Гоголя, Лермонтова и Тургенева.

Основная точка зрѣнія Григорьева, идея самобытности, открыла такіа существенныя стороны русскаго генія, которыя ускользнули изъ виду у предшествовавшихъ цѣнителей пушкинской поэзіи и послѣ которыхъ немного осталось обнаружить другимъ литературнымъ судьямъ, между которыми первое мѣсто принадлежитъ Ѳ. М. Достоевскому, если вспомнить его рѣчь 1880 года. Какія же черты разглядѣлъ въ величайшемъ изъ міровыхъ поэтовъ критикъ-самобытникъ? — «Лучшее, что было сказано о Пушкинѣ въ послѣднее время, утверждаетъ Аполлонъ Григорьевъ, — сказалось въ статьяхъ Дружинина, но и Дружининъ взглянулъ на Пушкина, только какъ на нашего эстетическаго воспитателя.

«А Пушкинъ—наше все: Пушкинъ—представитель всего нашего *душевнаго, особеннаго*, такого, что остается нашимъ *душевнымъ, особеннымъ* послѣ всѣхъ столкновеній съ чужимъ, съ другими мірами. Пушкинъ—пока единственный полный очеркъ нашей народной личности, самородокъ, принимавшій въ себя, при всевозможныхъ столкновеніяхъ съ другими особен-



ностями и организмами,—все то, что принять слѣдуетъ, отбрасывавшій все, что отбросить слѣдуетъ, полный и цѣльный, но еще не красками, а только контурами набросанный образъ народной нашей сущности,—образъ, который мы долго еще будемъ оттѣнять красками. Сфера душевныхъ сочувствій Пушкина не исключаетъ ничего, до него бывшаго, и ничего, что послѣ него было и будетъ правильнаго и органически-нашего. Сочувствія Ломоносовскія, Державинскія, Новиковскія, Карамзинскія, сочувствія старой русской жизни и стремленія новой,—все вошло въ его полную натуру, въ той стройной мѣрѣ, въ какой бытіе послѣ-потопное является сравнительно съ бытіемъ допотопнымъ, въ той мѣрѣ, которая опредѣляется русской душою. Когда мы говоримъ здѣсь о русской сущности, о русской душѣ,—мы разумѣемъ не сущность народную до—Петровскую, и не сущность послѣ—Петровскую, а органическую цѣлость: мы вѣримъ въ Русь, какова она есть, какою она оказалась или оказывается послѣ столкновений съ другими жизнями, съ другими народными организмами, послѣ того, какъ она, воспринимая въ себя различные элементы,—одни брала и беретъ, какъ родственные, другіе—отрицала и отрицаетъ, какъ чуждые и враждебные... Пушкинъ-то и есть наша такая, на первый разъ очеркомъ, но полно и цѣльно, обозначившаяся душевная фizioномія, фizioномія, выдѣлившаяся, вырѣзавшаяся уже ясно изъ круга другихъ народныхъ *типовыхъ* фizioномій,—обособившаяся сознательно, именно вслѣдствіе того, что уже вступила въ кругъ ихъ. Это нашъ само-бытный типъ, уже мѣрившійся съ другими европейскими типами, проходившій сознаниемъ тѣ фазисы развитія, которые они проходили, но боровшійся съ ними сознаниемъ, но вынесшій изъ этого процесса свою фizioлогическую, типовую самостоятельность.

«Показать, какъ изъ всякаго броженія выходило въ Пушкинѣ цѣльнымъ это *типовое*, было бы задачей труда огромнаго. Въ великой натурѣ Пушкина, ничего не исключаящей: ни тревожно-романтическаго начала, ни юмора здраваго разсудка, ни страстности, ни сѣверной рефлексіи,—въ натурѣ,

на все отозвавшейся, но отозвавшейся въ мѣру русской души — заключается оправданіе и примиреніе для всѣхъ нашихъ теперешнихъ, повидимому, столь враждебно раздвоившихся сочувствій».

«Вообще же, не только въ мѣрѣ художественныхъ, но и въ мѣрѣ всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ нашихъ сочувствій— Пушкинъ есть первый и полный представитель нашей фیزیономіи. Гоголь явился только мѣркою нашихъ антипатій и живымъ органомъ ихъ законности, поэтомъ чисто-отрицательнымъ; симпатій же нашихъ кровныхъ, племенныхъ, жизненныхъ онъ олицетворить не могъ, во-первыхъ, какъ малороссъ, а во-вторыхъ, какъ уединенный и болѣзненный аскетъ» <sup>1)</sup>.

Въ одной библиографической замѣткѣ по поводу выхода въ свѣтъ новымъ изданіемъ извѣстной книги покойнаго Н. Н. Страхова: «Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ» въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» въ 1897 году встрѣчаются слѣдующія цѣнныя слова объ Ап. Григорьевѣ, какъ толкователѣ Пушкина, принадлежація перу Сергѣя Крылова: «Лучшимъ толкователемъ Пушкина является у насъ Аполлонъ Григорьевъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ то время, какъ Бѣлинскій развивалъ только мысль, высказанную самимъ Пушкинымъ, и не сказалъ болѣе того, что его поэзія есть эхо,—въ то время, какъ послѣдователи Бѣлинскаго вмѣсто того, чтобы изучать и толковать Пушкина, вступали съ нимъ въ полемику,—Аполлонъ Григорьевъ, на основаніи изученія произведеній великаго поэта, впервые ясно и точно опредѣлилъ его значеніе, указавъ въ его поэзіи побѣду надъ чужими типами, пробужденіе русскаго идеала.

«Аполлонъ Григорьевъ выяснилъ самую сущность дѣятельности Пушкина, внутреннюю сторону его поэтической дѣятельности. Н. Н. Страховъ останавливается главнымъ образомъ на внѣшнихъ его пріемахъ: на языкѣ, стихѣ, тонѣ и формѣ его произведеній, отмѣчая только одну черту внутренняго міра Пушкина, не отмѣченную Аполлономъ Григорьевымъ,

---

<sup>1)</sup> Сочиненія Ап. Григорьева. Т. I, стр. 238—40.

именно тѣ проблемски страданія, какъ они отразились въ его поэзіи подѣ вліяніемъ «суда глупцовъ» и «смѣха толпы холодной».

«Наша новая литература, говоритъ Н. Н. Страховъ, возникла подѣ вліяніемъ чужихъ литературъ и развивалась подѣ ихъ непрерывнымъ воздѣйствіемъ. Самостоятельною, и слѣдовательно народною, она стала только въ Пушкинѣ, который поэтому и составляетъ величайшую задачу для русской критики. Объясненіе значенія Пушкина есть та центральная точка, съ которой Ап. Григорьевъ смотрѣлъ на развитіе нашей литературы. Онъ показалъ, какъ пробудилось въ поэтѣ *наше типовое, народное*».

Ап. Григорьевъ, признавая, что въ Пушкинѣ впервые русскій народный духъ со всѣми его мощными стихіями нашелъ свое полное воплощеніе, при всемъ сочувствіи ко многимъ выведеннымъ гениальнымъ поэтомъ и его послѣдователями типамъ, отдаетъ значительное предпочтеніе передъ ними Ивану Петровичу Бѣлкину, который, по его глубокому убѣжденію, представляетъ собою олицетвореніе смиренія, національно-христіанской кротости. Критикъ различаетъ въ отечественной литературѣ и жизни два рода людей: одни являются натурами безпокойными, мятежными, постоянно борющимися съ своей душевной двойственностью и разладомъ, въ которыхъ не могутъ примириться иноземныя вліянія (напримѣръ: романтизмъ, байронизмъ и т. п.) съ коренными свойствами народнаго характера; другіе оказываются типами, чуждыми всего наноснаго, выразителями здраваго смысла, простосердечія, правдивости и тихости нрава своей народности, однимъ словомъ, самобытными. «Простѣйшую форму первыхъ типовъ, замѣчаетъ Н. Н. Страховъ, критикъ назвалъ *хищнымъ типомъ*, образуящимъ какъ бы прямую противоположность смирному типу, который есть какъ бы элементарная форма нашего народнаго типа. Душевный процессъ, породившій Бѣлкина, повторяется въ послѣ-пушкинской литературѣ, и происходитъ какъ бы борьба между двумя типами, хищнымъ и смирнымъ. Нельзя не изумляться чуткости, съ которой Ап. Григорьевъ уста-

новилъ понятіе объ этой борьбѣ и слѣдилъ за ея развитіемъ» <sup>1)</sup>).

Въ своемъ этюдѣ «Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина» критикъ-самобытникъ о типѣ Бѣлкина говорить приблизительно такъ:

«И всѣ истинныя, правдивыя стремленія современной нашей литературы находятся въ духовномъ родствѣ съ Пушкинскими стремленіями, отъ нихъ по прямой линіи ведутъ свое начало. Въ Пушкинѣ надолго, если не навсегда, завершился, обрисовавшись широкимъ очеркомъ, весь нашъ душевный процессъ... Этотъ процессъ со всѣми нами въ отдѣльности и съ нашею общественною жизнію совершался и понынѣ совершается. Кто не видитъ могучихъ произрастаній типового, коренного, народнаго, того природа обдѣлила зрѣніемъ и вообще чутъемъ» <sup>2)</sup>).

«Всѣ простыя, не преувеличенныя юмористически и не идеализированныя трагически, отношенія литературы къ окружающей дѣйствительности и къ русскому быту — по прямой линіи ведутъ свое начало отъ взгляда на жизнь Ивана Петровича Бѣлкина. Типъ Ивана Петровича Бѣлкина былъ почти любимымъ типомъ поэта въ послѣднюю эпоху его дѣятельности» <sup>3)</sup>).

«Когда поэтъ въ эпоху зрѣлости самосознанія привелъ для самого себя въ очевидность всѣ эти, повидимому, совершенно противоположныя явленія, совершавшіяся въ его собственной натурѣ,—то, прежде всего, правдивый и искренній, онъ умалилъ себя, когда-то Гирея, Плѣнника, Алеко, до образа Ивана Петровича Бѣлкина» <sup>4)</sup>...

«Бѣлкинъ Пушкинскій есть простой здравый толкъ и здравое чувство, кроткое и смиренное,—вопіющее законно противъ злоупотребленія нами нашей широкой способности понимать и чувствовать; стало быть, начало только отрицательное,—пра-

<sup>1)</sup> Сочин. А. Григорьева. Т. I. Предисловіе.

<sup>2)</sup> Сочин. А. Григорьева. Т. I. Стр. 246.

<sup>3)</sup> Тамъ же. Стр. 248.

<sup>4)</sup> Тамъ же. Стр. 251—2.

вое только, какъ отрицательное; ибо, предоставьте его самому себѣ—оно перейдетъ въ застой, мертвящую лѣнь, въ хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова.

«Въ этомъ типѣ узаконивалась, и притомъ только на время, только отрицательно, критически, чисто типовая сторона. Въ существованіе Бѣлкина пошелъ только критическій отсадокъ борьбы, а отнюдь не вся личность поэта, — ибо Пушкинъ вовсе не думалъ отрекаться отъ прежнихъ своихъ сочувствій, или считать ихъ противузаконными, — какъ это готовы дѣлать иногда мы. Бѣлкинъ для Пушкина вовсе не герой его, а просто критическая сторона души; ибо иначе, откуда взялась бы въ душѣ поэта другая сторона ея, сторона широкихъ и пламенныхъ сочувствій? <sup>1)</sup>».

«Всѣ наши жилы бились въ натурѣ Пушкина, и въ настоящую минуту литература наша развиваетъ только его задачи, въ особенности же типъ и взглядъ Бѣлкина. Бѣлкинъ, который писалъ въ «Капитанской дочкѣ» хронику семейства Гриневыхъ, написалъ и «хронику семейства Багровыхъ»; Бѣлкинъ — и у Тургенева и у Писемскаго; Бѣлкинъ отчасти и у Толстого, — ибо Бѣлкинъ Пушкинскій былъ первымъ выраженіемъ критической стороны нашей души, очнувшейся отъ сна, въ которомъ грезились ей различные міры» <sup>2)</sup>».

Н. Н. Страховъ заявляетъ, что всѣ отзывы Ап. Григорьева о писателяхъ соединялись въ одинъ взглядъ или, лучше, всѣ вытекали изъ *одного* взгляда, единственнаго у насъ *общаго* взгляда на развитіе нашей литературы. «Въ крупныхъ чертахъ взглядъ этотъ будетъ такой. Въ Пушкинѣ обозначились и объемъ и мѣра нашихъ симпатій. Всѣ послѣдующія явленія представляютъ развитіе тѣхъ элементовъ, которые сказались въ Пушкинѣ. Происходятъ различныя колебанія въ борьбѣ между *своимъ* и *чужимъ*, между *смирнымъ* и *хищнымъ* типомъ, между отрицательнымъ и прямымъ отношеніемъ къ дѣйствительности, и всѣ эти колебанія совершаются около точекъ,

---

<sup>1)</sup> Тамъ же. Стр. 252.

<sup>2)</sup> Тамъ же. Стр. 254.

уже опредѣлившихся въ Пушкинѣ. Онъ одинъ есть полный образъ русской души, но лишь въ очеркѣ, безъ красокъ, которыя лишь потомъ являются въ предѣлахъ его очертаній; въ немъ проявилось наше типовое, народное, и съ тѣхъ поръ растеть и выясняется».

«Г. Страховъ, по мнѣнію Василя Маркова, вообще вѣрно передаетъ точку зрѣнія Ап. Григорьева на центральное значеніе Пушкина въ нашей литературѣ, но онъ въ своемъ сжатомъ анализѣ слишкомъ рѣзко отгнѣяетъ пристрастіе Ап. Григорьева къ смирному типу Бѣлкина, тогда какъ этотъ критикъ, симпатизируя извѣстнымъ чертамъ смирнаго типа, въ то же время никакъ не хотѣлъ приносить ему въ жертву противоположнаго—романтически-тревожнаго, дѣятельнаго типа. Онъ старался тутъ соблюсти равновѣсіе и не впасть въ односторонность, которая во всемъ была антипатична его натурѣ. Пусть, какъ выражается г. Страховъ, «главную заслугу Ап. Григорьева составляетъ открытіе значенія Бѣлкина въ творчествѣ Пушкина», но все-таки Григорьевъ не думалъ безусловно поклоняться Бѣлкину, какъ очевидно, желаетъ ему поклоняться самъ г. Страховъ. Объ однородныхъ съ Бѣлкинымъ смирныхъ типахъ Григорьевъ говоритъ: «Не только мы были бы народъ, весьма щедро одаренный природою, если бъ мы видѣли свои идеалы въ однихъ смирныхъ типахъ,—будь это Максимъ Максимычъ, или капитанъ Хлоповъ, даже и смирные типы Островскаго; но пережитые нами съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ типы—чужіе намъ только отчасти, только, можетъ быть, по своимъ формамъ и по своему, такъ сказать, лоску. Пережиты они нами потому собственно, что къ воспріятію ихъ наша природа столь же способна, какъ и всякая европейская. Не говоря уже о томъ, что у насъ въ исторіи были хищные типы, самые въ чуждой жизни сложившіеся типы не чужды намъ, и у нашихъ поэтовъ облекались въ своеобразныя формы» <sup>1)</sup>).

---

<sup>1)</sup> Вас. Марковъ. На-встрѣчу. Очерки и стихотворенія. Спб. 1878 г. стр. 285—6.

Извѣстный изслѣдователь критическихъ мнѣній о Пушкинѣ С. С. Трубачевъ находитъ, что критикъ-самобытникъ, указавъ народность типовъ, созданныхъ поэтомъ, не выяснилъ, «въ чемъ же состояли чистыя народныя стихіи Пушкинской натуры, каковы вообще наши «коренные нравственные идеалы», каковы религіозныя основы народной нравственности. Ап. Григорьевъ говорилъ, продолжаетъ онъ, что съ Пушкина начинаются «дѣйствительныя, заправскія, самостоятельныя отношенія литературы къ жизни», что Пушкинъ былъ «единственный всесторонній представитель нашей народной фizioноміи» не только въ мірѣ художественныхъ, но и всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ сочувствій. Взглядъ глубоко-проницательный и глубоко-вѣрный. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нужно сознаться, что доказать народность Пушкина и его великаго нравственнаго значенія Ап. Григорьевъ не успѣлъ.....

«Повторяемъ, если бы критикъ разобралъ съ своей точки зрѣнія поэтическую дѣятельность Пушкина,—русская литература имѣла бы капитальнѣйшій трудъ о великомъ русскомъ поэтѣ. Теперь же мы встрѣчаемъ у даровитаго критика только общіе взгляды на Пушкина, среди которыхъ случайно затерялись двѣ-три странички мѣткаго анализа отношеній Пушкинской поэзіи къ любви и къ женщинѣ»...

«Взгляды на Пушкина Ап. Григорьева нашли себѣ даровитыхъ послѣдователей особенно среди нашихъ ученыхъ и, вѣроятно, еще найдутъ, ибо они кажутся намъ въ высшей степени глубокими, оригинальными и мѣткими. Будущій изслѣдователь народности Пушкина, общественнаго и нравственнаго значенія великаго поэта всегда обратится къ взглядамъ Ап. Григорьева такъ же, какъ при художественной опцѣнкѣ непременно коснется его лучшаго художественнаго критика—Вѣлинскаго» <sup>1)</sup>).

Въ четырехъ очеркахъ, посвященныхъ разбору сочиненій И. С. Тургенева, Ап. Григорьевъ подробно разсматриваетъ развитіе всей писательской дѣятельности автора романовъ

---

<sup>1)</sup> С. С. Трубачевъ. Пушкинъ въ русской критикѣ. Спб. 1889 г. Стр. 389—90.

«Рудинъ» и «Дворянское гнѣздо», сопоставляя героевъ его съ типами Гончарова, Островскаго и Л. Н. Толстого, но главная задача критика заключается въ оцѣнкѣ выдающихся достоинствъ второго изъ названныхъ произведений. Его вниманіе сосредоточено въ послѣднемъ особенно на личности Лаврецкаго; онъ причисляетъ его къ чисто-русскимъ типамъ, причемъ раскрываетъ тѣ черты его, которыя дѣлаютъ его нашимъ общимъ представителемъ, указываетъ «на его жизненную сторону, на его глубокую фیزیологическую связь съ почвою, съ преданіями, съ жизнію родной стороны» <sup>1)</sup>. Ниже слѣдующая выдержка довольно ясно передаетъ общій взглядъ А. Григорьева на произведенія Тургенева, въ которыхъ онъ усматриваетъ новое явленіе литературы, хотя и находящееся въ тѣсной связи съ поэзіей Пушкина. «Наше время есть время всеобщихъ исповѣдей, и такую искреннюю, полную исповѣдь болѣе всего представляютъ произведенія Тургенева вообще и «Дворянское гнѣздо» въ особенности.

«Для того, чтобы понять послѣдніе результаты этой искренней исповѣди въ «Дворянскомъ гнѣздѣ», нужно было прослѣдить всю борьбу, высказывающуюся въ произведеніяхъ Тургенева. Только зная эту борьбу, можно понять все значеніе стиховъ, которые онъ влагаетъ въ уста Михалевичу и весь смыслъ того смиренія передъ народною правдою, которое проповѣдуетъ Лаврецкій въ разговорѣ съ Паншинымъ.

«Изъ этого не слѣдуетъ заключать однако, чтобы Тургеневъ отъ одной теоріи перешелъ къ другой. Славянофильство съ восторгомъ привѣтствовало нѣкоторыя его произведенія, особенно «Хоря и Калиныча», «Муму»; но поэтъ способенъ столько же мало поддаться и этому возврѣнію, поколику оно только—возврѣніе, какъ и другому, противоположному. Въ немъ повторился только бѣлкинскій процессъ пушкинской натуры, съ расширенными, сообразно требованіямъ эпохи, требованіями. И, какъ Пушкинъ, уходя въ свое отрицательное я, въ жизненные взгляды своего Ивана Петровича Бѣлкина, однако, не

<sup>1)</sup> Соч. А. Григорьевъ. Т. I, стр. 44.



отрекался, какъ «отъ сатаны и всѣхъ дѣлъ его», отъ прежнихъ идеаловъ, отъ *силъ* своей природы, извѣдавшихъ уже *добрая* и *злая*, а только давалъ права и почвъ наравнѣ съ силами,—такъ, съ меньшимъ самообладаніемъ, Тургеневъ кончилъ анализъ натуры Рудина апотеозою его личности, дѣйствительно-поэтической и грандіозной. Чувство поэта ставитъ его въ разрѣзъ со всякою теоріею—и оно-то сообщаетъ его произведеніямъ такую неотравимую, обаятельную силу, не смотря на ихъ постоянную недодѣланность.

«Лаврецкій, даже такъ, какъ онъ является въ видимо-недодѣланномъ «Дворянскомъ гнѣздѣ»,—представитель (хотя никакъ непредназначенный) сознанія нашей эпохи. Лаврецкій—уже не Рудинъ, отрѣшенный отъ всякой почвы, отъ всякой дѣйствительности,—но, съ другой стороны, уже и не Бѣлкинъ, стоящій съ дѣйствительностью въ уровень. Лаврецкій—живой человекъ, связанный съ жизнью, почвою, преданіями, но прошедшій бездны сомнѣнія, внутреннихъ страданій, совершившій нѣсколько моральныхъ скачковъ. Отсюда выходитъ весь его душевный процессъ, вся драма его отношеній.

«Онъ представитель *нашей* эпохи, эпохи самой близкой къ намъ—и, какъ такового, его надобно было отдѣлить, отгнать отъ представителей эпохъ предшествовавшихъ. Средство для такого отдѣленія Тургеневъ избралъ самое естественное—его родословную, образы его дѣда и отца» <sup>1)</sup>

Въ видѣ прибавленія къ первой статьѣ обширныхъ этюдовъ объ И. С. Тургеневѣ Аполлонъ Григорьевъ въ майской книжкѣ «Русскаго Слова» за 1859 годъ напечаталъ критическую замѣтку «Нѣсколько словъ о законахъ и терминахъ органической критики». Какъ онъ самъ заявляетъ, его предыдущія статьи и въ особенности въ первомъ номерѣ «Библиотеки для чтенія» за 1858 годъ вызвали въ «Свистѣ», издававшемся при «Современникѣ», весьма остроумныя и забавныя насмѣшки надъ многими словами, которыми критикъ пытался точнѣе опредѣлить тѣ или другія литературныя явленія.

---

<sup>1)</sup> Соч. А. Григорьева. Т. I, стр. 431—2.

Названная замѣтка представляетъ пояснительную статью къ «Критическому взгляду на основы, значеніе и приемы современной критики искусства», гдѣ авторъ изложилъ главнѣйшіе принципы органической критики.

Въ настоящей статьѣ сущность и значеніе послѣдней раскрываются въ деталяхъ, и новое слово, сказанное Григорьевымъ становится для общества болѣе доступнымъ, болѣе понятнымъ. «Что жъ новаго сказалъ Григорьевъ, какъ критикъ?»—спрашиваетъ Д. В. Аверкиевъ и вкратцѣ передаетъ основныя положенія новой критики. «Новость, по его словамъ, была во взглядѣ на искусство, какъ на органическое и уже по тому одному совершенно законное произведеніе народной жизни, какъ на одно изъ главнѣйшихъ и необходимѣйшихъ выраженій этой жизни. Ясно, что при такомъ основномъ взглядѣ нельзя было ограничиться повтореніемъ задовъ, или приложеніемъ какой бы то ни было эстетической теоріи къ произведеніямъ русской поэзіи. Тутъ мало было изученія народной поэзіи, мало было изученія литературы,—тутъ нужно было особое чутье, конгеніальность. Надо было живьемъ прочувствовать, полюбить всею душою и всѣмъ сердцемъ, постигнуть не букву, а самую суть дѣла. Взглядъ Григорьева былъ противоположенъ и взгляду Бѣлинскаго послѣднихъ годовъ, т. е. полезнаго искусства, такъ сказать, нравоучительнаго, и дилетантическому (или гастрономическому, какъ онъ называлъ его) взгляду искусства для искусства. Свою критику онъ называлъ «органической» критикой, т. е. такой, которая рассматриваетъ искусство, какъ органическое произведеніе народной жизни; даннаго художника, какъ болѣе или менѣе сильнаго и полнаго выразителя этой жизни, и данное художественное произведеніе, какъ органическое произведеніе внутренняго міра самого художника, живущаго въ связи съ народною жизнью, не навѣянное ему извнѣ, не сочиненное однимъ головнымъ процессомъ, а созданное почти такъ же безсознательно, какъ творить сама мать-природа. Этотъ взглядъ не примѣрялъ, въ обыкновенномъ смыслѣ, двухъ вышеназванныхъ теорій; онъ не старался согласовать ихъ; онъ обнималъ большій горизонтъ,

онъ смотрѣлъ на дѣло жизненнѣе, свободнѣе, шире и правдивѣе обоихъ предыдущихъ взглядовъ. Разсудочныя доказательства теорій оказались несостоятельными передъ разумностію этого взгляда. Этотъ взглядъ силенъ тѣмъ, что онъ шелъ строго-научнымъ путемъ, путемъ новой науки, основателемъ которой былъ Шеллингъ. Аполлонъ Григорьевъ положилъ основанія научной критики. Итакъ, органическая критика смотреть на художественныя произведенія, какъ на организмы, какъ на произведенія извѣстной народной почвы. Ясно, что она будетъ старательно отличать всѣ произведенія наносныя, не имѣющія никакого отношенія къ народной жизни. Эти наносныя произведенія то же на народномъ организмѣ, что пыль на листѣ дерева: они смываются первымъ дождемъ и о нихъ нѣтъ больше помину. Народный организмъ можетъ быть въ ненормальномъ состояніи, какъ всякій другой, и давать болѣзненный плодъ. Внѣшнія вліянія могутъ его изъязвить, но не могутъ измѣнить его сущности; она измѣняется или, вѣрнѣе, раскрывается по своимъ собственнымъ законамъ.

«Одинаковость метода органической критики и естественныхъ органическихъ наукъ повела неминуемо къ одинаковости терминовъ.

«Григорьевъ плохо зналъ естественныя науки и тѣмъ удивительнѣе его способность удачно примѣнять ихъ термины. Положительно нѣтъ ни одного неудачнаго, и это объясняется единствомъ исхода отъ Шеллинговой философіи.

«Напримѣръ, что можетъ быть удачнѣе названія *растительная поэзія*, по примѣненію къ поэзіи народной. Какъ лучше выразить эту непосредственную нераздѣльность отъ почвы, эту распространяемость мотивовъ, эти варьяціи ихъ по мѣстностямъ, напр., переходъ мажорнаго нагѣва срединныхъ губерній въ минорный степовыхъ, совершенно аналогичныя съ разнообразіями и распредѣленіемъ видовъ растеній; наконецъ, этотъ извѣстный фазисъ народной жизни, когда поэтическія народныя силы творятъ таинственно—совокупно, не высывая отдѣльныхъ личностей—поэтовъ» <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г., августъ.

Болѣе всего смѣялись въ «Свистѣ» надъ терминомъ *допотопный талантъ*, такъ ловко обращеннымъ этимъ журналомъ въ бытіе Лажечникова до потопа. «Терминомъ «допотопный талантъ», «талантъ допотопной формаціи», какъ и множествомъ другихъ терминовъ—часто дѣйствительно неудачныхъ, но принимаемыхъ мною, какъ первыя хватки, за недостатокомъ лучшихъ и за несостоятельностью (въ отношеніи къ моей мысли) старыхъ, — я, говоритъ Григорьевъ, —ничего не искалъ и не ищу, какъ указать на тождество законовъ органическаго творчества въ параллельныхъ явленіяхъ міра психическаго (духовнаго) и соматическаго (матеріальнаго)<sup>1)</sup>. Слово «допотопный талантъ» употребляется Григорьевымъ въ смыслѣ несовершенный талантъ. Равнымъ образомъ разъясняетъ критикъ и другіе свои термины, какъ-то: типическій и типовой, вѣяніе, цвѣтная истина и прочіе.

Изъ другихъ статей въ «Русскомъ Словѣ» заслуживаетъ вниманія рецензія Григорьева «Взглядъ на «Исторію Россіи», соч. С. Соловьева». Слѣдуетъ также упомянуть о его поэмѣ «Отрывокъ изъ книги: Одиссея о послѣднемъ романтикѣ».

«Въ іюлѣ 1859 года въ отъѣздъ графа Куселева, пишетъ авторъ «Краткаго послужнаго списка», — я не позволилъ г. Хмѣльницкому вымарать въ моихъ статьяхъ дорогія мнѣ имена Хомякова, Кирѣевскаго, Аксакова, Погодина, Шевырева. Я былъ уволень отъ критики».

Журналъ «Русское Слово» съ этихъ поръ становится противникомъ дальнѣйшихъ критическихъ работъ своего бывшаго редактора.

Вообще во врагахъ у Григорьева недостатка не было. Чѣмъ болѣе печать въ своихъ сужденіяхъ объ искусствѣ и литературѣ принимаема публицистическій характеръ; чѣмъ болѣе удобную для своего развитія почву получало отрицательное направленіе по смерти Бѣлинскаго въ лицѣ вновь выступившихъ на литературное поприще Добролюбова и Чернышевскаго, тѣмъ сильнѣе разгоралась борьба съ воззрѣніями провозвѣстника органической критики. Въ числѣ наиболѣе ярыхъ

<sup>1)</sup> Сочиненія А. Григорьева. Т. I, стр. 336.

противниковъ Григорьева былъ сильный по своему вліянію на общество «Современникъ».

Однако вѣра въ искусство и высокое назначеніе поэзіи въ критикѣ-самобытникѣ не ослабѣвала; онъ неуклонно развивалъ собственныя идеи и представителей петербургскихъ и московскихъ періодическихъ изданій называлъ дилетантами и теоретиками. Въ одной изъ слѣдующихъ своихъ статей онъ такъ опредѣляетъ характеръ современныхъ публицистовъ. «Съ теоретиками можно спорить; съ дилетантами нельзя, да и не надобно. Теоретики рѣжутъ жизнь для своихъ идоло-жертвенныхъ требъ, но это имъ, можетъ быть, многого стоитъ. Дилетанты тѣшатъ только плоть свою, и какъ имъ въ сущности ни до кого и ни до чего нѣтъ дѣла, такъ и до нихъ тоже никому не можетъ быть въ сущности никакого дѣла. Жизнь требуетъ порѣшеній своихъ жгучихъ вопросовъ, кричитъ разными своими голосами, голосами почвъ, мѣстностей, народностей, настроеній нравственныхъ, въ созданіяхъ искусствъ, а они себѣ тянутъ вѣчную пѣсенку про бѣлаго бычка, про искусство для искусства, и принимаютъ невинность чадъ мысли и фантазіи въ смыслѣ какого-то безплодія. Они готовы закидать грязью Занда за неприличную тревожность ея созданій, и манерою фламандской школы оправдывать пустоту и низменность чиновническаго взгляда на жизнь. То и другое имъ равно ничего не стоитъ!

«Нѣтъ! я не вѣрю въ ихъ искусство для искусства не только въ нашу эпоху, — въ какую угодно *истинную* эпоху искусства. Ни фанатическій гибеллинъ Дантъ, ни честный англійскій мѣщанинъ Шекспиръ, столь ненавистный пуританамъ всѣхъ странъ и вѣковъ *даже до сего дне*, ни мрачный инквизиторъ Кальдеронъ не были художниками въ томъ смыслѣ, какой хотятъ придать этому званію дилетанты. Понятіе объ искусствѣ для искусства является въ эпохи упадка, въ эпохи разъединенія сознанія немногихъ лицъ, утонченнаго чувства дилетантовъ, съ народнымъ сознаніемъ, съ чувствомъ массы... Истинное искусство было и будетъ всегда народное, демократическое, въ философскомъ смыслѣ этого слова. Искус-

ство воплощаетъ въ образы, въ идеалы сознание массы. Поэты суть голоса массъ, народностей, мѣстностей, глашатаи великихъ истинъ и великихъ тайнъ жизни, носители словъ, которыя служатъ ключами къ уразумѣнію эпохъ, — организмовъ во времени, и народовъ, — организмовъ въ пространствѣ<sup>1)</sup>.

Порвавъ отношенія съ редакціей «Русскаго Слова», критикъ остался безъ аудиторіи. «Негдѣ было писать, жалуется онъ, — я сталъ писать въ «Русскомъ Мірѣ». Но и тутъ онъ не сошелся, и перешелъ къ Старчевскому, съ которымъ также не поладилъ.

Въ «Русскомъ Мірѣ» 1860 года въ статьѣ подъ заглавіемъ «Послѣ Грозы» Островскаго авторъ выступилъ не только истолкователемъ высокихъ достоинствъ этой пьесы, но рѣшительнымъ, мужественнымъ борцомъ за молодого драматурга противъ общественныхъ неправильныхъ понятій и несостоятельныхъ сужденій объ отношеніи художника къ окружающей дѣйствительности. Г. А. Скабичевскій, не раздѣляющій въ большинствѣ случаевъ взглядовъ критика-самобытника и его прямого послѣдователя Н. Н. Страхова, съ полнымъ безпристрастіемъ указываетъ на чуткость и глубокое пониманіе искусства Ап. Григорьевымъ въ его оцѣнкѣ дѣятельности А. Н. Островскаго. «Проповѣдь органичности и народности художественныхъ произведеній, конечно, далеко не исчерпывала всѣхъ тѣхъ требованій, какія предъявлялись въ то время искусству, но, тѣмъ не менѣе, она была однимъ изъ самыхъ живыхъ голосовъ въ хорѣ 50 годовъ и сослужила, въ свое время, не малую службу. Такъ, къ числу неоспоримыхъ заслугъ Ап. Григорьева принадлежитъ тотъ фактъ, что онъ первый обратилъ надлежащее вниманіе на произведенія только что начинавшаго въ то время Островскаго и поставилъ его на ту высоту, на которой всегда потомъ держался создатель русской народной комедіи. Если вы примете во вниманіе, что писалось въ то время объ Островскомъ въ прочихъ органахъ прессы, то вы поймете, какъ велика была эта заслуга Ап. Григорьева передъ обществомъ. Безъ преувеличенія можно сказать, что Ап. Гри-

<sup>1)</sup> Сочин. А. Григорьева. Т. I, стр. 458.

горьевъ сдѣлалъ для Островскаго то же, что Вѣдинскій сдѣлалъ для Гоголя. Впослѣдствіи Добролюбовъ довершилъ дѣло, начатое Ап. Григорьевымъ, оцѣнивши и разобравши Островскаго совершенно съ другой стороны, именно, общественной, на которую Ап. Григорьевъ, сообразно своимъ взглядамъ, не могъ обратить вниманія. Но характеристика Добролюбова, страдающая, въ свою очередь, односторонностью, не уничтожаетъ оцѣнки Ап. Григорьева, а лишь пополняетъ ее; и, хотя Добролюбовъ, по своему блестящему таланту, затмилъ статьи Ап. Григорьева объ Островскомъ, тѣмъ не менѣе, инициатива объясненія значенія піесъ Островскаго принадлежитъ все-таки Ап. Григорьеву, и за это одно онъ заслуживаетъ вѣчной памяти потомства» <sup>1)</sup>).

Въ томъ же 1860 году Ап. Григорьевъ работалъ въ «Сынѣ Отечества», гдѣ еще въ 1857 году онъ помѣстилъ свою поэму «Борьба», и въ «Отечественныхъ Запискахъ», а также для «Драматическаго Сборника». На страницахъ перваго печатались «Бесѣды съ Иваномъ Ивановичемъ о современной нашей словесности и о многихъ другихъ, вызывающихъ на размышленіе предметахъ» и поэма «Вверхъ по Волгѣ», а во второмъ журналѣ новыя наблюденія критика въ области народной поэзіи: «О русскихъ народныхъ пѣсняхъ».

Не прекращавшіяся нападки и глумленія надъ Григорьевымъ, несмотря на полный расцвѣтъ его критическаго таланта и солидное положеніе въ литературѣ, стали въ концѣ концовъ такъ раздражать Аполлона Александровича, что онъ послѣ непріятной для него полемики пришелъ къ мрачному убѣжденію въ своемъ безсиліи открыть противникамъ глаза на правду. Въ обществѣ онъ уже завоевалъ себѣ извѣстность оригинальнаго мыслителя, но настоящихъ почитателей, способныхъ понять его мысли, было очень, очень мало.

«Вѣры, вѣры нѣтъ въ торжество своей мысли, *да и чортъ ее знаетъ теперь*, эту мысль. По крайней мѣрѣ, я самъ не знаю ея предѣловъ. Знаю себя только отрицательно. Хасъ»

<sup>1)</sup> „Новости“ 1889 г. № 264.

во мнѣ ужаснѣйшій, не примиримый никакою дѣятельностью. Такъ странно особенно выработались у меня мои вѣрованія и мое мышленіе, что страшно сказать—около меня стала пустота ужасная. Съ исключительно же артистами не схожусь я потому, что каждая жила моя бьется за свободу и ни одна не выноситъ тупого, спокойнаго индифферентизма политическаго и религіознаго, къ которому всѣ артистическія натуры (кромѣ одного О-вскаго) чрезвычайно способны. Тяжело стоять почти что одному, тяжело вѣрить глубоко и въ правду своей мысли и знать вмѣстѣ съ тѣмъ, что въ ходу, на очереди стоять не эта, а другая мысль, которой сочувствуешь только на половину.» <sup>1)</sup>).

Даже его товарищи по перу стали въ ряды его враговъ. Такъ, Островскій перешелъ въ «Современникъ»; по этому поводу Ап. Григорьевъ въ письмѣ къ Страхову замѣчаетъ: «Одинъ человекъ, съ кѣмъ у меня *все* общее—Островскій;—да, вѣдь, и о немъ, подавшемъ руку тушинцамъ, я по отношенію къ себѣ могу сказать:

„А тотъ, чей умъ тебя и понималъ,  
Въ угоду имъ тебя лукаво порицалъ“.

Б. Н. Алмазовъ также не пощадилъ критика, когда началось изданіе журнала «Время», и разразился слѣдующей злой антологіей противъ бывшаго, какъ и онъ, сотрудника «Москвитянина»:

ГРИГОРЬЕВЪ.

(Изъ антологіи).

Мраченъ ликъ, взоръ дико блещетъ,  
Умъ отъ чтенья извращенъ;  
Рѣчь парадоксами хлещетъ...  
Се Григорьевъ Аполлонъ!  
Кто жъ его въ свое изданье  
Безъ контроля допустилъ?  
Ты, невинное созданье,—  
Достоевскій Михаилъ. <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Н. Страховъ. Воспоминанія объ А. А. Григорьевѣ. „Эпоха“ 1864 г. № 9.

<sup>2)</sup> Сочиненія Б. Н. Алмазова. Т. II, стр. 451. Изд. 1892 г.



Это нерасположеніе прессы къ Ап. Григорьеву подтверждаетъ и Д. В. Аверкіевъ, который принималъ близкое участіе въ своемъ другѣ. «Само собою разумѣется, удостовѣряетъ онъ, что противная партія относилась къ Аполлону Александровичу такъ же, какъ къ славянофиламъ. Мнѣ не случалось встрѣчать ни одного дѣльнаго возраженія; всегда грубая насмѣшка, крайнее непониманіе, а въ послѣднее время намеки на то, что Григорьевъ страдалъ отъ запоя.

«Если литература относилась къ Григорьеву—не знаю, какъ выразиться правильнѣе и въ то же время понѣжнѣе—ну словомъ, нехорошо и неумно, зато въ массѣ читателей у него много было поклонниковъ. Григорьевъ часто не довѣрялъ, чтобы это было правда, но за то не разъ приходилось ему разувѣряться въ этомъ недоувѣріи; особенно поразилъ его одинъ молодой натуралистъ, оказавшійся не только большимъ почитателемъ его таланта, но и большимъ знатокомъ его произведеній!—«Вотъ ужъ не ожидалъ, простодушно сказалъ ему Григорьевъ,—я могъ еще предположить, что не всѣ меня ругаютъ, что не всѣ же пропитались новѣйшей мудростью пяти книжекъ,—но, чтобъ были люди, которые очевидно слѣдятъ за моею дѣятельностью, помнятъ мои статьи,—признаюсь, этого я не ожидалъ. Значить, я еще не совсѣмъ ненужный человѣкъ»<sup>1)</sup>.

Извѣстно, что мысль о томъ, что онъ ненужный человѣкъ, часто преслѣдовала Григорьева, и онъ даже не разъ высказывалъ это печатно. Онъ часто жаловался Н. Н. Страхову на невозможность трудиться на литературномъ поприщѣ при господствѣ грубаго матеріализма и ложно-прогрессивнаго направленія. Всѣ увѣренія товарищей его въ его мнительности и въ серьезномъ значеніи его голоса въ печати разбивались фактами безотрадной дѣйствительности, которая съ каждымъ днемъ суровѣе преслѣдовала изо всѣхъ силъ боровшагося съ невзгодами труженика.

Дѣло наконецъ дошло до того, что редакціи, въ своемъ полномъ подчиненіи наиболѣе распространеннымъ въ то время

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г., августъ.

идеямъ, изъ опасенія прослыть ретроградными органами, наотрѣвъ отказывали Григорьеву въ помѣщеніи его статей въ своихъ изданіяхъ, особенно, если онѣ заключали въ себѣ взгляды, сколько-нибудь не согласные съ общимъ духомъ эпохи, или мысли, направленные противъ теоретиковъ. Аполлону Александровичу не оставалось ни одного журнала, гдѣ бы онъ свободно могъ проводить въ общество свои литературныя идеи, и такимъ образомъ онъ проникся печальною мыслью, что его время отжило, и онъ ненужный болѣе человѣкъ.

Вотъ что сообщаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ о его душевномъ состояніи Н. Н. Страховъ: «Каково же было мое удивленіе, когда въ первыхъ же разговорахъ съ Григорьевымъ я услышалъ отъ него прямые намеки на то, что онъ дѣйствительно человѣкъ *не нужный* въ настоящее время, что ему нѣтъ мѣста для дѣятельности, что духъ времени слишкомъ враждебенъ къ людямъ такого рода, какъ онъ. Сначала я приступилъ было къ нему съ горячими разувѣреніями. «Помилуйте, говорилъ я ему, какой же вы ненужный человѣкъ, когда вы составляете единственную нашу надежду, когда отъ васъ только и можно ждать настоящаго критическаго суда, литературныхъ явленій. Между вами и вашими соперниками и порицателями лежитъ неизмѣримое разстояніе. На эти увѣренія онъ отвѣчалъ мнѣ, что я еще мало знаю положеніе дѣлъ, что настоящей критики никому теперь не нужно, а въ доказательство приводилъ то, что ему негдѣ писать» <sup>1)</sup>).

Попытка Н. Страхова въ 1860 году помочь ему въ его безвыходномъ душевномъ и матеріальномъ положеніи не имѣла успѣха: хотя Катковъ пригласилъ въ свою редакцію Ап. Григорьева и предоставилъ ему вести критическій отдѣлъ «Русскаго Вѣстника», но ни одной статьи и замѣтки его или одобреннаго имъ для печати произведенія не пропустилъ для помѣщенія въ своемъ журналѣ.

Ап. Григорьевъ еще болѣе разочарованнымъ осенью или даже въ началѣ зимы вернулся въ Петербургъ. Безъ дѣла и

---

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 года № 9.

безъ средствъ онъ съ рѣдкимъ терпѣніемъ переносилъ тягости жизни, съ гордостью сознавая величіе человѣческой души, свое умственное превосходство надъ окружающей своекорыстной средой и свое искреннее желаніе служить, но служить исключительно всему честному, высокому, свѣтлому. Отсутствие работы ввело его въ неоплатные долги, и вотъ въ концѣ 1860 года онъ очутился въ долговомъ отдѣленіи.

Вырвавшись изъ когтей нужды, онъ опять берется за перо и съ новаго года въ «Свѣточѣ» помѣщаетъ статьи по жгучимъ вопросамъ: «Искусство и нравственность», «Реализмъ и идеализмъ въ нашей литературѣ» и переводъ байроновскаго «Прометея».

Съ 1861 года братья М. М. и О. М. Достоевскіе начинаютъ издавать журналъ «Время» — и для Аполлона Александровича открывается широкое поле дѣятельности, такъ какъ при этомъ органѣ собираются именно тѣ, съ кѣмъ болѣе всего критикъ сходилъ въ своихъ взглядахъ на искусство. Здѣсь работали Д. В. Аверкиевъ, Н. Н. Страховъ, А. О. Писемскій и мн. др., глубоко уважавшіе Ап. Григорьева, раздѣлявшіе его мнѣнія о Пушкинѣ, Гоголѣ и Островскомъ, отстаивавшіе русскую самобытность. Ихъ кружокъ получилъ названіе почвенниковъ.

Въ ихъ лицѣ возродилась молодая редакція «Москвитянина» съ ея горячей любовью къ родной народности и къ историческимъ преданіямъ. «Подъ народностью подразумевали сотрудники «Москвитянина» живую и чисто-демократическую тягу къ народу, къ опрощенію, къ проникновенію гуманнѣйшими христіанскими идеалами, любовь и братство. Стремленіе это заставляло людей въ родѣ, на примѣръ, Павла Ивановича Якушкина беззавѣтно отрѣшаться отъ всѣхъ благъ міра, надѣвать сермягу и лапти, итти въ народъ поучаться его вѣковѣчной мудрости, проникаться духомъ его жизни и нести вмѣстѣ съ нимъ крестъ его страданій. Выразителемъ этихъ московскихъ почвенниковъ и былъ Ап. Григорьевъ» <sup>1)</sup>).

---

<sup>1)</sup> А. Скабичевскій. Памяти Ап. Ал. Григорьева. „Новости“ 1889 г. № 164.

Но въ ихъ воззрѣніяхъ славянофильское ученіе значительно поступилось своими первоначальными принципами, получивъ болѣе реальный характеръ. «Такъ, они перестали<sup>1</sup> выдвигать на первый планъ, какъ говоритъ г. А. Скабичевскій, византизмъ и, продолжая считать православіе существеннымъ элементомъ русской самобытности, въ то же время не выставляли на первый планъ требованія, чтобы государство превратилось въ церковь»<sup>1</sup>).

Почвенники признали важное значеніе преобразованій Петра Великаго и пытались его реформы объяснить естественнымъ ходомъ развитія русской исторической жизни. Въ каждой народности они видѣли особый типъ, сложившійся искони подъ вліяніемъ своеобразныхъ мѣстныхъ, климатическихъ и историческихъ условий, и потому требующій постепеннаго самостоятельнаго развитія, а не крутыхъ переворотовъ въ жизни подъ чуждыми вліяніями.

При такой солидарности съ редакціей «Времени» Ап. Григорьевъ, повидимому, попалъ на желаемую дорогу и съ прежнимъ юношескимъ жаромъ вмѣстѣ съ Ѳ. М. Достоевскимъ проводилъ въ новомъ журналѣ идеи національной самостоятельности, изслѣдуя основныя свойства русскаго народнаго духа въ созданіяхъ «растительной поэзіи» и личнаго творчества и призывая общество къ изученію отечественной старины, историческихъ памятниковъ, этнографіи и проч. «Есть вопросъ и глубже и обширнѣе, пишетъ онъ Н. Н. Страхову изъ Оренбурга,—по своему значенію всѣхъ нашихъ вопросовъ,—вопроса (каковъ цинизмъ?) о крѣпостномъ состояніи и вопроса (о ужасѣ!) о политической свободѣ. Это вопросъ о нашей умственной и нравственной *самостоятельности*. Въ допотопныхъ формахъ этотъ вопросъ явился только въ покойникѣ «Москвитянинѣ» 50-хъ годовъ,—явился молодой, смѣлый, пылкій, но честный и блестящій дарованіями (Островскій, Писемскій)..... Въ томъ, что это допотопное бытіе возродится въ новыхъ строй-

---

<sup>1</sup>) А. М. Скабичевскій. Исторія новѣйшей русской литературы. Спб. 1891 г. Стр. 40.

ныхъ формахъ—я убѣжденъ крѣпко, да, вѣдь, утѣшенія-то въ этомъ мнѣ мало.

«Постарайся, если ты хочешь увидѣть эти элементы, сойтись покороче съ Островскимъ.

«Судьба мыслей широкихъ—жить для будущаго, выполняться мало-по-малу, по частямъ» <sup>1)</sup>).

Строгая логическая послѣдовательность и убѣдительность доводовъ составляютъ существенныя особенности статей Ап. Григорьева въ журналѣ «Время», въ которыхъ, не смотря на двухлѣтнее существованіе этого изданія, онъ успѣлъ обсудить много выдающихся сторонъ въ литературныхъ направленіяхъ, рѣзко опредѣлившихся къ началу шестидесятыхъ годовъ. Эти очерки образуютъ собою своего рода курсъ лекцій, главная задача котораго—выясненіе развитія идеи народности въ отечественной словесности со смерти Пушкина. Таковы его этюды: «Литература и народность».—«Западничество въ русской литературѣ. Причины происхожденія его и силы».—«Бѣлинскій и отрицательный взглядъ на литературу».—«Оппозиція застоя».

За четвертой, майской статьёй послѣдовалъ шестимѣсячный перерывъ въ сотрудничествѣ Григорьева, вызванный недоразумѣніями съ редакціей. Ближайшимъ поводомъ къ размолвкѣ послужили, по собственному признанію Ап. Григорьева, «слова человѣка очень честнаго и хорошаго, какъ М. Достоевскій: «Какіе же глубокіе мыслители Кирѣевскій, Хомяковъ, О. Теодоръ?»—когда критикъ упомянулъ ихъ имена съ этимъ эпitetомъ въ одной изъ своихъ статей. Заданный Михайломъ Михайловичемъ Достоевскимъ вопросъ въ столь рѣзкой формѣ, безъ сомнѣнія, оскорбилъ Аполлона Александровича, такъ какъ они (т. е. слова М. М. Достоевскаго) для «человѣка, дѣйствительно мыслящаго, по выраженію Ап. Григорьева,—термометръ довольно ужасный».

Покойный Н. Н. Страховъ и Ѳ. М. Достоевскій вполне соглашались съ соображеніями редактора, посовѣтовавшаго кри-

<sup>1)</sup> Н. Страховъ. Воспоминанія объ А. А. Григорьевѣ. „Эпоха“ 1864 г., сентябрь.

тику выпустить изъ статьи эти имена, но Аполлонъ Александровичъ, недовольный и другими порядками редакціи, рѣшилъ непремѣнно уѣхать въ Оренбургъ, и никакія разубѣжденія, никакія просьбы друзей его не удержали.

Если принять во вниманіе постоянно-напряженное, нервное состояніе журнальных дѣятелей вообще и разногласія Ап. Григорьева со многими органами печати, не упускавшими удобнаго случая какъ-нибудь задѣть его, то раздражительность и вспышки его сами собою становятся понятны, и потому не слѣдуетъ приписывать ихъ капризному характеру Григорьева. Дѣйствительно, въ благородной душѣ пылкаго, искреннаго идеалиста накопилось много горькихъ обидъ, въ чемъ можно убѣдиться, напримѣръ, по письму его къ Н. Н. Страхову изъ Оренбурга отъ 23 сентября 1861 года, которое свидѣтельствуется сколько о его нравственныхъ страданіяхъ, столько же и о его горячей вѣрѣ въ свѣтлое будущее, при всемъ мрачномъ настоящемъ,—вѣрѣ критика - самобытника въ грядущее родного народа и его литературы.

«Что ты мнѣ толкуешь, говоритъ Григорьевъ,—о значеніи моей дѣятельности, о ея справедливой эцѣнкѣ? Тутъ никто не виновать, кромѣ жизненнаго вѣянія. Не въ ту струю попалъ,—струя моего вѣянія отшедшая, отзвучавшая, и проклятіе лежитъ на всемъ, что я ни дѣлалъ.

«Началъ было я свой курсъ въ «Русскомъ Словѣ»,—велъ свою мысль къ полнѣйшему разъясненію длинными, длинными околицами. Сорвалось. «Гроза» Островскаго вновь было расшевелила меня. Смѣло и рѣшительно началъ было я новый курсъ въ несчастномъ «Русскомъ Мірѣ» 1859 г.,—взялъ другой пріемъ, кратчайшій. Не только не сорвалось, но никто даже не отозвался.

«Послѣ долгихъ мукъ рожденія, съ новою вѣрою и энергіею, съ новыхъ пунктовъ, облегчивъ даже, кажется, по возможности, формы,—началъ я опять тотъ же курсъ во «Времени». Господи! и тутъ дождался только упрека Р.... за то, что я пишу такъ, что его жена не понимаетъ,—нагло намѣреннаго непониманія, выразившагося въ бойкомъ отвѣтѣ фелье-

тониста «Русскаго Инвалида» на мои *замѣтки ненужнаго человека*,—и наконецъ шутокъ М. Достоевскаго, что я въ «Свѣточѣ» даю статьи гораздо интереснѣе, — шутокъ, перешедшихъ въ прямое уже неудовольствіе на мою послѣднюю статью... А омерзительное отношеніе ко мнѣ «Искры», а еще болѣе омерзительное обвиненіе меня человѣкомъ серьезнымъ, какъ Катковъ, въ фальшивомъ поступкѣ изъ-за его плохого перевода «Ромео и Юліи»?.. А отрицательство отъ меня всѣхъ старыхъ друзей?... А убѣжденіе П..., что я интриговалъ противъ него у К... а?... Да, право, и не перечислить всего того сквернаго, что я надъ собою видѣлъ... Въ пьяномъ образѣ я приподнимаю для тебя немного душевную завѣсу... Такъ, что тутъ разсуждать, когда явное проклятiе тяготѣетъ надъ жизнью?... Ну, и опускаются руки, и дѣлать ничего не хочется на бывшемъ поприщѣ. Не знаю, право, скоро ли допишу я и допишу ли даже статью о Толстомъ.

«Извѣстіе, сообщенное «Сѣв. Пчелой» объ окончаніи Островскимъ «Кузьмы Минина» — вотъ это событіе. Тутъ вотъ прямое *быть или не быть* положительному представленію народности, — можетъ быть такой толчокъ *впередъ*, какого еще и не предвидѣлось.

«Одна изъ идей, въ которыя я пламенно вѣрилъ, порѣшается. Но это только одна сторона моего вѣрованія. Если бы я вѣрилъ только въ элементы, вносимые Островскимъ, — давно бы съ моею узкой, но относительно вѣрной и торжествующей идеей, я внесся бы въ общее вѣяніе духа жизни. — Но я же вѣрю и знаю, что однихъ этихъ элементовъ недостаточно, что это все-таки только *membra disjecta poetae*, — что полное и цѣльное сочетаніе стихій великаго народнаго духа было только въ Пушкинѣ, что могучую односторонность исключительно народнаго, пожалуй, земскаго, что скажется въ Островскомъ, должно умѣрять сочетаніе другихъ, тревожныхъ, пожалуй, бродячихъ, но столь же существенныхъ элементовъ народнаго духа въ комъ-либо другомъ. Вотъ, когда рука объ руку съ выраженіемъ коренастыхъ, крѣпкихъ, *дубовыхъ* (въ какомъ хочешь смыслѣ) началъ пойдетъ и огненный, увле-

кающій порывъ юной силы, — жизнь будетъ полна, и литература опять получить свое царственное значеніе. А этого, Богъ знаетъ, дождемся ли мы? Шутка—чего я жду! Я жду того стиха, который бы

Ударилъ по сердцамъ съ невідомою силой,

того упоенія, чтобы «журчанье этихъ стиховъ наполняло окружающій насъ воздухъ».

«Шутка!.. Вѣдь, это—вѣра, любовь, порывъ, лиризмъ»...

«Не говори мнѣ, что я жду невозможнаго, такого, чего время не даетъ и не дастъ. Жизнь есть глубокая иронія во всемъ. Во времена *торжества разсудка* она вдругъ показываетъ обратную сторону медали, посылаетъ Кальостро и проч.,—въ вѣкъ паровыхъ машинъ—вертеть столы и приподнимаетъ завѣсу какого-то таинственнаго, ироническаго міра духовъ страшныхъ, причудливыхъ, насмѣшливыхъ»... <sup>1)</sup>).

---

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г., сентябрь.



## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Поездка въ Оренбургъ и причины ея.—Дорожныя впечатлѣнія.—Недовольство провинціальной жизнью.—Переписка съ Н. Н. Страховымъ и литературныя занятія.—Публичныя лекціи объ А. С. Пушкинѣ.—Служба въ Неплюевскомъ кадетскомъ корпусѣ и отзывъ объ Ап. Григорьевѣ одного изъ его учениковъ.

Отъѣздъ изъ столицы, гдѣ за искреннее и правдивое слово, за высокія мысли, за упорный трудъ и матеріальныя лишенія и печать и легкомысленная часть общества платили талантливому критику рѣзкими остротами, оскорбительными насмѣшками и гнусными намеками чуть ли не на безнравственный образъ жизни, былъ необходимымъ и единственнымъ средствомъ для поддержанія и душевныхъ и физическихъ силъ Ап. Григорьева. Онъ любилъ путешествія, и нерѣдко выражалъ сожалѣніе объ отсутствіи средствъ для постоянного странствованія.

Дорога въ Оренбургъ лежала чрезъ многіе старинные города, и критикъ-самобытникъ съ жадностью останавливалъ свои взоры на развалинахъ, памятникахъ и различныхъ историческихъ достопримѣчательностяхъ. Глубоко религіозный москвичъ повсюду ищетъ соборовъ, церквей, часовенъ, монастырей и съ наслажденіемъ любитъ древней иконописью и зодчествомъ. Онъ четыре дня провелъ въ Ярославлѣ и все не могъ, по собственнымъ словамъ, находить по его церквамъ и монастырямъ. Въ этомъ городѣ онъ молился чудотворной иконѣ Толгской Божіей Матери, образомъ Которой его благословила покойница мать.

Прибывъ въ Оренбургъ, Ап. Григорьевъ завязываетъ переписку, весьма интересную не только въ біографическомъ, но и въ литературномъ отношеніи, съ Николаемъ Николаевичемъ Страховымъ, съ которымъ, познакомившись въ 1859 году, онъ до самой смерти былъ въ тѣснѣйшей дружбѣ. Въ письмѣ отъ 18 іюня онъ передаетъ ему свои первыя оренбургскія

впечатлѣнія такъ: «Ничего не боялся я столько (между прочимъ), какъ жить въ городѣ безъ исторіи, преданій и памятниковъ. И вотъ—я (это одинъ изъ многихъ опытовъ) именно въ такомъ положеніи. Кругомъ глушь и степь, да близость Азии, порядочно отвратительной всякому европейцу. Городъ—смѣсь скверной деревни съ казенными домами. Ни стараго собора, ни одной чудотворной иконы—ничего, ничего»...

Одиночество и отчужденіе отъ всего, дорогаго сердцу, сразу дали себя почувствовать Григорьеву, но въ немъ не было недостатка въ гордомъ сознаніи своей правоты передъ людьми, не понимавшими или не желавшими знать его чистыхъ, безкорыстныхъ порывовъ и стремленій, и потому онъ съ нѣкоторымъ удовольствіемъ готовъ былъ вынести и эти тягости своей жизни. «Быть можетъ, ты одинъ, узнавши меня въ послѣднее время достаточно, писалъ онъ своему другу, понимаешь, что причины болѣе глубокия, чѣмъ личныя невзгоды и разочарованія, заставили меня осудить себя на добровольную ссылку; что главная вина, *causa causalis* моего рѣшенія была—сознаніе своей ненужности. Въ сознаніи этомъ много, коли ты хочешь, и гордости. Я дошелъ до глубокаго презрѣнія къ литературѣ прогресса. Да иначе и быть не могло. Искатель абсолютнаго,—я столь же мало понимаю рабство передъ минутой, рабство демагогическое, какъ рабство передъ деспотами. Лучше я буду киргизовъ обучать русской грамотѣ, чѣмъ обязательно писать въ такой литературѣ, въ которой нельзя подать смѣло руки хоть бы даже Асоченскому въ томъ, въ чемъ онъ правъ, и смѣло же спорить—хоть даже съ Герценомъ. Цинизмъ мысли, право, дошелъ уже до крайнихъ предѣловъ».

Ап. Григорьевъ и въ Оренбургѣ не покидалъ литературнаго дѣла: онъ занялся критической оцѣнкой произведеній гр. Л. Н. Толстого и уже собирался отправить въ редакцію «Времени» продолженіе этюда объ этомъ писателѣ, какъ неожиданно получилъ письмо Н. Н. Страхова съ предложеніемъ печататься въ журналѣ Достоевскихъ безъ подписи или подъ псевдонимомъ. По объясненію его друга, это было сдѣлано редакціей

съ цѣлью, а именно, чтобы статьи Григорьева произвели свое дѣйствіе на публику, и чтобы ошибочное отношеніе предубѣжденных читателей къ нему измѣнилось послѣ открытія фамиліи автора. Но Аполлонъ Александровичъ, не предупрежденный о такомъ умыслѣ журнала, принялъ предложеніе за новое оскорбленіе со стороны Достоевскихъ, и въ отвѣтъ г. Страхову написалъ слѣдующее: «Предложеніе Ѳ. Достоевскаго довольно странно. Я, слава Богу, еще не Ѳ. В. Бугаринъ, чтобы мое имя компрометировало журналъ. Съ другой (приватной) стороны, если бы я даже былъ извѣстный шулеръ, какъ П....., то все-таки, какъ онъ же, подписывалъ бы свое имя. Ни то, что П... сидѣлъ въ ямѣ, ни то, что я сидѣлъ въ долговомъ, къ литературѣ не относится. Поэтому до полученія отъ тебя отвѣта Достоевскихъ: угодно ли имъ печатать статьи съ моимъ именемъ, останавливаюсь посылать половину статьи о Толстомъ» <sup>1)</sup>).

Въ Оренбургѣ Ап. Григорьевъ прочелъ съ благотворительной цѣлью четыре лекціи о поэзіи А. С. Пушкина, которыя, по его признанію, имѣли полный успѣхъ въ матеріальномъ отношеніи, но отнюдь не въ умственномъ или эстетическомъ.

Мѣстная интеллигенція ничего не представляла въ своей жизни особеннаго для наблюдательнаго столичнаго писателя. Зато Ап. Григорьевъ увлекся педагогической дѣятельностью, опредѣлившись на службу въ качествѣ учителя словесности въ Неплюевскій кадетскій корпусъ. Изъ его письма можно заключить, что онъ не совсѣмъ былъ доволенъ какъ постановкой преподаванія въ этомъ учебномъ заведеніи, такъ и принятыми учебниками, и пробовалъ ввести кое-какія улучшенія въ дѣло. Насколько ему это удалось, неизвѣстно, но только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ покинулъ свою должность и возвратился въ Петербургъ.

Вѣроятно же всего, ему были невыносимы условія служебной дисциплины, отъ которой онъ и раньше всегда пытался такъ или иначе избавиться. Стоитъ вспомнить только его службу

---

<sup>1)</sup> Письмо отъ 12 августа 1861 г. „Эпоха“ 1864 г. № 9.

въ Московскомъ университетѣ и письмо къ М. П. Погодину изъ Петербурга. «Прежнее его кратковременное учительство въ Москвѣ, вѣрно замѣчаетъ его сынъ,—въ Сиротскомъ домѣ, въ первой гимназiи, показывало несовмѣстимость педагогическихъ занятiй съ его характеромъ и образомъ жизни. Это не оттого, чтобы онъ былъ не подготовленъ къ нимъ: его знанiя и умѣнье объясняться были безспорны, но разсѣянность, неспособность подчиниться аккуратности и дисциплинѣ, необходимымъ при классныхъ занятiяхъ, дѣлали его совершенно неудобнымъ для занятiй преподавателя. Онъ слишкомъ дорожилъ независимостью, слишкомъ чуждался всякаго подчиненiя и ограниченiя своей свободы. И дѣйствительно, предсказанiя его друзей сбылись: онъ и года не пробылъ въ Оренбургѣ. Самъ онъ потомъ говорилъ, что готовъ лучше просидѣть въ тюрьмѣ, чѣмъ каждый день ходить по барабану. Особенно не могъ онъ приучить себя вставать и одѣваться къ опредѣленному часу и нерѣдко вовсе пропускалъ утреннiя лекцiи» <sup>1)</sup>).

Большой интересъ представляетъ и отзывъ одного изъ учениковъ Аполлона Алоксандровича о преподаванiи и образѣ жизни критика въ Оренбургѣ: «Любя свой предметъ не только какъ учитель, но и какъ писатель, А. А. съ страстнымъ увлеченiемъ старался вложить тѣ же знанiя и тѣ же мысли въ сердца и умы своихъ слушателей и развить въ нихъ эстетическое чувство ко всему доброму и прекрасному. Чтобы быть ближе съ своими учениками, онъ поселился недалеко отъ корпуса, заваливъ свою небольшую квартирку книгами. Хотя въ классѣ онъ говорилъ только по учебнику, но въ частныхъ бесѣдахъ знакомилъ своихъ учениковъ сверхъ программы и съ выдающимися произведенiями молодыхъ тогдашнихъ писателей. Воспитанники любили его и съ замѣтнымъ удовольствiемъ слушали его прочувствованныя лекцiи; но начальство корпуса, а также и представители мѣстной интеллигенцiи оказывали ему явное недоброжелательство и пренебреженiе. Это очень влiяло на впечатлительную и нервную натуру А. А.

<sup>1)</sup> Ал. Григорьевъ. „Одинокий критикъ.“ „Книжки Недѣли“ 1895 г., сентябрь, стр. 71.

Къ тому же онъ сошелся близко съ однимъ изъ корпусныхъ дежурныхъ офицеровъ С. Н. О-вымъ, человѣкомъ, хотя не-глухимъ и сравнительно съ другими даже довольно развитымъ, но страшнымъ кутилой и пьяницей. Дружба эта повела къ тому, что самъ А. А. началъ усиленно пить и пренебрегать службой. Онъ сталъ часто пропускать лекціи и повелъ самую безалаберную жизнь, вслѣдствіе чего начальство корпуса начало косо смотрѣть на его поведеніе, и только одинъ инспекторъ П. В. Ми—ригъ, уважая его талантъ и сочувствуя его положенію, всѣми мѣрами старался защищать его отъ нападокъ директора и преподавателей. Между тѣмъ А. А. все болѣе опускался. Ходилъ онъ совершеннымъ оборванцемъ, въ крайне поношенномъ скюртукѣ, въ грязномъ бѣльѣ, съ длинными, нечесанными волосами, и имѣлъ жалкій видъ пришибленнаго судьбой человѣка. Богъ знаетъ, что бы случилось съ нимъ, если бы онъ еще долѣе остался въ Оренбургѣ дослуживать положенный трехлѣтній срокъ. Очень можетъ быть, что его раньше уволили бы отъ службы, и онъ очутился бы безъ куска хлѣба, безъ близкихъ и друзей на далекой окраинѣ, откуда выбраться особенно въ то время безъ копейки было чрезвычайно трудно. Но онъ одумался во-время и, собравъ кой-какія деньжонки, подъ предлогомъ устройства домашнихъ дѣлъ и перевозки семейства въ Оренбургъ, выпросилъ двадцативосьмидневный отпускъ и выѣхалъ въ Петербургъ<sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> А. Григорьевъ. „Одинокій критикъ“. „Книжки Недѣли“ 1895 г. Сентябрь. Стр. 75—6.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Новыя статьи во „Времени“.—Редактированіе „Якоря“ и непрактичность А. Григорьева.—Тяжелое матеріальное положеніе и разногласіе со всѣми направленіями органовъ печати.—Театральная критика и переводы пьесъ.—„Эпоха“ и послѣднія работы А. Григорьева.—Заключеніе въ долговомъ.—Окончательное разстройство здоровья и упадокъ душевныхъ силъ.—Смерть критика.—Семья покойнаго.—Соболезнованія друзей А. Григорьева и отношеніе печати къ личности и литературной дѣятельности усопшаго.

Поездка въ Оренбургъ возстановила упавшія силы Ап. Григорьева, вернувшася къ своему излюбленному дѣлу.

Въ первой же книжкѣ «Времени» 1862 года онъ выступилъ со своей капитальной статьей подъ заглавіемъ: «Явленія современной литературы, пропущенныя нашей критикой, гр. Л. Толстой и его сочиненія». Властелинъ нашихъ думъ еще въ то время не успѣлъ создать своихъ высокохудожественныхъ твореній—романовъ «Война и Миръ» и «Анна Каренина», но критикъ, одаренный чрезвычайно тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, сумѣлъ оцѣнить этотъ крупный талантъ по его отношенію къ изображаемымъ предметамъ и отмѣтить отличительную способность его «къ искреннѣйшему анализу души человѣческой». За статьей о произведеніяхъ гр. Л. Н. Толстого слѣдовалъ рядъ другихъ, написанныхъ съ такимъ же глубокимъ проникновеніемъ въ сущность литературныхъ явленій и свидѣтельствующихъ о полномъ расцвѣтѣ критической дѣятельности Григорьева: «Стихотворенія Н. Некрасова». — «По поводу новаго изданія старой вещи, «Горе отъ ума». — «Лермонтовъ и его направленіе. Крайнія грани развитія отрицательнаго взгляда» — и разныя мелкія рецензіи.

Въ исходѣ того же 1862 года онъ приступилъ въ журналѣ «Время» къ писанію автобіографіи «Мои литературныя и нравственныя скитальчества», продолженіе которой, не доведенной все-таки авторомъ до конца, печаталось въ журналѣ «Эпоха»

1864 года. Эта автобіографія, несмотря на излишнюю растянутость, заключаетъ въ себѣ много правды изъ полной тяжелой борьбы, горькихъ уроковъ, невзгодъ и неудачъ жизни критика. Она—исторія всего его умственного и нравственного развитія подѣ влияніемъ разнообразныхъ «вѣяній» и многихъ «литературныхъ эпохъ». Въ предисловіи къ ней онъ говоритъ: «Мнѣ сорокъ лѣтъ, и изъ этихъ сорока, по крайней мѣрѣ, тридцать я живу подѣ влияніемъ литературы. Говорю: «по крайней мѣрѣ», потому что жить, т. е. мечтать и думать, началъ я очень рано, а съ тѣхъ поръ, какъ только я началъ мечтать и думать, я мечталъ и думалъ подѣ тѣми или другими впечатлѣніями литературы».

«Мои литературныя и нравственныя скитальчества» вмѣстѣ съ «Краткимъ послужнымъ спискомъ на память моимъ старымъ и новымъ друзьямъ», съ письмами къ Н. Н. Страхову, А. А. Фету, Я. П. Полонскому и другимъ литераторамъ, а также къ дѣвицѣ Е. С. П...ой, и съ поэтическими произведеніями въ родѣ поэмы «Venezia la bella» служатъ прекрасными, хотя и не вполне достаточными источниками для ознакомленія съ событіями тернистаго земного пути ихъ автора.

Давъ яркую характеристику литературнаго движенія за послѣднія 15 лѣтъ въ статьѣ «Наши литературныя направленія съ 1848 года» въ февральской книжкѣ «Времени», Ап. Григорьевъ въ 1863 году предпринялъ редактированіе еженедѣльной газеты «Якорь» съ юмористическимъ листкомъ «Оса». Въ ней заслуживаютъ вниманія его вѣскіе отзывы о театрѣ.

Къ сожалѣнію, житейская непрактичность и неумѣніе или, лучше, неспособность приравниваться къ запросамъ времени сказались скоро въ его новомъ дѣлѣ. Черезъ годъ онъ самъ сознался въ этомъ въ письмѣ къ Ф. М. Достоевскому, сказавъ: «Тщетно забрасывалъ я хрупкій «Якорь». Я предпочелъ наконецъ его бросить». Писатель-психологъ и безъ того хорошо зналъ идеальную, артистическую, но постоянно увлекающуюся и не расчетливую натуру Аполлона Александровича. Впослѣдствіи не разъ печатъ, вспоминая объ участи «Якоря», приводила на память слова Ф. М. Достоевскаго о покойномъ Григорьевѣ:

«Я полагаю, что Григорьевъ не могъ бы ужиться вполне спокойно ни въ одной редакціи въ мірѣ. А если бы у него былъ свой журналъ, то онъ бы утопилъ его самъ мѣсяцевъ черезъ пять послѣ основанія». Положимъ, Аполлонъ Григорьевъ не утопилъ своего изданія, но все-таки развязался съ нимъ окончательно въ январѣ 1864 года, хотя, какъ утверждаетъ Д. В. Аверкіевъ, «его имя еще подписывалось подъ названнымъ журналомъ».

Потерпѣвъ неудачу въ собственномъ дѣлѣ, Аполлонъ Григорьевъ нѣкоторое время недоумѣвалъ, куда ему примкнуть. Онъ прекрасно понималъ, что какія бы симпатіи онъ ни питалъ къ тому или другому органу печати, всегда найдется много вопросовъ, въ которыхъ онъ не въ состояніи итти рука объ руку съ редакціей. И вотъ въ первомъ письмѣ «Парадоксовъ органической критики» Аполлонъ Григорьевъ откровенно высказывается Ѳ. М. Достоевскому: «Писать же мнѣ, какъ не безызвѣстно тебѣ,—негдѣ, кромѣ того органа, который связанъ съ тобою и съ твоимъ именемъ: или самъ не пойду, или меня не возьмутъ. Потому, конечно, не пойду, что не сочувствую, и потому, конечно, не возьмутъ, что отъ сотои—не то, что ужъ отъ десятой доли того въ своей мысли, что считаю я выработавшимся органически, я не имѣю ни права, ни охоты отказаться, что этою сотою долею не пожертвовалъ бы я даже тому направленію, на сторонѣ котораго почти-что всѣ мои основныя политическія и общественныя, религіозныя и нравственныя сочувствія, т. е. направленію «Дня». Потому,—какъ я пожертвую? Какъ я буду дѣлить съ «Днемъ» равнодушіе къ величайшему проявленію нашихъ духовныхъ силъ, къ Пушкину, и его еще большее равнодушіе (чтобы не сказать хуже) къ явленію, составляющему для меня послѣднее пока наше слово: къ Островскому? Какъ я притомъ увѣрю себя, что вся прожитая нами послѣ Петра полоса духовнаго развитія—въ сущности миражъ и вздоръ? Какъ я, наконецъ, дойду до пониманія прелести палачества Кирилы Петрова, терзающаго Настасью Дмитрову, до чего дошла страшно-талантливая, но и страшно же увлекающаяся госпожа



Кохановская?.. Все это совершенно невозможно—все это будут наносные, давящіе, тяготящіе пласты въ моемъ органическомъ мірѣ.

Слѣдственно исхода для моей мысли нѣтъ — кроме «Эпохи» <sup>1)</sup>.

Такимъ образомъ новый журналъ Достоевскаго былъ единственнымъ убѣжищемъ для «его (А. Григорьева) родившейся органически и недосказавшейся, или принужденной досказываться отрывками мысли».

Въ послѣднее время Григорьевъ отмежевалъ себя поле атральной критики, въ которой, хотя и тяготился ею, проявилъ свое дарованіе и тонкое, вѣрное пониманіе драматическаго искусства. Будучи глубокимъ знатокомъ сцены, Аполлонъ Александровичъ заявилъ себя въ этой области и какъ талантливый переводчикъ пьесъ европейскихъ драматурговъ: «Сонъ въ лѣтнюю ночь», «Буря» и «Ромео и Джульета» Шекспира, «Школа мужей» Мольера, «Школа стариковъ» Делавиня, и либретто нѣсколькихъ оперъ для г. Стелловскаго въ 1862 и 1864 гг., а именно: «Баль-маскарадъ», «Эрнани», «Графъ Оре», «Осада Гента», «Лучія», «Фаворитка», «Бѣлая дама», «Донъ Пасквиле». «Но поэтическая струя у него, замѣчаетъ Д. В. Аверкиевъ, была сильна, и она нашла себѣ прекрасный исходъ въ переводѣ Байрона <sup>2)</sup> и особенно Шекспира. Его переводы Шекспира, необыкновенно оригинальные по приему, но вѣрные по духу (и даже буквально вѣрные), могутъ быть поставлены наравнѣ съ лучшими переводами А. В. Дружинина, А. Кронеберга и началомъ перевода «Буря» Л. А. Мея. Мнѣ случилось слышать престранный приговоръ его переводу «Сна въ лѣтнюю ночь», который такъ высоко ставилъ покойный А. В. Дружининъ (а его, кажется, нельзя упрекнуть въ непониманіи Шекспира). Упрекъ этотъ былъ сдѣланъ господиномъ, собиравшимся издавать Шекспира и даже чуть ли не переводить (не зная подлинника), и состоялъ въ томъ,

<sup>1)</sup> Сочиненія А. Григорьева. Томъ I, стр. 616.

<sup>2)</sup> „Паризина“ и „Чайльдъ Гарольдъ“.

что переводъ сдѣланъ «слишкомъ по-русски» (буквальное выраженіе)... При переводѣ Григорьевъ старался оригинально рѣчью передать характеры шекспировскихъ лицъ. Это особенно ему удалось въ «Ромео и Джульетѣ», гдѣ Ромео, Джульета, Кормилица, Старый Капулетъ, Меркуціо, слуги—всѣ говорятъ свойственнымъ имъ языкомъ, и гдѣ характеры переданы въ совершенствѣ. Григорьевъ въ послѣднее время собирался усерднѣе заняться Шекспиромъ. Окончивъ «Ромео и Джульету», онъ хотѣлъ приняться за «Мѣра за мѣру»<sup>1)</sup>.

Полнымъ безпристрастіемъ проникнуть и отзывъ «Русской Сцены» объ Ап. Григорьевѣ, какъ театральномъ критикѣ. «Несмотря на нѣкоторыя ложныя увлеченія въ мнѣніяхъ, свидѣтельствуетъ ея некрологъ, статьи г. Григорьева, относившіяся собственно къ русскому театру, которому онъ былъ преданъ всею душою, постоянно отличались силою мысли, глубокими взглядами на искусство, требованіями высшихъ и прочныхъ основъ для русской драмы и русской драматической сцены. Будучи всегда порывисто впечатлителенъ, а также постоянно находясь, вслѣдствіе своей печальной домашней обстановки, въ раздражительномъ состояніи, онъ нерѣдко въ сужденіяхъ своихъ о дѣлахъ театра бывалъ несправедливъ, отдавался симпатіямъ и вслѣдствіе этого не разъ впадалъ въ большіе промахи и ошибки. Но такова власть мощнаго духа, такова сила ума и самостоятельной мысли, что, несмотря на эти рѣзко бросавшіеся въ глаза недостатки, горячія статьи его читались съ напряженнымъ вниманіемъ даже людьми, крайне къ нему не расположенными,—а такихъ у него было множество. Рѣзкія, эксцентрическія замѣтки его, подчасъ неделикатныя, но всегда искреннія и прямодушныя, составляютъ немаловажную часть нашего небольшого театрано-критическаго капитала и уже принесли несомнѣнную пользу драматическому дѣлу въ Россіи, прибавя къ убогой суммѣ высказанныхъ нашей литературой воззрѣній на театръ немалую долю свѣтлыхъ и здравыхъ идей. Къ сужденіямъ Аполлона Александровича прислушивались и наши артисты и наши

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г. № 8.

театральные критики,—и признанное достоинство его трудовъ, широкое возвращеніе его на русское сценическое искусство невольно и незамѣтно вкрадывались и вкоренялись въ нашей журналистикѣ<sup>1)</sup>.

Послѣдніе полгода своей скитальческой и страдальческой жизни критикъ-самобытникъ отдалъ «Эпохѣ». Догоравшіе дни въ виду надвигавшейся грозы не погасили въ немъ вѣры въ великое назначеніе писателя: вынося жестокіе удары судьбы, онъ оставался все прежнимъ неутомимымъ труженикомъ, свѣтлымъ мечтателемъ и въ какіе-нибудь пять-шесть мѣсяцевъ напечаталъ въ журналѣ, кромѣ продолженія упомянутой автобіографіи, превосходно дорисовывающія его литературную фивіономію статьи: «Парадоксы органической критики» въ формѣ двухъ писемъ къ О. М. Достоевскому. — «Русскій театръ въ Петербургѣ». — «Отживающія литературныя явленія. Г. Григоровичъ». — «Голосъ стараго критика».

Въ первомъ письмѣ критикъ-самобытникъ, подобно матери, предчувствующей свою близкую неизбѣжную кончину и боящейся оставить свое любимое дитя сиротою въ холодномъ, пустынномъ мірѣ, заступаетъ передъ писателемъ-психологомъ за органическую критику, съ трепетомъ какъ бы убѣждая его уберечь взлелѣянные имъ въ теченіе многихъ лѣтъ принципы отъ бездушныхъ адептовъ Бѣлинскаго, усвоившаго односторонне историческій взглядъ на критику, — Добролюбова и Чернышевскаго, — и народившихся нигилистовъ — Писарева и Зайцева. Въ то же время онъ замѣчательно мѣтко изображаетъ и оцѣниваетъ всѣ періоды дѣятельности Бѣлинскаго, окончательно развѣнчивая того мыслителя, передъ которымъ благоговѣлъ въ юности, какъ передъ высоко-талантливымъ, восторженнымъ учителемъ. «Нѣтъ, я думаю, — утверждаетъ онъ, — ни для кого, тѣмъ болѣе для тебя, ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что Бѣлинскій конца сороковыхъ годовъ—вовсе не то, радикально не то, что Бѣлинскій начала сороковыхъ годовъ,—равномѣрно, что Бѣлинскій начала сороковыхъ годовъ и конца

---

<sup>1)</sup> «Русская Сцена» 1864 г. № 9.

тридцатыхъ, т. е. критикъ первыхъ «Отечественныхъ Записокъ» и зеленаго «Наблюдателя» — опять-таки вовсе не то, радикально не то, что Бѣлинскій «Молвы» и «Телескопа». Нечего говорить ужъ, на примѣръ, о радикальныхъ измѣненіяхъ отношеній его критическаго сознанія къ явленіямъ литературъ чужеземныхъ, о томъ хоть бы, что Бѣлинскій «Молвы» стоитъ на колѣняхъ передъ юной французской словесностью — въ особенности передъ Викторомъ Гюго и Бальзакомъ, а ее же купно и съ Гюго и съ Бальзакомъ топчетъ въ грязь гегелистъ-неофитъ зеленаго «Наблюдателя», для котораго существуетъ одинъ идеалъ поэта — олимпійскій Гёте; что Бѣлинскій зеленаго «Наблюдателя» и первыхъ «Отечественныхъ Записокъ» ругается ожесточенно надъ Зандъ, надъ той самой Зандъ, которая для Бѣлинскаго конца сороковыхъ годовъ составляетъ предѣлъ и вѣнецъ современнаго творчества... Прослѣдить одни только отношенія Бѣлинскаго къ нашимъ русскимъ дѣятелямъ — было бы крайне назидательно. «Великая драма», по его выраженію, Грибоѣдова, о которой говоритъ онъ съ паэссомъ въ «Литературныхъ мечтаніяхъ», въ статьѣ начала сороковыхъ годовъ уже сведена на степень сатиры — вотъ одинъ крупный примѣръ. Но особенно интересно прослѣдить отношенія его къ творчеству Пушкина. Въ «Молвѣ» онъ положительно считаетъ упадкомъ таланта его позднѣйшія произведенія; въ «Наблюдателѣ» млѣетъ и задыхается отъ восторга надъ этою позднѣйшею дѣятельностью великаго генія; въ серединѣ и концѣ сороковыхъ годовъ рядомъ статей о Пушкинѣ, появлявшихся не всегда скоро одна за другою, увлекаемый новыми завладѣвшими его пламенной головой теоріями, безтрепетно, какъ всегда, громовдя противорѣчія на противорѣчія, — то восторгаясь подъ вліяніемъ своего великаго эстетическаго чутія, то безжалостно жертвуя впечатлѣніями чисто-мозговымъ уже процессамъ, — онъ, не постепенно даже, а скачками, доходитъ до тѣхъ положеній, изъ которыхъ прямой выходъ въ положенія нашихъ, недавно еще современныхъ теоретиковъ «Современника»: еще шагъ — и онъ назвалъ бы, какъ они, «побрякушками» множество благоуханнѣйшихъ созданій, которыхъ красоту и важность самъ

же намъ растолковывалъ. Во всякомъ случаѣ—до признанія паденія въ Пушкинѣ онъ уже дошелъ; во всякомъ случаѣ—дѣлственно-чистый и цѣломудренный ликъ Татьяны,—до сихъ поръ еще самый полный очеркъ русскаго женственнаго идеала,—онъ уже развѣнчалъ,—успѣлъ уже попрекнуть ее сухостью и холодною сердца. Во всякомъ случаѣ тоже, Пушкина-Бѣлкина онъ положительно не понималъ: великій нравственный процессъ, который породилъ это лицо и его созерцаніе у поэта, породилъ одни изъ высшихъ его созданій (Капитанская Дочка, Дубровский, Лѣтопись села Горохина) и вмѣстѣ съ тѣмъ породилъ исходныя точки всей нашей современной литературы—отъ него ускользнулъ, или лучше сказать, заслонился отъ его зоркаго ока нимбомъ теорій...

«Для меня лично—равно какъ, вѣроятно, и для тебя—нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что, проживи еще нѣсколько лѣтъ великій критикъ,—онъ все бы это понималъ, и все бы это лучше насъ всѣхъ выяснилъ. Но дѣло въ томъ, что смерть застала критика въ такой именно моментъ, что этотъ послѣдній моментъ его сознанія такъ и застылъ въ школѣ, порожденной не самимъ Бѣлинскимъ, а именно этимъ моментомъ его духа,—что для адептовъ школы и для многихъ работѣльных послѣдователей всякой литературной новизны—это послѣднее его слово и есть единственно-настоящее,—что они того, прежняго-то Бѣлинскаго, пламеннаго поборника и тончайшаго цѣнителя художественной красоты—одни забыли, другіе знать не хотятъ, пренаивно думая, что такъ-вотъ въ этомъ-то напряженномъ и нѣсколько болѣзненномъ, хотя и совершенно поясняемомъ историческими обстоятельствами моментѣ сознанія—весь и высказался такой великій и могущественный духъ, каковъ былъ духъ Бѣлинскаго,—что онъ весь и могъ исчерпаться тѣмъ, что для нихъ доселѣ составляло и составляетъ насущную пищу, или, лучше сказать, жвачку, однимъ другому преемственно передаваемую и окончательно дожевываемую знаменитымъ критикомъ нашихъ дней, г. В. Зайцевымъ... И, вѣдь, нисколько не тревожить ихъ мысль о томъ, что множество увлеченій учителя оказались несостоятельными,

что многое, отъ чего отрекался онъ ради тѣхъ или другихъ овладѣвавшихъ имъ принциповъ,—какъ напримѣръ, Гюго,— до сихъ поръ совершенно живо и здорово въ художественномъ отношеніи, что «побрякушки» Пушкина тоже живы и вѣчно жить будутъ, что самая здоровая часть современной литературы ничего иного не дѣлаетъ, какъ разрабатываетъ міросозерцаніе Ивана Петровича Бѣлкина» <sup>1)</sup>...

Ап. Григорьевъ, считая нигилизмъ естественнымъ послѣдствіемъ отрицательно-историческаго и утилитарно-матеріалистическаго направленія критики и журналистики, ѣдкой сатирой своей неумолимой логики разбиваетъ въ концѣ эти ложныя ученія и съ твердой увѣренностью предвидитъ торжество своихъ взглядовъ на жизнь и искусство. «Для меня «жизнь»,— говоритъ онъ,— есть дѣйствительно нѣчто таинственное, т. е. потому таинственное, что она есть нѣчто неисчерпаемое, «бездна, поглощающая всякій конечный разумъ», по выраженію одной старой мистической книги, необъятная ширь, въ которой нерѣдко исчезаетъ, какъ волна въ океанѣ, логическій выводъ какой бы то ни было умной головы, — нѣчто даже ироническое, а вмѣстѣ съ тѣмъ, полное любви въ своей глубокой ироніи, изводящее изъ себя міры за мірами... Но этотъ кипящій океанъ жизни оставляетъ постепенные отсадки своего кипѣнія въ прошедшемъ,—и въ прошедшемъ, т. е. въ отсадкахъ-то этихъ, мы и можемъ уловлять органическіе законы совершившихся жизненныхъ процессовъ. Больше еще: имѣемъ право и возможность, уловивши въ отсадкахъ процессовъ нѣсколько повторившихся не разъ законовъ, умозаключать о возможности ихъ новаго повторенія, хотя, конечно, въ совершенно новыхъ, невѣдомыхъ намъ формахъ. Затѣмъ, такъ какъ отсадки могутъ быть разбиты на извѣстныя категоріи,—и такъ какъ каждая категорія жизненныхъ процессовъ можетъ быть названа извѣстнымъ именемъ,—это имя, составляющее, такъ сказать, душу процесса, становится для насъ на степень *силы жизненной*, породившей и руководившей этотъ процессъ.

<sup>1)</sup> Соч. А. Григорьева. Т. I, стр. 620—22.

«Мышленіе,—до тѣхъ поръ, пока пять, то, бишь... шесть умныхъ книжекъ не свели еще луну на землю,—шло всегда однимъ путемъ, путемъ обобщенія. Не искрененъ даже и такъ называемый нигилизмъ, тщательно скрывая отъ себя, что онъ тоже идетъ поневолѣ путемъ обобщенія» <sup>1)</sup>.

«Въ томъ-то и существеннѣйшая разница того взгляда, который я называю органическимъ, отъ односторонне-историческаго взгляда, что первый, т. е. органическій взглядъ, признаетъ за свою исходную точку творческія, непосредственныя, природныя, жизненныя силы; иными словами: не одинъ умъ съ его логическими требованіями и порождаемыми необходимо этими требованіями теоріями, а умъ и логическія его требованія—*плюсъ* жизнь и ея органическія проявленія.

«Логическія требованія голаго ума непремѣнно такъ или иначе достигаютъ своихъ, въ данную минуту крайнихъ, предѣловъ, и непремѣнно поэтому укладываются въ извѣстныя формы, въ извѣстныя теоріи. Прилагаемыя къ быстро-текущей жизни—формы эти оказываются несостоятельными чуть-что не въ самую минуту своего рожденія, потому что, вѣдь, онѣ сами въ сущности суть не что иное, какъ результаты сознанной, т. е. прошедшей жизни, и къ нимъ какъ нельзя болѣе прилагается глубокій стихъ изъ глубокаго стихотворенія Тютчева: *Silentium*—

„Мысль изреченная есть ложь“... <sup>2)</sup>

Григорьевъ мѣтко и смѣло формулируетъ сущность нигилизма.

«Теперь дѣло разъяснилось окончательно, — заявляетъ онъ,—дѣло въ томъ, что:

1) *Искусство*—вздоръ, годный только для возбужденія спящей человѣческой энергіи къ чему-либо болѣе существенному и важному, отмечаемый тотчасъ же по достиженіи какихъ либо положительныхъ результатовъ.

2) *Національности*, т. е. извѣстныя народныя организмы,—тоже вздоръ, долженствующій исчезнуть въ амальга-

<sup>1)</sup> Сочин. Ап. Григорьева. Т. I, стр. 618—19.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 624.

мировѣ, результатомъ которой долженъ быть міръ, гдѣ луна соединится съ землею.

3) *Исторія* (это было уже года два назадъ совершенно ясно сказано)—вздоръ, бессмысленная ткань нелѣпныхъ заблужденій, поворныхъ ослѣпленій и смѣшнѣйшихъ увлеченій.

4) *Наука*—кромѣ точной и положительной стороны, выражающейся въ математическихъ и естественныхъ знаніяхъ,—вздоръ изъ вздоровъ, бредъ, одуряющій безплодно человѣческія головы.

5) *Мышленіе*—процессъ совершенно вздорный, ненужный и весьма удобно замѣняемый хорошею выучкою пяти—виновать!—шести умныхъ книжекъ.

«А все-таки вертится!»—повторить невольно галилеевскія слова всякій человѣкъ, привыкшій къ зловредному процессу мышленія. Вѣдь, и эти результаты, въ концѣ концовъ отрицающіе значеніе мышленія, суть все-таки результаты мышленія,—какого тамъ ни на есть, но все-таки мышленія, а не пищеварительнаго процесса» <sup>1)</sup>).

«Такой моментъ сознанія, представляемый идеальнымъ Базаровымъ и идеальнымъ же нигилизмомъ, совершенно понятенъ, имѣетъ совершенно законное мѣсто въ общемъ процессѣ человѣческаго сознанія,—и вотъ почему, отъ души смѣясь надъ фактами, т. е. надъ тѣмъ или другимъ изъ дурапныхъ представителей такъ называемаго нигилизма, я никакъ не позволю себѣ смѣяться надъ самою струею, надъ самымъ вѣяніемъ, которыя—удачно тамъ или нѣтъ—окреплены этимъ прозваніемъ,—еще менѣе способенъ отрицать органически-историческую необходимость этой отрыжки материализма въ новыхъ формахъ. Но, что эта органически-необходимая отрыжка—не болѣе какъ моментъ, въ этомъ тоже не разувѣрять меня никакія мечты о бѣлыхъ Арапіяхъ.

«Мышленіе, наука, искусство, національности, исторія—вовсе не ступени какого-то прогресса, вовсе не шелуха, отмѣтаемая человѣческимъ духомъ тотчасъ же по достиженіи ка-

---

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 626.



кихъ-либо положительныхъ результатовъ, а вѣчная, органическая работа вѣчныхъ же силъ, присущихъ ему, какъ организму» <sup>1)</sup>).

Во второмъ письмѣ «Парадоксовъ органической критики» авторъ, какъ многіе правильно замѣчаютъ, какъ бы уклоняется въ сторону отъ поставленной имъ себѣ задачи и разсуждаетъ объ идеализмѣ Виктора Гюго, указывая родство его воззрѣній, какъ передовыхъ идей вѣка, съ міросозерцаніемъ Шеллинга, Карлейля и натурфилософовъ; въ заключеніе же статьи перечисляетъ пособія, въ которыхъ находятся основанія органической критики: сочиненія Шеллинга, Карлейля, Эмерсона, Эрнеста Ренана, Бокля, Льюиса и Гете; славянофиловъ Хомякова, К. Кирѣевскаго, К. Аксакова, а также Бѣлинскаго до второй половины 40-хъ годовъ.

Такъ возвышенно мыслить, чувствовалъ и жилъ Аполлонъ Александровичъ. Между тѣмъ судьба немилосердно бичевала его своими назойливыми вторженіями въ его святая святыхъ. «Намъ неизвѣстно, говоритъ «Русская Сцена»,—какова была жизнь его въ прежніе годы, но въ послѣднее время онъ былъ видимо несчастливъ: Богъ вѣсть, вслѣдствіе какихъ душевныхъ потрясеній и житейскихъ невзгодъ имъ овладѣла пагубная страсть, отъ которой погибло столько даровитыхъ людей на Руси. Мы не видимъ причины скрывать отъ публики это грустное обстоятельство и думаемъ, что, высказывая его, не оскорбляемъ чувства почтенія, которое другіе къ нему питали... Лѣтомъ нынѣшняго года его постигло новое бѣдствіе; сдѣлавши, по недостатку средствъ, въ теченіе довольно долгаго времени, долгъ въ нѣсколько сотъ рублей, онъ не нашелъ средствъ выплатить ихъ въ короткій срокъ, кредиторы не согласились отсрочить ему уплату долга,—и онъ попалъ въ «Отдѣленіе несостоятельныхъ должниковъ». Обстоятельство это сильно подѣйствовало на его воображеніе; но онъ скоро оправился, нравственно возсталъ, началъ усердно, лихорадочно работать, надѣясь приобрести сумму, необходимую для покрытія

---

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 627.

накопившихся долговъ <sup>1)</sup>; торопилъ печатаніемъ перевода «Ромео и Джульета», самъ держалъ вторую корректуру и много рассчитывалъ получить отъ постановки этой драмы на сценѣ, такъ какъ ему обѣщано было принять ее на перспективную плату. Но прежде, чѣмъ онъ могъ привести въ исполненіе свои намѣренія,—благородная русская женщина, А. И. Б—кова, узнавъ о его стѣсненномъ положеніи, внесла за него всю слѣдовавшую сумму денегъ, около 400 рублей, и освободила его изъ заключенія. А. А. Григорьевъ былъ глубоко потрясенъ этою неожиданностью и сочувствіемъ къ его участи со стороны почтенной дамы, къ которой онъ имѣлъ самыя отдаленныя отношенія <sup>2)</sup>.

Заключеніе въ «Долговомъ отдѣленіи» при всемъ расположеніи тюремнаго начальства къ Аполлону Александровичу, къ которому, какъ къ писателю, тамъ съ особеннымъ уваженіемъ и снисхожденіемъ относился одинъ добродушный старичекъ, иногда отпускавшій узника въ городъ на честное слово воротиться назадъ ночевать,—не могло не разстроить критика душевно и не расшатать окончательно его здоровья. Нервное состояніе его было поколеблено настолько сильно, что друзья и всѣ, сердечно любившіе его, принуждены были ходить за нимъ, какъ за капризнымъ ребенкомъ, но, повидимому, уже приближался плачевный конецъ: ни теплое участіе, ни денежная помощь не спасли разбитаго человѣка. «Освобожденіе А. А. Григорьева изъ «Долговаго отдѣленія», говоритъ сынъ критика, случившееся неожиданно, по желанію одной незнакомой ему дамы, вмѣсто того, чтобы привести къ чему-нибудь лучшему, не измѣнило хода дѣла; странно сказать—можно даже поду-

---

<sup>1)</sup> Вотъ что писалъ онъ намъ въ одномъ изъ своихъ писемъ: „Волею судьбы и, пожалуй, собственнаго безобразія и безалаберности, я попалъ въ „Долговое Отдѣленіе“, что, впрочемъ, нынѣ мало меня печалитъ, ибо я сижу и работаю: пишу статьи для „Эпохи“ и отдѣлываю для васъ „Ромео и Джульету“,—такъ что теперь, несомнѣнно, она поспѣетъ къ 1 августа. Для меня очень важно напечатаніе ея въ сентябрѣ. Но, кромѣ того, по поводу драмы надумалась мнѣ во все это время лхая статья въ видѣ Дружининскаго послѣловія къ „Діу“.

<sup>2)</sup> „Русская Сцена“ 1864 г. № 9.

мать, что оно ускорило смерть его; онъ умеръ черезъ четыре дня послѣ своего освобожденія, умеръ совершенно одинокій, въ пустой квартирѣ, нанятой въ Гусевомъ переулкѣ» <sup>1)</sup>).

За десять дней до кончины его другъ Ник. Ник. Страховъ посѣтилъ его въ «Долговомъ отдѣленіи» и былъ пораженъ его крѣпостью духа, при всемъ упадкѣ физическихъ силъ. Изнуренный, блѣдный критикъ продолжалъ, по обыкновенію, восторженно и горячо обсуждать вопросы журнальной полемики, борьбу «съ извѣстными сторонами славянофильства», присовокупивъ по поводу статьи, помѣщенной въ «Эпохѣ» подъ названіемъ «Славянофилы побѣдили!» — «И вотъ шатаюсь я тутъ всю ночь по коридору, пью чай и всю ночь какъ будто разговариваю съ тобою, съ Бѣляевымъ, съ Аксаковымъ... Спорю, опровергаю, самъ дѣлаю себѣ возраженія, и все это съ такою ясностью, съ такою силою, что, если бы записать все, что я передумалъ, то вышла бы превосходная статья, какую я только способенъ написать». «Воодушевленіе Григорьева, по словамъ Н. Н. Страхова, отличалось на этотъ разъ какою-то особенною живостью и силой. Тутъ невольно могло прійти на мысль, что «есть въ жизни что-нибудь повыше личнаго страданія». Передъ этимъ человѣкомъ, больнымъ, одѣтымъ въ плохіе обноски и сидящимъ въ «Долговомъ отдѣленіи», который однако же всею душою погружается въ общій интересъ и о немъ одномъ думаетъ всю безсонную ночь, передъ этимъ человѣкомъ стало бы стыдно всякому, кто слишкомъ усердно носился бы со своими личными интересами» <sup>2)</sup>).

Въ тяжкомъ заключеніи онъ не разставался со своею другою-мыслью и въ уединеніи живѣе работало его воображеніе, ярче представляли его уму дорогіе образы. Здѣсь онъ закончилъ переводъ драмы Шекспира «Ромео и Джульета» и въ видѣ *post scriptum* къ ней сочинилъ сонетъ—посвященіе той, чьи прекрасныя черты носилъ неразлучно въ своей нѣжно-любящей душѣ:

---

<sup>1)</sup> А. Григорьевъ. Одинокій критикъ. „Книжки Недѣли“ 1895 г. № 9.

<sup>2)</sup> Тамъ же.

И все же ты, далекий призрак мой,  
Въ твоей бывалой дѣйственной святинѣ,  
Передъ очами духа всталъ нѣмой,  
Карающій и гнѣвно-скорбный нѣмѣ,

Когда я трудъ завѣтный кончилъ свой.  
Ты молвіей сверкнулъ въ глухой пустыни  
Больной души... Ты чистою струей  
Протекъ внезапно по сердечной тинѣ,

Гармоніей святою вторгся въ слухъ,  
Потрясъ въ душѣ сѣдалище Ваала—  
И все, на что насильно былъ я глухъ,

По ржавымъ струнамъ сердца пробѣжало  
И унеслось—„куда мой падшій духъ  
Не досягнетъ“—въ обитель идеала.

Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ палъ жертвою бо-  
лѣзненной раздражительности. 25 сентября 1864 года во  
время непріятнаго объясненія у себя на дому съ однимъ изда-  
телемъ, онъ разгорячился и скончался отъ удара <sup>1)</sup>).

Тѣло его погребено въ С.-Петербургѣ на Митрофаньевскомъ  
кладбищѣ, недалеко отъ главнаго собора и близъ могилы Л.  
А. Мея, «съ которымъ, по справедливому замѣчанію «Библію-  
теки для чтенія», такъ много общаго было въ ихъ дарова-  
ніяхъ, равно какъ и въ судьбѣ» <sup>2)</sup>).

Вдова покойнаго вмѣстѣ съ двумя сыновьями: 14-лѣтнимъ  
Петромъ и 12-лѣтнимъ Александромъ—постоянно жила въ  
Москвѣ. Въ настоящее время никого изъ семьи Ап. Гри-  
горьева не осталось въ живыхъ. Сыновья его умерли недавно,  
но у критика есть внуки.

Періодическая печать, особенно «Эпоха», «День», «Рус-  
ская Сцена», «Библіотека для чтенія», «Отечественныя За-  
писки» и ин. др. органы,—отозвалась съ глубокой скорбью о потерѣ  
въ лицѣ скончавшагося Аполлона Александровича Григорьева  
истиннаго критика, честнѣйшаго писателя и лучшаго на Руси  
человѣка; друзья же его: Н. Н. Страховъ, Д. В. Аверкіевъ,

<sup>1)</sup> „Русская Сцена“ 1864 г. № 9.

<sup>2)</sup> „Библіотека для чтенія“ 1864 г. № 8.

Ө. М. и М. М. Достоевскіе утратили въ немъ любимаго соработника, единомышленника въ священномъ для нихъ дѣлѣ пробужденія національнаго самосознанія и унесли въ своей груди его завѣтныя мечты, надежды, думы и порывистыя благія стремленія къ любви, правдѣ и народной самобытности.

Аполлонъ Григорьевъ умеръ такъ, какъ онъ желалъ умереть, оставаясь по гробъ горячо преданнымъ своимъ принципамъ. Въ дѣйствительности какъ бы оправдалось пророчество критика; Н. Н. Страховъ передаетъ слѣдующій случай. Однажды, «когда А. Н. Майковъ читалъ въ кругу знакомыхъ свою еще ненапечатанную поэму: «Смерть Люція», Григорьевъ послѣ чтенія воскликнулъ: «Я умру, какъ Люцій! Ни отъ чего не отрекаясь!»

---

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Одинокое положеніе критика при жизни и по смерти въ русской литературѣ. — Причины непопулярности трудовъ А. Григорьева, по мнѣнію Н. Страхова, В. Маркова, С. Трубочева, А. Галахова, Ф. Достоевскаго и Д. Аверкіева. — Выпускъ въ свѣтъ перваго тома сочиненій А. Григорьева въ 1876 г. и медленность распространенія книги — Открытіе памятника А. С. Пушкину въ Москвѣ и пробужденіе интереса къ критикѣ А. Григорьева. — 25 лѣтіе со дня смерти критика-самобытника и литературныя поминки по немъ.

Аполлонъ Григорьевъ при жизни чувствовалъ себя одинокимъ, такимъ же онъ остался и по смерти. Его плодотворная дѣятельность вмѣсто серьезной оцѣнки встрѣтила со стороны современниковъ по большей части искаженія, превратныя толкованія его основныхъ взглядовъ на искусство да ѣдкія насмѣшки; его идеи, какъ сѣмена вольно-цвѣтущаго растенія, были разсѣяны вѣяніями шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ; однакожь въ тѣхъ мѣстахъ, куда онъ упали, не всегда погибали безслѣдно: кое-гдѣ, пустивъ ростки, онъ напоминали о себѣ, скромно заявляя о своемъ давно почившемъ творцѣ.

Отрицательное направленіе критики, публицистическій характеръ литературы (и нигилизмъ, съ которыми вступилъ въ борьбу въ послѣдніе годы жизни Аполлонъ Григорьевъ, подъ перомъ Чернышевскаго, Писарева и Зайцева довольно успѣшно подрывали въ обществѣ вѣру въ великое значеніе художественныхъ созданій и выдвигали на первый планъ не эстетическіе интересы, а общественные и матеріальные. Вотъ что писалъ И. С. Аксаковъ по поводу смерти Аполлона Григорьева: «Намъ жаль его, — жаль исчезновенія людей неравнодушныхъ, даровитыхъ оригиналовъ, страстныхъ идеалистовъ — въ такое время, когда реализмъ, интересы временно - политическіе и чисто-практическіе, вмѣстѣ съ отвращеніемъ отъ отвлеченной работы мысли и подвиговъ духа, вмѣстѣ съ низменностью нравственныхъ идеаловъ, съ такою властью водворяются въ

нашемъ обществѣ и литературѣ» <sup>1)</sup>). При подобныхъ теченіяхъ мысли, естественно, сочиненія критика-самобытника постепенно забывались обществомъ, которое и безъ того уже было мало или почти совсѣмъ не знакомо съ ними и предубѣжденно настроено противъ личности покойнаго.

Но, кромѣ чисто внѣшнихъ причинъ отчужденнаго положенія талантливаго писателя, въ равное время выставлялись на видъ и внутреннія. Н. Н. Страховъ объ этомъ думаетъ такъ: «Одна изъ прямыхъ и простыхъ причинъ этого заключается въ малой доступности для читающихъ самаго рода его писаній. Критика, по существу дѣла, есть нѣкоторое философское разсужденіе, и слѣдовательно требуетъ особаго упражненія и усилія мысли. Къ внутреннимъ (причинамъ) принадлежитъ, примѣръ, широта и многосторонность мысли, затрудняющая пониманіе и мѣшающая самому писателю выражать свой взглядъ рѣзкими формулами и итогами <sup>2)</sup>). Другой критикъ, Василій Марковъ, возражаетъ противъ этого мнѣнія: «Напрасно приписывать это одному только непониманію или равнодушію читающей массы. Мы полагаемъ, что главнымъ образомъ тому мѣшала недостаточная опредѣленность взглядовъ и симпатій критика, безформенность общихъ началъ, въ которыхъ онъ терялся, а прежде всего—то, что онъ не отзывался на «думу» времени, на его запросы, не подмѣтилъ тѣхъ стремленій своей эпохи, которыя были самою характеристическою, преобладающею ея чертою. Онъ расплывался въ своихъ симпатіяхъ и не имѣлъ вполне опредѣленнаго знамени, съ недвусмысленнымъ, яснымъ девизомъ. Ап. Григорьевъ часто сердился, что его не понимаютъ, что его упрекаютъ въ неясности» <sup>3)</sup>). Весьма характеристично и мнѣніе С. С. Трубочева по данному вопросу. «Ап. Григорьевъ при жизни не пользовался такимъ успѣхомъ и такой популярностью, какъ его современники критики-публицисты, хотя критическія статьи зрѣлаго періода его дѣятельности обнимаютъ тринадцать лѣтъ (1851—1864 гг.), время

<sup>1)</sup> „День“ 1864 г. № 40, стр. 20.

<sup>2)</sup> Сочиненія Аполлона Григорьева. Т. I. Предисловіе.

<sup>3)</sup> Василій Марковъ. На-встрѣчу. Спб. 1878 г. стр. 280—1.

немного меньше, чѣмъ дѣйствовалъ Бѣлинскій (1834—1848 гг.), не говоря уже о Добролюбовѣ и Писаревѣ, которые оба умерли до тридцати лѣтъ, при чемъ Добролюбовъ, напр., подвигался на критическомъ поприщѣ всего четыре года. Непопулярность Ап. Григорьева объясняется, съ одной стороны, общимъ характеромъ времени, когда главенствующая роль въ журналистикѣ и критикѣ принадлежала «Современнику» съ его публицистическими наклонностями, а съ другой стороны—характеромъ дѣятельности критика, который въ эпоху увлеченія злобой дня стоялъ въ сторонѣ отъ всякихъ текущихъ общественныхъ интересовъ. Противники-публицисты были до нѣкоторой степени правы, обвиняя Ап. Григорьева въ томъ, что всѣ его статьи составляютъ только «введеніе» къ критическимъ разбоямъ, что дальше введеній этотъ критикъ не пошелъ; что, широко задумавъ статью, чуть-чуть не съ яницъ Леды, критикъ на нихъ и останавливался, общая между тѣмъ продолженіе. Этотъ недостатокъ дѣйствительно былъ за Ап. Григорьевымъ, онъ любилъ писать къ своимъ статьямъ обширныя «вступленія» и на нихъ останавливаться» и т. д. <sup>1)</sup>). Въ другомъ мѣстѣ г. Трубачевъ, говоря о печальныхъ послѣдствіяхъ отрицательнаго отношенія критики къ Пушкину, замѣчаетъ: «Одинъ голосъ Ап. Григорьева былъ безсиленъ противъ хора настоячивыхъ голосовъ какъ критиковъ-публицистовъ, такъ и критиковъ-эстетиковъ. Притомъ даровитый критикъ не успѣлъ развить своихъ взглядовъ на Пушкина съ той полнотой и систематической опредѣленностью, которая была необходима для того, чтобы эти новые плодотворные взгляды упрочились въ общественномъ сознаніи» <sup>2)</sup>).

А. Д. Галаховъ неуспѣхи литературной дѣятельности Ап. Григорьева приписываетъ его склонности къ увлеченіямъ. «Но, съ другой стороны, замѣчаетъ онъ, въ умѣ и чувствѣ г-на Григорьева было *заложено* (выражаясь его словомъ) и такое свойство, которое много вредило ему въ жизни и не-

<sup>1)</sup> С. С. Трубачевъ. Пушкинъ въ русской критикѣ. Спб. 1889 г. Стр. 339—41.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 361.



рѣдко сбивало его съ прямого пути въ критику. Это свойство заключалось въ порывистости, эксцентричности увлеченій. Онъ увлекался не только сердцемъ, но и умомъ, можетъ быть,—еще чаще умомъ, чѣмъ сердцемъ. Головная восторженность обратилась у него почти въ критическое состояніе. Онъ самъ признавался въ такомъ грѣхѣ (если слово «грѣхъ» здѣсь уместно), какъ видно изъ перваго письма его къ Ф. М. Достоевскому (въ «Парадоксахъ органической критики»), гдѣ, между прочимъ, говорится: «На меня даже на время аскетическое настроеніе напало, чему ты, зная мою—ну хоть *головную*, если не сердечную *отзывчивость*, нисколько, конечно, не удивишься» (стр. 631). Пользуясь такою отзывчивостью, не трудно было другимъ по произволу двигать Григорьева въ ту или другую сторону, и еще легче было ему самому двигать себя, волноваться» <sup>1)</sup>.

Напротивъ, Ф. М. Достоевскій и Дм. В. Аверкиевъ ставили способность увлекаться Григорьеву въ достоинство, и первый даже замѣчаетъ, что фразу: «увлекался» «некрологисты его (изъ которыхъ, безъ сомнѣнія, рѣдкій и читалъ Григорьева) обратили въ пошлое выраженіе» <sup>2)</sup>. Съ своей стороны, Достоевскій неудачи Григорьева приписываетъ отсутствію въ немъ публицистической жилки, и по этому поводу сообщаетъ слѣдующее: «Я критикъ, а не публицистъ»,—говорилъ онъ мнѣ самъ нѣсколько разъ и даже незадолго до смерти своей, отвѣчая на нѣкоторые мои замѣчанія. Но всякій критикъ долженъ быть публицистомъ, въ томъ смыслѣ, что обязанность всякаго критика не только имѣть твердыя убѣжденія, но *умѣть* и проводить свои убѣжденія. А это *умѣлость* проводить свои убѣжденія и есть главнѣйшая *суть* всякаго публициста. Но Григорьевъ, судя о словѣ *публицистъ* съ предубѣжденіемъ,—по нѣкоторымъ частнымъ примѣрамъ бывшихъ у насъ публицистовъ,—не хотѣлъ даже и понимать, чего отъ него добивались, и кто знаетъ, по своей

<sup>1)</sup> „Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія“ 1877 г., январь. Стр. 116.

<sup>2)</sup> „Эпоха“ 1864 г., сентябрь.

гамлетовской /мнительности, можетъ быть, думалъ, что отъ него добиваются отступничества» <sup>1)</sup>).

Таковы причины, обусловливавшія незавидное положеніе Ап. Григорьева въ обществѣ и въ печати и при жизни и по смерти критика, но есть еще не мало мнѣній по данному вопросу, не заслуживающихъ, впрочемъ, вниманія, потому что принадлежать нерѣдко лицамъ, которыя одною рукою глядятъ покойника по головѣ, а другою въ то же время фарисейски бьютъ его по щекамъ.

Относительно неясности, неопредѣленности изложенія мыслей и частой повторяемости въ критическихъ статьяхъ А. Григорьевъ, самъ признавая нѣкоторую темноту въ своемъ слогѣ, говорилъ:—«самый несносный зудъ появляется у мысли, родившейся органически и не досказавшейся, или принужденной досказываться отрывками: невольныя повторенія вкрадываются въ такіе, лишенные видимой стройной связи съ цѣлымъ, отрывки; невольные намеки лишають ихъ желаемой ясности. Потому: вѣдь, мнѣ тоже хотѣлось бы писать ясно, конечно, только не до степени той *соблазнительной* ясности, которую такъ удачно заклеимилъ этимъ эпитетомъ другъ нашъ Косица: поставлять умственную «жеваницу» для поколѣнія, большого собачьей старостью, я, сколь ни скромно думаю о себѣ,—однако не въ состояніи. Желаемая же мною ясность можетъ быть достигнута только органическимъ ходомъ органической мысли» <sup>2)</sup>).

Что же касается обвиненій въ отсутствіи цѣлостности и законченности въ критикѣ Ап. Григорьева, то Д. В. Аверкіевъ защищаетъ своего друга, ссылаясь на слѣдующіе доводы: «Ставить увлеченія въ упрекъ человѣку значить не знать человѣческой природы; кто ни разу не увлекался, тотъ ни разу не говорилъ правды. Работая въ этомъ направленіи, Григорьевъ боялся, чтобы новые результаты работы не приняли формы законной теоріи. Вотъ почему изъ славянофиловъ съ самымъ большимъ сочувствіемъ онъ относился къ Хомякову. Ясный и

<sup>1)</sup> Тамъ же.

<sup>2)</sup> Сочиненія Ап. Григорьева. Т. I, стр. 616.

и многосторонній умъ Хомякова былъ также противъ замкнутости теорій» <sup>1)</sup>).

Такой же взглядъ на причины обособленности Григорьева высказало въ своемъ некрологѣ «Народное Богатство»: «Замѣченный страстнымъ борцомъ за русскую мысль и русское развитіе, Григорьевъ оставался неоцѣненнымъ и незамѣченнымъ большинствомъ публики и даже литераторовъ, и посреди именъ, превозносимыхъ на минуту и чрезъ минуту умирающихъ, имя его произносилось очень рѣдко и то съ какимъ-то страннымъ оттѣнкомъ; онъ не отвѣчалъ тѣмъ требованіямъ, которыя неслись со всѣхъ сторонъ; къ своеобразной оригинальности его мысли и выраженія не былъ приготовленъ

И пораженъ бывалъ лишь мелькомъ свѣтъ  
Его лица необщимъ выраженіемъ.

Гдѣ же причина? Какъ всѣ умы широкіе, Григорьевъ не могъ замкнуть себя въ узкую доктрину, послѣднее прибѣжище и послѣдній оплотъ всякой ограниченности; но онъ не былъ гениемъ, чтобы создать свою собственную, цѣльную систему, способную увлечь за собою, по крайней мѣрѣ, многихъ. Полный вѣры и въ то же время скептикъ по натурѣ, онъ въ своихъ произведеніяхъ не разъ стоялъ на томъ рубежѣ, который давно выразился Альфредомъ Мюссе въ введеніи къ «Коллѣ»; потому, не бывши славянофиломъ, онъ во многомъ сочувствовалъ этому во многихъ отношеніяхъ широкому и высокому ученію, и въ то же время умѣлъ, какъ человѣкъ въ высшей степени правдивый, осуждать его увлеченія» <sup>2)</sup>).

Какъ бы то ни было, но фактъ скорого забвенія А. Григорьева современнымъ ему обществомъ остается безотраднымъ явленіемъ. Судьба большинства русскихъ поэтовъ и писателей не миновала и критика-самобытника.

По-истинѣ, горькая участь постигла труды Аполлона Григорьева. Несмотря на теплое участіе въ немъ и на заботы его ближайшихъ друзей вскорѣ послѣ его смерти о выпускѣ въ свѣтъ его сочиненій, до сихъ поръ еще не имѣется въ печати

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г., августъ.

<sup>2)</sup> „Народное Богатство“ 1864 г. № 212.

полнаго собранія ихъ, за исключеніемъ одного тома, изданнаго покойнымъ Николаемъ Николаевичемъ Страховымъ въ 1876 году. Со стороны друга Аполлона Григорьева это изданіе было настоящимъ подвигомъ, и теперь на протяженіи тридцати пяти лѣтъ можетъ считаться знаменательнымъ событіемъ въ нашей умственной жизни вообще и въ нашихъ отношеніяхъ къ отечественному мыслителю въ частности. Выходъ въ свѣтъ перваго тома критическихъ статей Аполлона Григорьева — явленіе весьма достопримѣчательное, потому что эта цѣнная по мыслямъ книга не встрѣтила поддержки ни со стороны ученаго міра, ни со стороны общества, которое какъ-то холодно иногда относится къ своимъ скромнымъ дѣятелямъ. Толстые журналы или обошли ее полнымъ молчаніемъ или обмолвились, подобно «Вѣстнику Европы», нѣсколькими словечками въ пользу автора и его издателя въ «Библиографическомъ листкѣ». Изъ болѣе обстоятельныхъ отзывовъ о ней можно упомянуть лишь замѣтки А. Д. Галахова въ январьской книжкѣ «Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія» 1877 г. и Василя Маркова въ его книгѣ «На-встрѣчу». Первый томъ, по заявленію Н. Н. Страхова, былъ пробнымъ шаромъ; за нимъ въ случаѣ спроса со стороны публики издатель собирался напечатать еще три тома. Но послѣдній обманулся въ своихъ надеждахъ: сочиненія Аполлона Григорьева залежались на полкахъ магазиновъ и въ половинѣ 80-хъ годовъ перешли въ руки уличныхъ книгопродавцевъ по значительно пониженной цѣнѣ (вмѣсто 3 руб. за 75 коп.).

Быть можетъ, изданіе книги совпало съ началомъ войны, отвлекшей вниманіе всего русскаго общества отъ философскихъ идей къ жгучимъ вопросамъ живой дѣйствительности, и этимъ слѣдуетъ объяснить задержку въ ея распространеніи. Но, къ сожалѣнію, приходится узнавать, что многіе изъ молодежи и интеллигенціи вовсе не слышали имени покойнаго критика ни на школьной скамьѣ, ни въ жизни. Лучшимъ подтвержденіемъ этого служить признаніе преждевременно скончавшагося въ 1896 году критика Ю. Николаева (Отрока—Говорухи), который о своемъ первомъ знакомствѣ съ сочиненіями Ап.

Григорьева такъ вспоминалъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ»: «Мнѣ кажется, Н. Н. Страховъ нѣсколько ошибается. Имя А. Григорьева было извѣстно развѣ только въ литературныхъ кружкахъ—да и то лишь его имя, а не его произведенія,—что касается читающей публики, то тамъ даже имя Григорьева мало знали или вовсе не знали. Теперь это имя извѣстно гораздо больше, но и опять-таки только имя, а не произведенія. Во время же дѣятельности Григорьева, его знали развѣ по насмѣшливымъ выходкамъ противъ него Добролюбова.

«Помню, какъ я узналъ объ А. Григорьевѣ. Это было въ половинѣ семидесятыхъ годовъ. Я былъ почти еще мальчикомъ, зачитывался чуть не до заучиванія наизусть Бѣлинскимъ и Герценомъ, зналъ также Добролюбова и Писарева, хотя ни тотъ, ни другой не производили на меня впечатлѣнія; но объ А. Григорьевѣ не слыхалъ ничего. Случилось это очень просто; когда я обращался къ «развитымъ» и даже «ученымъ» людямъ (къ профессорамъ, напримѣръ), мнѣ указывали Бѣлинскаго, Герцена, Добролюбова, Писарева, но никто не говорилъ объ А. Григорьевѣ. Въ тогдашней же популярной журналистикѣ о немъ уже вовсе не упоминали, не было даже насмѣшекъ надъ нимъ.

«Объ А. Григорьевѣ въ первый разъ я узналъ совершенно случайно. Въ половинѣ семидесятыхъ годовъ я попалъ въ Петропавловскую крѣпость, куда меня посадили, какъ подсѣдственнаго арестанта по обвиненію въ политическомъ преступленіи. Въ первое время (въ продолженіе цѣлаго года, пока длилось дознаніе) книгъ «съ воли» получать было нельзя. Единственная книга, которую я имѣлъ, было Евангеліе: я напелъ его въ камерѣ на своемъ столикѣ. Потомъ мнѣ позволили купить Библію. Съ полгода я только и имѣлъ Библію и Евангеліе. Но потомъ стали давать книги изъ крѣпостной бібліотеки. Откуда взялась и какъ составилаь эта бібліотека—не знаю. Въ ней было съ полсотни разрозненныхъ томовъ. Были тутъ двѣнадцать томовъ исторіи Соловьева, разрозненные томы Костомарова, старые журналы: *Вѣстник*

*Европы, Современникъ*, тоже большею частью разрозненные; были и кое-какія книжки *Времени* и *Эпохи*. Тутъ-то я прочелъ нѣкоторыя статьи Григорьева, которыя явились для меня какъ бы новымъ откровеніемъ...

«Черезъ три года, когда меня освободили, я досталъ себѣ первый томъ сочиненій Григорьева, изданный Н. Н. Страховымъ. Въ этомъ первомъ томѣ собрано все самое существенное, что писалъ Григорьевъ. Я прочелъ этотъ первый томъ, и впечатлѣніе было неотразимое. Впечатлѣніе это обусловливалось не глубокимъ пониманіемъ идей Григорьева; тогда я еще мало былъ подготовленъ къ такому пониманію ихъ; впечатлѣніе это производила та искренность и та безграничная любовь къ литературѣ, которыя свѣтятся въ каждой строчкѣ, написанной Григорьевымъ. «Въ литературѣ, какъ и въ жизни, всегда были, есть и будутъ—

....вездѣ встрѣчаемыя лица,  
Необходимые глупцы...

И вотъ эти-то «необходимые глупцы», если они научились писать бойко и развязно, часто имѣютъ успѣхъ, часто заслоняютъ собою такихъ писателей, какъ А. Григорьевъ» <sup>1)</sup>.

Открытіе памятника Пушкину въ Москвѣ въ 1880 году произвело сильный переворотъ въ воззрѣніяхъ общества на литературу, и съ этого времени интересъ къ поэзіи быстро возрастаетъ не только въ печати, но и въ молодомъ поколѣніи, проявляющемъ постепенно наклонность къ идеализму. Имя А. Григорьева, какъ истолкователя Пушкина, все чаще и чаще раздается вмѣстѣ съ именемъ великаго поэта съ кафедры въ С.-Петербургскомъ Университетѣ, гдѣ покойные нынѣ профессора Орестъ Ѳеодоровичъ Миллеръ и Александръ Ильичъ Незеленовъ съ любовью развиваютъ передъ своими слушателями эстетическіе взгляды критика-самобытника.

Наконецъ, въ 1889 году исполнилась четверть вѣка со смерти Ап. Григорьева и представители періодической печати

<sup>1)</sup> Ю. Николаевъ. А. А. Григорьевъ. (По поводу исполнившагося тридцати лѣтъ со дня его смерти). „Московскія Вѣдомости“ 1894 г. № 266.

безъ различенія знамени единогласно совершили поминки по славномъ мыслителѣ земли Русской. Памяти покойнаго было посвящено много статей. Между ними первое мѣсто занимаетъ теплое слово Н. Н. Страхова, напечатанное въ «Новомъ Времени» и сообщающее интересные факты о посмертной участи А. Григорьева въ связи съ развитіемъ нашей литературы <sup>1)</sup>. «Четверть столѣтія, писалъ критикъ-философъ,— долгое время для нашей краткой жизни! Но, если бы онъ (Григорьевъ) всталъ изъ могилы, что новаго нашелъ бы онъ въ русской литературѣ, составлявшей всегдашній предметъ его мыслей. Вѣроятно, онъ былъ бы очень удивленъ медленностью нашего развитія. Въ самомъ дѣлѣ, при немъ уже были на лицо и громко заявили себя всѣ силы, дѣятельность которыхъ наполняетъ это двадцатипятилѣтіе. Въ публицистикѣ уже тогда были въ полномъ цвѣтѣ петербургскій нигилизмъ и два московскихъ соперника—Катковъ и Аксаковъ. Въ беллетристикѣ уже стояли на высшей своей точкѣ Тургеневъ, Островскій, Писемскій, пожалуй, и Салтыковъ. Всѣ, кого мы называли, лишь недавно окончили свою дѣятельность, но лучшее свое поприще прошли уже при Григорьевѣ, а потомъ только понижались, иногда даже черезчуръ замѣтно. Наоборотъ, два писателя, Достоевскій и Л. Н. Толстой, вполнѣ раскрыли свои силы, приобрѣли значеніе, можно сказать, отодвинувшее на второй планъ всѣхъ предыдущихъ, только послѣ смерти Григорьева. Но и при немъ они уже очень опредѣлились, и имена ихъ стояли въ первомъ ряду. Наконецъ, поэты въ тѣсномъ смыслѣ были тогда тѣ же и имѣли тотъ же стосительный вѣсъ, какой мы имъ теперь придаемъ: изъ покойныхъ—Тютчевъ и Некрасовъ, изъ живыхъ—Майковъ, Полонскій и Фетъ.

«Разгадка этой остановки, кажется, одна: мы перенесли въ это время тяжкую и страшную болѣзнь—нигилизмъ; въ «интеллигенціи» возникло злокачественное броженіе, которае

---

<sup>1)</sup> Н. Страховъ. Поминки по Аполлонѣ Григорьевѣ (1822—1864). „Новое Время“ 1889 г. 25 сентября, № 4876.

принимало различныя формы, обострялось и притихало, и разразилось, наконецъ, безумнымъ злодѣйствомъ 1-го марта. Мы жили среди колебанія умовъ и душъ, постоянно отвлекавшаго вниманіе, не дававшего зрѣть никакимъ зачаткамъ.

«Но, если новыхъ талантовъ почти не появлялось, то литература все-таки продолжала расти и развиваться, такъ сказать, вопреки нигилизму.

«Аполлонъ Григорьевъ есть писатель, значенію котораго тоже суждено возрастать вмѣстѣ съ развитіемъ нашего литературнаго сознанія.... При жизни онъ не имѣлъ никакого успѣха у читателей и былъ совершенно затертъ тѣми, кого онъ называлъ «теоретиками». Хотя имя его и тогда уже было громко, но оно приобрѣло свой вѣсъ только между писателями, которые не могли же не чувствовать его силы, если только были сколько-нибудь проницательны. Не только онъ былъ глубоко образованный человекъ, знавшій языки, начитанный, посвященный въ философію, но и очевидный блескъ зрѣлаго ума и тонкость пониманія ставили его далеко выше другихъ. Между тѣмъ, писанія его были не по вкусу и не по плечу публикѣ и проходили безслѣдно, лишь изрѣдка привлекая иного чуткаго читателя, который за то ужъ становился ихъ жаркимъ поклонникомъ. Та же судьба преслѣдовала его и за гробомъ. Когда въ 1876 г. былъ изданъ первый томъ его сочиненій, очень большая книга, содержащая всѣ его главныя, руководящія статьи, то это изданіе сразу, что называется, сѣло и почти вовсе не шло цѣлыя десять лѣтъ. Какимъ образомъ случился поворотъ въ этомъ дѣлѣ? Судя по всему, большая роль здѣсь принадлежитъ профессорамъ русской словесности, изъ которыхъ мы можемъ назвать А. Д. Галахова, О. Θ. Миллера и А. И. Незеленова. Они въ своихъ ежегодныхъ курсахъ натвердили студентамъ имя Григорьева, какъ замѣчательнаго критика. Какъ бы то ни было, но только, вообще, значеніе Григорьева, незримо для текущей литературы, очень возросло къ послѣднему времени, и, когда цѣна на его книгу была сильно сбавлена, она разошлась съ удивительной быстротою; отъ 2,000 экземпляровъ осталось уже очень мало. Правда, пришлось



прибѣгнуть къ тѣмъ лавочкамъ, которыя умѣютъ лучше продавать, чѣмъ магазины» <sup>1)</sup>).

Утромъ 25 сентября на Митрофаньевскомъ кладбищѣ въ лѣвомъ придѣлѣ стараго деревяннаго собора была отслужена заупокойная обѣдня и панихида по Ап. Григорьевѣ, на которой помянули также имена Бориса Алмазова, Евгенія Эдельсона, Прова Садовскаго и Александра Островскаго. Вмѣстѣ съ родными покойнаго собрались почтить память критика государственнын контролеръ Т. И. Филипповъ, артисты М. И. Писаревъ, И. О. Горбуновъ, литераторы Н. Н. Страховъ, Д. В. Аверкиевъ, С. В. Максимовъ, Г. П. Данилевскій, проф. А. И. Незеленовъ, Н. Потѣхинъ, К. К. Случевскій и многіе изъ молодыхъ писателей. Послѣ литіи на могилѣ А. Григорьева поэтъ К. К. Случевскій прочелъ глубоко прочувствованное стихотвореніе.

Но праздникъ прошелъ,—и періодическая печать какъ бы повторила народную пословицу: «Полно, отрезвонилъ и съ колокольни долой!». Вновь воцарилось глубокое молчаніе. Только сынъ критика, Александръ Аполлоновичъ, вспомнилъ о своемъ отцѣ и помѣстилъ въ 1895 году въ августовской и сентябрьской «Книжкахъ Недѣли» біографическія данныя о немъ да въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» въ 1894 году Ю. Николаевъ напечаталъ фельетонъ въ день тридцатилѣтія кончины критика.

Въ нынѣшнемъ году приближается тридцатипятилѣтіе смерти А. Григорьева, совпадающее со столѣтней годовщиной А. С. Пушкина, а между тѣмъ пока ничего не слышно объ изданіи его сочиненій. Чѣмъ заслужилъ Аполлонъ Григорьевъ или, напримѣръ, писатель Рѣшетниковъ, которые посвятили всѣ лучшія свои силы и стремленія на благо родного народа для облегченія его духовныхъ и матеріальныхъ невзгодъ,—чѣмъ заслужили эти многострадальные труженики и поборники самобытности русской такого пренебреженія и равнодушія соотечественниковъ къ своимъ талантамъ?

<sup>1)</sup> Н. Страховъ. Помянки по Аполлонѣ Григорьевѣ (1822—1864) „Новъе Время“ 1889 г. 25 сентября № 4876.

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Наружность и здоровая, крѣпкая натура Ап. Григорьева. — Духовный складъ его: сходство съ Гамлетомъ, Чацкимъ и Донъ-Кихотомъ. — Положительныя и отрицательныя стороны его характера. — Основныя свойства его личности; отраженіе въ ней стихій народнаго духа и богатство индивидуальных особенностей: его идеализмъ, энтузіазмъ, даровитость. — Частная жизнь Ап. Григорьева: отсутствіе склонности въ критику къ семейной оскѣдлости и супружеская рознь Григорьевыхъ, по объясненію ихъ сына; горячая привязанность А. А. къ предмету своей прежней любви; отношенія къ друзьямъ и постороннимъ лицамъ; демократизмъ А. А. и простой образъ жизни, нерасчетливость и непрактичность, неумѣнье распределять время и непостоянство въ трудѣ, злоупотребленіе напитками и печальныя послѣдствія. — Артистическая натура Григорьева. — А. А., какъ многосторонне образованный, начитанный, гуманный, искренній и честный писатель. — Критическій талантъ его, отличительныя черты его мышленія и оцѣнки литературныхъ явленій. — Заслуги Григорьева въ исторіи русской критики и господствующее разногласіе о мѣстѣ, занимаемомъ имъ въ ней: сторонники первенства В. Г. Бѣлинскаго и сопоставленіе дарованія и дѣятельности Григорьева со значеніемъ критики Н. А. Добролюбова. — Послѣдователи А. А. Григорьева: Н. Н. Страховъ и Ю. Николаевъ. — Важная роль покойнаго критика въ дѣлѣ пробужденія народнаго самосознанія и умственнаго и эстетическаго развитія русскаго общества; возможно-широкое распространеніе его идей, какъ лучшій памятникъ ему; стихотвореніе К. К. Случевского.

Симпатичное лицо Аполлона Александровича Григорьева воплотило въ себѣ лучшія стихіи человѣческой природы: физическое здоровье, твердость духа, сосредоточенность, трезвость, глубину и стройность мысли, рѣзкую прямогу, благородство и нѣжность сердца, страстность чувства, живую порывистость къ дѣятельности.

По описанію Н. Н. Страхова, «онъ былъ средняго роста и имѣлъ прекрасную наружность, поражающую соединеніемъ силы и граціи; въ немъ дѣйствительно была грандіозность, такъ шедшая къ его напряженной натурѣ. Сѣрые глаза, небольшие, но замѣчательно далеко разставленные одинъ отъ другого, имѣли необыкновенный блескъ, поразившій меня, замѣчаетъ другъ критика, когда я его увидѣлъ въ первый разъ.

Носъ орлиный. Руки, съ которыми онъ обращался крайне небрежно, были малы, нѣжны и красивы, какъ у женщины».

Въ другомъ мѣстѣ тотъ же писатель говоритъ, что Григорьевъ «обладалъ могучимъ здоровьемъ, которое не подвергалось никакимъ вліяніямъ климата, и, казалось, безъ ущерба выносилъ всѣ излишества, которымъ ему случалось предаваться» <sup>1)</sup>).

По своему душевному складу Аполлонъ Григорьевъ національной самобытностью, пылкостью характера и твердостью убѣжденій напоминалъ Чацкого; самъ онъ находилъ въ себѣ много общаго съ Донъ-Кихотомъ; О. М. Достоевскій его причисляетъ къ гамлетовскимъ натурамъ, созданнымъ на русской почвѣ. «Григорьевъ, по его опредѣленію, былъ хоть и настоящій Гамлетъ, но онъ, начиная съ Гамлета Шекспирова и кончая нашими русскими современными Гамлетами и гамлетиками, былъ одинъ изъ тѣхъ Гамлетовъ, которые менѣе прочихъ раздваивались, менѣе другихъ и рефлексировали. Человѣкъ онъ былъ непосредственно, и во многомъ даже себѣ невѣдомо, — почвенный, кряжевой. Можетъ быть, изъ всѣхъ своихъ современниковъ онъ былъ наиболѣе русскій человѣкъ, какъ натура (не говорю, какъ идеаль; это разумѣется). Отъ этого и происходило, что малѣйшій порывъ свой въ общемъ дѣлѣ онъ считалъ до того *кровнымъ* и необходимымъ для *всего* дѣла, до того неразрывнымъ съ дѣломъ, что малѣйшее неудовлетвореніе этому порыву казалось ему иногда паденіемъ всего дѣла. И, такъ какъ раздваивался жизненно онъ менѣе другихъ и, раздвоившись, не могъ такъ же удобно, какъ всякій «герой нашего времени», одной своей половиной тосковать и мучиться, а другой своей половиной только наблюдать тоску своей первой половины, сознавать и описывать эту тоску свою, иногда даже въ прекрасныхъ стихахъ, съ самообожаніемъ и съ нѣкоторымъ гастрономическимъ наслажденіемъ, — то и заболѣвалъ тоскою своею весь, цѣликомъ, *всѣмъ* *человѣкомъ*, если позволять такъ выразиться» <sup>2)</sup>).

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г. Сентябрь.

<sup>2)</sup> „Эпоха“ 1864 г., сентябрь.

Вѣра въ Бога, въ жизнь, въ знаніе, въ искусство и высокое назначеніе слова, беззавѣтная преданность убѣжденіямъ, правдивость и искренность составляли врожденные душевныя свойства Григорьева, какъ человѣка. Даже такой почтенный либераль, какъ г. А. Скабичевскій, который расходится съ критикомъ-самобытникомъ во многихъ мнѣніяхъ, относится къ его личности съ религіознымъ благоговѣніемъ, приравнивая его къ литературнымъ праведникамъ и чуть не приобщая къ лику святыхъ, о чемъ покойному никогда и не грезилось, и въ чемъ онъ вовсе не нуждался. «Привлекаетъ Ап. Григорьевъ насъ, по глубокому признанію критика «Новостей»,—и какъ человѣкъ. Въ литературѣ нашей немного людей, столь неподкупно честныхъ, искреннихъ, такъ горячо увлекавшихся своими идеями, и такъ глубоко и беззавѣтно преданныхъ своему дѣлу. Съ головы до ногъ принадлежалъ онъ къ числу тѣхъ чистыхъ и горячихъ идеалистовъ 40-хъ и 50-хъ годовъ, которые своею безсребренностью и аскетическимъ отстраненіемъ отъ всѣхъ житейскихъ благъ, ради безкорыстнаго служенія благу, истинѣ и красотѣ, до сихъ поръ производятъ на насъ впечатлѣніе словно какихъ-то святыхъ. Да, онъ вполне принадлежалъ къ лику литературныхъ праведниковъ»<sup>1)</sup>.

Но на ряду съ привлекательными качествами, высоко цѣнившимися въ немъ всѣми его современниками, въ его характерѣ заключались черты, которыя нельзя считать безнравственными, но которыя причиняли ему много непріятностей и страданій въ его частной жизни и въ общественномъ положеніи. Нѣкоторыя слабости ему были присущи, какъ истому сыну родного народа, другія обуславливались его индивидуальностью.

Широкая, мощная и удалая природа его не могла сдерживать его мыслей, чувствъ и порывовъ въ предѣлахъ извѣстнаго пространства, въ границахъ опредѣленнаго времени, въ рамкахъ партійности и въ тискахъ непрерывной, постоянной дѣятельности или равномерной работы. Григорьевъ—полнѣйшее олицетвореніе вихря, свободно разгуливающаго на безконечномъ

---

<sup>1)</sup> „Новости“. 1889 г. № 264.

просторѣ родныхъ степей и очищающаго повсюду воздухъ благовоніемъ свѣжихъ травъ или вновь скошеннаго сѣна. Въ немъ много не только физической силы, какъ въ богатырѣ Святоторѣ, но и духовной, и онъ не въ состояніи совладать съ ними.

Открытая душа его во всѣхъ своихъ проявленіяхъ: и въ мысляхъ, и въ чувствахъ, и въ дѣятельности глубоко проникнута энтузіазмомъ. Это свойство—его сила и достоинство и въ то же время его слабость и недостатокъ; оно—источникъ его идеализма и выѣстъ съ тѣмъ всѣхъ неудачъ и бѣдъ жизни. «Главное, отъ чего страдалъ Григорьевъ, замѣчаетъ Н. Н. Страховъ, было его постоянное стремленіе къ энтузіазму, къ тому самому энтузіазму, въ которомъ заключалась вся его сила, какъ критика и писателя. Минуты, когда онъ постигалъ самыя тайныя біенія жизни, воплощенныя искусствомъ, были настоящими живыми минутами Григорьева. Но за ними слѣдовалъ упадокъ силъ, при которомъ весь личный міръ человѣка тускнѣетъ и обезцвѣчивается, неизбежно слѣдовало смутное и тревожное исканіе идеала въ своей собственной жизни. Вотъ почему Григорьевъ былъ человѣкъ въ высшей степени *напряженный*, какъ онъ самъ выражается о своихъ первыхъ стихотвореніяхъ, хотя въ то же время совершенно искренній. Онъ старался возводить свои мысли и чувства до идеальной глубины и чистоты; если же обрывался въ этихъ усиліяхъ, то прямо переходилъ въ противоположную крайность и погружался въ беспорядокъ жизни съ какимъ-то сладострастіемъ цинизма. Эти безпрестанныя противоположности поражали всякаго, кто въ первый разъ узнавалъ Григорьева; онѣ сломали его жизнь и подорвали его крѣпкую натуру.

«Увы! Очевидно! Григорьевъ не былъ властителемъ тѣхъ силъ, которыя въ немъ жили: не онъ управлялъ ими, а онѣ имъ. Недаромъ, какъ лучшею похвалою онъ хвалится своею искренностью, своимъ нелицемѣрнымъ служеніемъ духу, въ немъ вѣявшему. Какъ-то въ одинъ изъ послѣднихъ разговоровъ съ нимъ я сказалъ ему объ одномъ вопросѣ: «ты знаешь, что я съ тобою не согласенъ въ этомъ случаѣ; можетъ быть,

ты однако же болѣе правъ?..—«Правъ я или не правъ, перебилъ онъ меня, этого я не знаю; я—вѣяніе!» И вотъ силы, которыя онъ носилъ въ себѣ, выносили его самого; онъ умеръ, сжигаемый огнемъ своего вѣянія» <sup>1)</sup>).

Экзальтированныя личности, какъ бы талантливы ни были, какими бы благодѣтелями челоуѣчества ни являлись, въ частной жизни и, въ особенности, въ семейной оказываются въ большинствѣ случаевъ неудачниками, людьми непостоянными, беззаботными, разсѣянными, неаккуратными и мало практичными.

Ап. Григорьевъ въ домашнемъ быту почти нисколько не отличался отъ подобныхъ лицъ, и въ этомъ отношеніи не могъ бы быть счастливъ, тѣмъ болѣе, что его жена, особа образованная, принадлежала къ аристократическому кругу и дома воспитывалась въ совершенно противоположныхъ воззрѣніяхъ и симпатіяхъ, нежели критикъ-самобытникъ, выросшій въ чисто-русской, простой и здоровой обстановкѣ жизни.

Какіе размѣры принималъ разладъ ихъ, и какъ онъ отражался на дѣятельности писателя, нельзя ничего сказать, кромѣ того, что признать дѣйствительное существованіе недоразумѣній въ семьѣ Григорьевыхъ, такъ какъ вообще трудно судить о супружескихъ отношеніяхъ, не впадая въ крупныя, подчасъ жестокия ошибки. Впрочемъ, каждый питалъ бы сочувствіе, конечно, скорѣе къ тяжкому положенію Ап. Григорьева, чѣмъ его жены, не пожелавшей понять его, оцѣнить душевныхъ достоинствъ, которыми такъ обильно былъ надѣленъ при нѣкоторыхъ, хотя бы и большихъ, недостаткахъ этотъ добрый челоуѣкъ, и постоянно раздражавшей мужа. Поэтому приходится предоставить слово самому близкому къ нимъ лицу, которое осторожнѣе выскажетъ свое мнѣніе въ этомъ крайне щепетильномъ вопросѣ.

Александръ Аполлоновичъ Григорьевъ, сынъ покойнаго критика, такъ рассказываетъ о родной семьѣ и отзывается о своихъ родителяхъ и ихъ взаимныхъ отношеніяхъ:

---

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г., сентябрь.

«По самой натурѣ своей А. А. не былъ склоненъ къ семейной жизни. «Для одной только женщины въ мірѣ могъ бы я изъ бродяги-безсемейника, кочевника, обратиться въ почтеннаго и, можетъ быть (чего не можетъ быть?), въ нравственнаго мѣщанина», замѣчаетъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ. Къ несчастію, женщиной этой не была Лидія Федоровна. Какъ уже упомянуто выше, по рожденію она принадлежала къ извѣстному образованному семейству Коршей <sup>1)</sup>; но семейство это, по литературнымъ традиціямъ, всецѣло можно было отнести къ такъ-называемымъ «западникамъ», во главѣ которыхъ стоялъ въ то время Грановскій, близкій другъ брата Лидіи Федоровны, Евгенія Федоровича, часто бывавшій у ея сестеръ — Кавелиной и Крыловой — и матери. Отношеніе партіи «западниковъ» къ «молодой редакціи» «Москвитянина» было въ то время, какъ уже упомянуто, далеко неблагопріятное.

«Въ семействѣ своемъ Лидія Федоровна воспитывалась подъ влияніемъ западниковъ, и поэтому, понятно, она во многихъ отношеніяхъ не сочувствовала литературнымъ взглядамъ своего мужа, которымъ онъ былъ преданъ до фанатизма. По натурѣ своей она была женщина крайне впечатлительная и легко увлекающаяся. Окружавшіе же ее люди, въ большинствѣ друзья А. А., внесли сразу въ ихъ семейную жизнь всегдашній безпорядокъ, всегдашнюю раздражительность ума и страстей, раздражительность, подогреваемую къ тому же виномъ, въ которомъ, къ несчастію, и она скоро привыкла находить забвеніе... Все это отразилось на ней очень дурно и имѣло своимъ послѣдствіемъ печальные для семейной жизни результаты... Въ ней сказывались и неудовлетворенные идеалы юности. Ей хотѣлось быть женщиной свободной по тогдашнимъ понятіямъ, свободной въ смыслѣ героинь Жоржъ-Занда...

---

<sup>1)</sup> Два родные ея брата, Евгеній и Валентинъ Федоровичи Корши, извѣстны въ литературѣ: первый, какъ публицистъ и дѣятель 40-хъ годовъ, одинъ изъ ближайшихъ друзей Вѣлинскаго, Герцена и Грановскаго; второй — тоже извѣстный публицистъ позднѣйшаго времени, бывший редакторъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“.

«У самого А. А. была страсть, и притомъ несчастная, къ другой женщинѣ; эта страсть не покидала его до конца жизни. Неизвѣстно, что именно помѣшало его сближенію съ любимой женщиной, но воспоминанія о ней сохранились у него на всю жизнь. Прочтите его «Борьбу», прочтите его «Venezia la bella», о которой онъ тоже такъ вспоминалъ:

Да! было время... Я иной  
Любилъ любовью; образъ той  
Въ моей „Venezia la bella“  
Похороненъ; была чиста,  
Какъ небо, страсть и пѣсня та—  
Молитва: Ave Maria stella!

\* \* \*

Чтобъ снова мигъ хоть пережить  
Той чистой страсти, чтобъ вкусить  
И счастье мукъ и муки счастья,  
Безъ сожалѣнья бѣ отдалъ я  
Остатокъ бѣдный бытія  
И всѣ соблазны сладострастья.

Въ сонетѣ, написанномъ при окончаніи перевода «Ромео и Джульета», онъ снова вспоминаетъ о ней.

Про эту же любовь онъ говоритъ и въ своихъ письмахъ. «Вѣдь, любила же она меня, т. е. знала, что я ее всю понимаю, что только я ей всей молюсь, только я на всѣ вопросы ея души отвѣчу... О, проклятое, нравственно сметанное начало въ ея крови, проклятая смѣсь глубокой страстности съ расчетливой холодностью!.

.....

Я иногда люблю ее до низости, до самоуниженія...»

Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: «Зачѣмъ хочу я намеренно набросить тѣнь насмѣшки на то, что было свято, какъ молитва, полно, какъ жизнь, въ чемъ сливалась и вѣра въ борьбу, на чемъ выросла и окрѣпла религія свободы...»<sup>1)</sup>

Въ своихъ частныхъ отношеніяхъ къ близкимъ и постороннимъ лицамъ Ап. Григорьевъ проявлялъ справедливость, сердечное участіе и полную готовность помочь дѣлу, но при всей

<sup>1)</sup> А. Григорьевъ. „Одинокій критикъ“. Книжки Недѣли 1895 г., сентябрь, стр. 61-63.



душевной простотѣ онъ обнаруживалъ нѣкоторую осторожность и разборчивость въ знакомствахъ. «Съ друзьями, замѣчаетъ Д. В. Аверкиевъ, онъ былъ всегда одинаковъ; нельзя сказать, чтобы онъ скоро сходилъ; если это и случалось, то такая поспѣшная дружба не долго продолжалась. Онъ былъ всегда доступенъ и терпѣть не могъ литературнаго генеральства. Не смотря на свои такъ называемыя увлеченія, Григорьевъ былъ чрезвычайно строгъ къ произведеніямъ своихъ друзей; если что ему не нравилось, то онъ говорилъ прямо не обинуясь и часто довольно рѣзко»<sup>1)</sup>).

Ведя и послѣ женитьбы жизнь одинокаго холостого чело-вѣка, Ап. Григорьевъ совсѣмъ не заботился объ удобствахъ и селился поближе къ простому люду, не порывая съ нимъ своихъ давнишнихъ связей и продолжая серьезно присматриваться къ народному быту. Закоренѣлый демократъ, онъ предпочиталъ простой, скудный, но задушевный образъ жизни комфорту и матеріальной обезпеченности аристократіи. Съ этой стороны удачно характеризуетъ его г. Скабичевскій. «И дѣйствительно, мы видимъ во всѣхъ его критическихъ статьяхъ то присутствіе живого демократическаго духа, которымъ были преисполнены всѣ лучшіе люди сороковыхъ годовъ и котораго тщетно будете вы искать у его послѣдователей. Это былъ чело-вѣкъ, по самой натурѣ своей, честныхъ, гуманныхъ и вполне народныхъ инстинктовъ; всѣ пороки интеллигенціи, развившіеся на почвѣ крѣпостничества, какъ-то: самодурство, праздность, высокомеріе, изнѣженность, нервность, рисовка, всяческая ложь, распушенность, извращенность имѣли въ немъ заклятаго врага. И, напротивъ того, идеалами его были искренность, простота, непосредственность, цѣльность и полнота всякаго живннаго, *органическаго*, какъ онъ любилъ выражаться, явленія. Погоня его за народными идеалами доходила порою до комическаго донкихотства. Никогда, конечно, не забудется тотъ восторгъ, который заставилъ его при появленіи на сценѣ Любима Торцова разразиться въ «Москвитянинѣ» нескладными стихами, воспѣвающими этого героя, который

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г., августъ.

Стоить съ поднятой головой,  
Бурнусъ напяливъ обветшалый,  
Съ растрепанною бородой,  
Несчастный, пьяный, искудальный,  
Но съ русской частою душой.

«Впослѣдствіи эту свою погѣбу за кроткими идеалами Ап. Григорьевъ простеръ до такой смѣлости, что, когда вышелъ въ свѣтъ *Обломовъ* Гончарова, и всѣ увлекались героинею его Ольгою, видя въ то же время въ женитьбѣ Обломова на Агаевѣ Ѳедосѣевнѣ нравственное паденіе его, Ап. Григорьевъ одинъ только изъ всѣхъ тогдашнихъ критиковъ дерзнулъ выступить съ глубокою правдой, которая, конечно, въ то время показала всѣмъ верхомъ комическаго юродства. Такъ, въ его статьѣ по поводу «Дворянскаго гнѣзда» въ «Русскомъ Словѣ» 1859 года мы читаемъ слѣдующія замѣчательныя строки: «Ужъ если между женскими лицами г. Гончарова придется выбирать непременно героиню, безпристрастный и незатемненный теоріями умъ выберетъ, какъ выбралъ Обломовъ, Агаею Ѳедосѣевну, не потому, что у нея локти соблазнительны и что она хорошо готовить пироги, а потому, что она гораздо болѣе женщина, чѣмъ Ольга» <sup>1)</sup>).

Аполлонъ Александровичъ, по словамъ его сына, былъ вовсе не прихотливъ и собственно для жизни нуждался въ немногѣмъ. Въ спокойныя полосы, когда онъ работалъ, онъ часто не издерживалъ больше 25-ти рублей въ мѣсяцъ. Маленькій номеръ какого-нибудь мелкаго трактирчика, или же одна изъ комнатъ большой квартиры, обращенной въ постоянный дворъ и по временамъ наполняющейся гамомъ и шумомъ, — вотъ мѣста, въ которыхъ А. А. Григорьевъ любилъ селиться. Устроившись, какъ попало, тамъ онъ писалъ, спокойный, ясный, принимаясь для отдыха за свою гитару, съ которой былъ неразлученъ. Въ такія времена онъ успѣвалъ много сдѣлать и много заработать; но потомъ все это шло прахомъ, все рас-

---

<sup>1)</sup> А. Скабичевскій. „Исторія новѣйшей русской литературы“. СПБ. 1891 г., стр. 41—42.

трачивалось самымъ дѣтскимъ образомъ. Другого порядка его жизнь не имѣла въ послѣднее время» <sup>1)</sup>).

Меркантилизмъ, расчетливость, бережливость, житейская мелочность и самоограниченіе въ денежныхъ расходахъ, въ сильной степени свойственныя большинству инородцевъ и инородцевъ и заглушающіе въ нихъ душѣ пороку всѣ человѣческія чувства, но составляющіе чрезвычайно рѣдкое явленіе въ видѣ исключенія или уродства въ природѣ русскаго человѣка, были совершенно чужды характеру критика-самобытника, который и въ этомъ отношеніи въ глазахъ не только постороннихъ лицъ, но и своихъ близкихъ слишкомъ часто погрѣшалъ въ жизни. Выступивъ изъ университета, молодой Григорьевъ скудными урочными заработками помогалъ своимъ состоятельнымъ родителямъ; послѣ женитьбы онъ во всемъ обрѣзывалъ себя, предоставляя почти весь свой литературный гонораръ семьѣ; наконецъ, и друзьямъ и бѣднякамъ онъ отдавалъ свою послѣднюю трудовую копейку, вслѣдствіе чего постоянно терпѣлъ лишенія и зачастую сиживалъ въ Долгомъ; о себѣ, о своихъ нуждахъ ему и мысль не приходила въ голову, такъ какъ она жила другимъ міромъ, питалась иной пищей, всецѣло занятая идеалами жизни и души человѣческой. «И дѣйствительно, расчетъ былъ не вѣдомъ ему. Ни разу онъ не пожертвовалъ своими убѣжденіями ради расчета. Это можно сказать прямо и смѣло», удостовѣряетъ Д. В. Аверкіевъ. Другой другъ критика такъ отзывался о его непрактичности: «Каждый, кто зналъ покойнаго, не колеблясь ни минуты скажетъ, что это не былъ человѣкъ личныхъ интересовъ, что никогда личные интересы не стояли у него на первомъ планѣ, не занимали главнаго мѣста въ душѣ. Часто случалось, правда, что онъ дѣтски-наивно жаловался на скудость и шаткость своего личнаго положенія; но эти жалобы только доказываютъ, что онъ никогда не умѣлъ соблюдать свои интересы. Если бы это было не такъ, если бы онъ дѣйствительно умѣлъ доросить ими и соблюдать ихъ, то онъ, конечно, не терпѣлъ бы

<sup>1)</sup> А. Григорьевъ. „Одинокій критикъ“. Книжки Недѣли. 1895 г., сентябр., стр. 78—79.

и десятой доли тѣхъ неудобствъ и неустройствъ, среди которыхъ почти постоянно жилъ».

«Невыразимо странно мнѣ было слышать, вспоминаетъ Н. Н. Страховъ въ другомъ мѣстѣ, какъ бывало Григорьевъ пускался въ практическіе расчеты и соображенія. Менѣе практическаго человѣка ни я, ни многіе другіе, его знавшіе, никогда и не встрѣчали. Ничего-то не умѣлъ онъ для себя сдѣлать; ни въ чемъ не умѣлъ соблюсти свои выгоды. Что-то истинно-дѣтское слышалось въ этихъ случаяхъ и въ рѣчахъ и въ поступкахъ Григорьева» <sup>1)</sup>).

Ап. Григорьевъ жилъ каждой минутой, но неумѣніе распредѣлять съ пользою время и срочно работать тормозило его дѣятельность на литературномъ поприщѣ, вліяя въ значительной мѣрѣ и на матеріальное положеніе. Этотъ недостатокъ практической мудрости обусловливается прямо естественной свободой истинно-художественнаго творчества или, иначе, вдохновеніемъ, какъ настроеніемъ высшаго порядка, посѣщающимъ только артистическія натуры и устраняющимъ возможность всякаго предупрежденія, всякой преднамѣренности. Любимое Григорьевымъ слово *вѣяніе* есть собственно наитіе. Въ этомъ-то смыслѣ всѣ гении и таланты суть вѣянія, и критикъ-самобытникъ не представляетъ между ними исключенія.

«Григорьевъ писалъ, увлекаемый своими вѣяніями; онъ сливался съ предметомъ, наполнявшимъ его мысли. Что же вышло? Его встрѣтили недоразумѣніемъ, насмѣшками, глумленіемъ. Онъ не хотѣлъ да и не могъ какъ-нибудь примѣниться къ тону, языку, приѣмамъ, господствовавшимъ въ литературѣ. Поэтому такъ часто онъ вовсе не находилъ журнала, гдѣ бы могъ писать, что хотѣлъ: Григорьевъ не былъ бы Григорьевымъ, если бы изъ него могъ выйти журнальный работникъ, который, подчиняясь случаямъ и надобности, пишетъ о томъ или о другомъ. Отсюда понятно, что для него менѣе, чѣмъ для кого-нибудь другого, было возможно устроить себѣ правильный и ровный доходъ. Кромѣ того, и въ случаѣ дѣятель-

---

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г., сентябрь.

ной работы, — зависимость отъ минуты, отъ расположенія духа, кажущаяся легкость труда, утомленіе, тѣмъ болѣе опасное, что подходитъ незамѣтно, отсутствіе всякой нити, которая бы механически регулировала работу и распредѣляла время — все это вело къ житейскому безпорядку и со всѣмъ этимъ менѣе всякой другой могла справиться непрактическая натура Григорьева» <sup>1)</sup>).

Любопытные факты рассказываетъ Александръ Аполлоновичъ Григорьевъ о характерѣ дѣятельности своего отца. «На свободѣ онъ иногда не въ состояніи былъ работать регулярно, лѣнился по цѣлымъ недѣлямъ, не доставлялъ обѣщанныхъ статей къ условленному сроку и не любилъ писать по заказу, какъ бы ни были настоятельны его нужды. Но въ тарасовскомъ домѣ, за недостаткомъ развлеченій, онъ занимался усидчиво и высылавъ статьи въ редакцію съ необычайной для него въ другое время аккуратностью. «Помню, однажды, говорить въ своихъ воспоминаніяхъ А. П. Милуковъ, — М. М. Достоевскій, бѣ получая долго отъ Григорьева какой-то обѣщанной работы для журнала «Время», сказалъ ему, шутя: «Знаете, Аполлонъ Александровичъ, что я придумалъ: я дамъ вамъ подъ краткосрочный вексель, посажу васъ за неплатежъ въ долговое отдѣленіе, и вы будете тамъ писать мнѣ славныя статьи. Не правда ли, хорошая мысль?» <sup>2)</sup>).

Если къ указаннымъ темнымъ сторонамъ личности Ап. Григорьева присоединить еще одинъ порокъ, привычку находить забвеніе отъ невзгодъ жизни въ винѣ, — привычку, узаконенную вѣками въ нашемъ многострадальномъ народѣ, то при поверхностномъ сужденіи легко причислить его къ людямъ ненормальнымъ. Но въ данномъ случаѣ имѣется дѣло съ такою человѣческою ненормальностью, подъ которую, по ученію извѣстной школы психологовъ, подводятся едва ли не всѣ гении и таланты, творцы европейской и американской культуры, науки, искусства и литературы.

<sup>1)</sup> Н. Страховъ. Воспоминанія объ А. Григорьевѣ. „Эпоха“ 1864 г., сентябрь.

<sup>2)</sup> Ал. Григорьевъ. „Одинокій критикъ“. Книжки Недѣли 1893 г., сентябрь.

На этомъ основаніи горько ошибается тотъ, кто произносить строгій нравственный приговоръ надъ критикомъ-самобытникомъ за его слабости: артистическая натура, какъ идеальное отраженіе народа, страны, вѣка, въ несравненно большей степени, нежели всякій другой смертный, есть органическій продуктъ данныхъ жизненныхъ условий. Зато никто изъ обыкновенныхъ людей не искупаетъ своихъ грѣховъ передъ человечествомъ и отечествомъ такъ, какъ великій умъ и вселюбящее сердце. Кто же изъ современниковъ отрицалъ или не признавалъ въ Ап. Григорьевѣ этихъ основныхъ духовныхъ силъ? Напротивъ, за нимъ прочно и на вѣки утвердился прозвища даровитѣйшаго критика-мыслителя и задушевнаго писателя-поэта. Заложенные въ него необыкновенныя способности онъ не только не заглушилъ, но въ теченіе всей жизни лелѣялъ и развивалъ, всѣмъ существомъ своимъ стремясь къ самоусовершенствованію и съ громадными усиліями и нескончаемой борьбою завоевывая каждую пядь земли обѣтованной истины.

Начитанность его, какъ человека многосторонне образованнаго, была изумительная; наблюдательность, чуткость и пониманіе родного народа и жизни еще болѣе поразительны. А. Д. Галаховъ, знавшій критика почти съ самаго вступленія его на литературное поприще, свидѣтельствуетъ, что «у Григорьева были и данныя и благопріобрѣтенныя средства для того дѣла, которому онъ посвятилъ себя. Природная даровитость, природное же и весьма сильное чувство къ изящному, гдѣ бы послѣднее ни являлось, университетское образованіе, знаніе иностранныхъ языковъ и большое знакомство съ иностранными литературами давали ему возможность разносторонне овладѣвать предметомъ своихъ сужденій. Особеннаго вниманія и похвалы заслуживаетъ одно изъ его свойствъ, сильно въ него вложенное, прилежно имъ самимъ развитое и никогда его не покидавшее. Это—вполнѣ искреннее, вполнѣ уважительное отношеніе къ искусству и его представителямъ. Онъ преданъ былъ тому и другимъ до восторженнаго, часто крайняго поклоненія, которое, въ силу своей крайности, даже

переступало за предѣлы истины. «Художественное произведение, гогорить онъ,—для меня есть открытіе великихъ тайнъ души и жизни, единственное порѣшеніе общественныхъ и нравственныхъ вопросовъ (стр. 406)... Все *новое* вносится въ жизнь только искусствомъ: оно одно воплощаетъ въ созданіяхъ своихъ то, что невидимо присутствуетъ въ воздухѣ эпохи». (Стр. 613) <sup>1)</sup>.

«Уваженіе къ поэзіи и вообще къ искусствамъ, какъ самостоятельнымъ проявленіямъ духа, писала въ некрологѣ по смерти критика «Библіотека для чтенія»,—а съ тѣмъ вмѣстѣ и уваженіе ко всякому таланту, ко всему, что самостоятельно, непосредственно бьетъ ключомъ изъ вѣчныхъ родниковъ жизни—таково было основаніе, фонъ его убѣждений и взглядовъ, къ которымъ онъ всегда возвращался вновь, если и случалось ему на время увлечься въ сторону. Вражда къ фальши, рутинѣ, поддѣлкѣ подъ талантъ и дарованіе—вотъ отрицательныя стороны того же самаго воззрѣнія. Беззавѣтная вѣра въ движеніе и вражда ко всякому застою, ко всему старающемуся разъ и навсегда опредѣлить себя, какъ бы окаменѣть въ извѣстной формѣ,—и то и другое, можетъ быть, доведенныя до крайности,—такова была другая формула убѣждений покойнаго А. А. Григорьева»<sup>2)</sup>.

Но живѣе всего артистическая натура Григорьева представляется въ описаніи Д. В. Аверкіева: «Основой его личности была полная, безъ поворота, вѣра въ жизнь и вѣра въ искусство, какъ въ одно изъ главнѣйшихъ выраженій жизни. Вѣра въ жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ, въ жизнь, безустанно развивающуюся по своимъ основнымъ и вѣчнымъ законамъ, въ жизнь, которую нельзя затиснуть въ рамку никакой—какъ бы умна она ни была—теоріи, въ вѣчно юную и любящую, постоянно обманывающую строгія, но сухія выкладки ума,—въ то, что покойный называлъ *хроніей жизни*»<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> „Журналъ Мин. Нар. Просвѣщенія.“ 1877 годъ, январь, стр. 115-116.

<sup>2)</sup> „Библіотека для чтенія“ 1864 г. № 8.

<sup>3)</sup> „Эпоха“ 1864 г., августъ.

И. С. Аксаковъ такъ обрисовываетъ личность Ап. Григорьева, какъ писателя: «Не смотря на многія странности, на рѣзкія увлеченія во мнѣніяхъ и выраженіяхъ, это былъ человѣкъ искренно, благородно мыслившій и писавшій, горячо преданный русскому искусству, во всѣхъ его проявленіяхъ— въ музыкѣ, въ живописи, въ словѣ и въ особенности на русской сценѣ. И мысль и рѣчь его отличались постоянною страстностью; похвалѣ и порицанію отдавался онъ съ такою пылкостью, что приговоры его теряли на половину своего значенія; отъ одной крайности бросался онъ нерѣдко въ другую, противоположную,—но во всѣ 15 или болѣе лѣтъ его литературно-журнальнаго поприща, никто ни разу не могъ заподозрить Ап. Григорьева въ неискренности, въ двусмысленности, въ нечистотѣ побужденій» <sup>1)</sup>).

Въ литературѣ слава Ап. Григорьева зиждется главнымъ образомъ на его критикѣ, которой русское общество обязано раскрытіемъ, истинныхъ достоинствъ и лучшихъ сторонъ въ поэтическихъ произведеніяхъ писателей отъ Карамзина до гр. Л. Н. Толстого. Онъ имѣлъ умъ по преимуществу философскій и съ этой возвышенной точки зрѣнія оцѣнивалъ явленія жизни и искусства, при чемъ въ сужденіяхъ придерживался строгой логической послѣдовательности, органической связи и обоснованности. «Наши мысли вообще, говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ,—(если онѣ точно мысли, а не баловство одно) суть плоть и кровь наши, суть наши чувства, вымучившіяся до формулъ и опредѣленій. Немногіе въ этомъ сознаются, ибо немногіе имѣютъ счастье или несчастье родить изъ себя собственныя, а не чужія мысли».

Принципы нѣмецкой философіи не только не отуманили ума критика-самобытника, но способствовали болѣе трезвому взгляду на родную дѣйствительность: мысли его крѣпко связаны съ почвой, на которой онѣ родились и возросли. Въ «Предисловіи» къ первому тому сочиненій Ап. Григорьева, содержащему главнѣйшія критическія статьи его, Н. Н. Стра-

---

<sup>1)</sup> „День“. 1864 г. № 40, стр. 20.



ховъ весьма вѣрно смотритъ на работы нашего оригинальнаго мыслителя. «Книга эта, заявляетъ онъ,—говоря любимымъ словомъ ея автора есть явленіе *органическое*. Въ продолженіе долгихъ лѣтъ, когда она писалась, однѣ и тѣ же мысли занимали писавшаго, и читатель увидитъ, какъ онѣ раскрывались все яснѣе и опредѣленнѣе, не измѣняясь въ своей сущности. Но этого мало; чтобы писать настоящія книги, такія, которыя не были бы лишь болѣе или менѣе удачнымъ подобіемъ, болѣе или менѣе грубымъ извращеніемъ другихъ книгъ, нужно еще выполнить большое условіе: нужно, чтобы предметы нашихъ мыслей составляли часть нашей жизни, сокровище нашего сердца. Такимъ предметомъ дѣйствительно была для Ап. Григорьева наша литература (т. е. художественная). Отсюда то глубочайшее воодушевленіе, тотъ тонъ горячаго убѣжденія, которымъ поражаетъ эта книга; отсюда и тѣ истины, которыя она намъ открываетъ» <sup>1)</sup>).

Въ «Воспоминаніяхъ объ Ап. А. Григорьевѣ» тотъ же писатель такъ характеризуетъ личность Григорьева, какъ критика: «Неумѣлый человекъ одно только умѣлъ — слѣдить за умственнымъ и эстетическимъ движеніемъ нашимъ, чувствовать и понимать всѣ явленія въ нашемъ мірѣ искусства и мысли. Сюда были устремлены всѣ силы его души, здѣсь была его радость и печаль, долгъ и гордость. Быть *сознаніемъ* этого движенія, этой жизни, — вотъ что составляло его природу, въ чемъ заключались его желанія, его существенная жизненная потребность. Опять скажу—это подтвердить всякій, кто только зналъ Григорьева. Ничто его столько не занимало, не увлекало, не наполняло, какъ явленія въ мірѣ искусства вообще и въ мірѣ словеснаго искусства въ особенности. Это былъ урожденный критикъ, для котораго критика была естественною потребностью и прямымъ назначеніемъ» <sup>2)</sup>).

«Онъ былъ большой мастеръ, утверждаетъ Д. В. Аверкиевъ, группировать явленія, и потому рѣдко ошибался въ оцѣнѣ даннаго. Стоитъ вспомнить, что онъ, напримѣръ, первый взглянулъ на Пушкина, какъ на поэта *народнаго*, что онъ не і

<sup>1)</sup> Сочин. А. Григорьева. Т. I. Предисловіе.

<sup>2)</sup> „Эпоха“ 1864 года, сентябрь.

дословно сказалъ это, а вывелъ изъ изученія произведеній великаго поэта; что онъ показавъ, почему наша литература послѣ Пушкина имѣла извѣстный характеръ и какія частности пушкинскаго таланта развила она. — Равно первый Григорьевъ же показавъ знаніе характера Чацкаго; онъ первый отнесся къ Чацкому не съ полемической стороны, а объективно изучая его. Значеніе Гоголя также сильно разъяснено имъ. Гоголя до него считали писателемъ *бытовымъ*, въ полномъ смыслѣ слова, а онъ первый ясно указавъ на эту громадную ошибку. А это очень важно<sup>1)</sup>.

Критическіе очерки Ап. Григорьева, подобно его поэтическимъ сочиненіямъ, отражаютъ въ себѣ лучшія его душевныя качества: человѣколюбіе, привязанность къ своему народу и къ различнымъ сторонамъ его жизни, искреннее желаніе прогресса общества и литературы и, главное, безпристрастіе. Н. Н. Страховъ въ статьѣ, посвященной памяти Ап. Григорьева въ 1889 г., отмѣчаетъ, между прочимъ, слѣдующія существенныя черты перваго тома сочиненій критика-самобытника: «вѣдь, эта книга принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя, когда бывають прочитаны, уже навсегда удерживають подъ своею властью читателя, такъ что число читателей тутъ очень близко къ числу почитателей. Кто вникнетъ въ Григорьева, тотъ пойметъ, что такое истинная критика, и уже никогда не смѣшаетъ ея съ тѣми разсужденіями и разглагольствіями, которыя слывуть подъ ея именемъ. Обыкновенно само художество, само творческое произведеніе бываетъ отодвигаемо на второй планъ передъ соображеніями цѣнителя и судьи. У Григорьева же главное мѣсто всегда принадлежало художеству, а не его критику. Поэтому-то для его глазъ въ словесныхъ произведеніяхъ открывалась самая глубокая ихъ значительность; онъ видѣлъ и понималъ ихъ внутреннее бѣненіе, ихъ тайный ростъ изъ души человѣка. Искусство было для него самымъ лучшимъ, самымъ полнымъ откровеніемъ жизни; поэтому онъ уловлялъ самыя сокровенныя нити, связывающія искусство съ жизнью,

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 года, августъ.

безъ средствъ онъ съ рѣдкимъ терпѣніемъ переносилъ тягости жизни, съ гордостью сознавая величіе человѣческой души, свое умственное превосходство надъ окружающей своекорыстной средой и свое искреннее желаніе служить, но служить исключительно всему честному, высокому, свѣтлому. Отсутствие работы ввело его въ неоплатные долги, и вотъ въ концѣ 1860 года онъ очутился въ долговомъ отдѣленіи.

Вырвавшись изъ когтей нужды, онъ опять берется за перо и съ новаго года въ «Свѣточѣ» помѣщаетъ статьи по жгучимъ вопросамъ: «Искусство и нравственность», «Реализмъ и идеализмъ въ нашей литературѣ» и переводъ байроновскаго «Прометея».

Съ 1861 года братья М. М. и Ѳ. М. Достоевскіе начинаютъ издавать журналъ «Время» — и для Аполлона Александровича открывается широкое поле дѣятельности, такъ какъ при этомъ органѣ собираются именно тѣ, съ кѣмъ болѣе всего критикъ сходилъ въ своихъ взглядахъ на искусство. Здѣсь работали Д. В. Аверкіевъ, Н. Н. Страховъ, А. Ѳ. Писемскій и мн. др., глубоко уважавшіе Ап. Григорьева, раздѣлявшіе его мнѣнія о Пушкинѣ, Гоголѣ и Островскомъ, отстаивавшіе русскую самобытность. Ихъ кружокъ получилъ названіе почвенниковъ.

Въ ихъ лицѣ возродилась молодая редакція «Москвитянина» съ ея горячей любовью къ родной народности и къ историческимъ преданіямъ. «Подъ народностью подразумевали сотрудники «Москвитянина» живую и чисто-демократическую тягу къ народу, къ опрощенію, къ проникновенію гуманнѣйшими христіанскими идеалами, любовь и братство. Стремленіе это заставляло людей въ родѣ, на примѣръ, Павла Ивановича Якушкина беззавѣтно отрѣшаться отъ всѣхъ благъ міра, надѣвать сермягу и лапти, итти въ народъ поучаться его вѣковѣчной мудрости, проникаться духомъ его жизни и нести вмѣстѣ съ нимъ крестъ его страданій. Выразителемъ этихъ московскихъ почвенниковъ и былъ Ап. Григорьевъ» <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> А. Скабичевскій. Памяти Ап. Ал. Григорьева. „Новости“ 1889 г. № 24.

Но въ ихъ воззрѣніяхъ славянофильское ученіе значительно поступилось своими первоначальными принципами, получивъ болѣе реальный характеръ. «Такъ, они перестали<sup>1</sup> выдвигать на первый планъ, какъ говоритъ г. А. Скабичевскій, византизмъ и, продолжая считать православіе существеннымъ элементомъ русской самобытности, въ то же время не выставляли на первый планъ требованія, чтобы государство превратилось въ церковь»<sup>1</sup>).

Почвенники признали важное значеніе преобразованій Петра Великаго и пытались его реформы объяснить естественнымъ ходомъ развитія русской исторической жизни. Въ каждой народности они видѣли особый типъ, сложившійся искони подъ влияніемъ своеобразныхъ мѣстныхъ, климатическихъ и историческихъ условій, и потому требующій постепеннаго самостоятельнаго развитія, а не крутыхъ переворотовъ въ жизни подъ чуждыми влияніями.

При такой солидарности съ редакціей «Времени» Ап. Григорьевъ, повидимому, попалъ на желаемую дорогу и съ прежнимъ юношескимъ жаромъ вмѣстѣ съ Ѳ. М. Достоевскимъ проводилъ въ новомъ журналѣ идеи національной самостоятельности, изслѣдуя основныя свойства русскаго народнаго духа въ созданіяхъ «растительной поэзіи» и личнаго творчества и призывая общество къ изученію отечественной старины, историческихъ памятниковъ, этнографіи и проч. «Есть вопросъ и глубже и обширнѣе, пишетъ онъ Н. Н. Страху изъ Оренбурга, — по своему значенію всѣхъ нашихъ вопросовъ, — вопроса (каковъ цинизмъ?) о крѣпостномъ состояніи и вопроса (о ужасѣ!) о политической свободѣ. Это вопросъ о нашей умственной и нравственной самостоятельности. Въ допотопныхъ формахъ этотъ вопросъ явился только въ покойникѣ «Москвитянинѣ» 50-хъ годовъ, — явился молодой, смѣлый, пылкій, но честный и блестящій дарованіями (Островскій, Писемскій)..... Въ томъ, что это допотопное бытіе возродится въ новыхъ строй-

---

<sup>1</sup>) А. М. Скабичевскій. Исторія новѣйшей русской литературы. Спб. 1891 г. Стр. 40.

ныхъ формахъ—я убѣжденъ крѣпко, да, вѣдь, утѣшенія-то въ этомъ мнѣ мало.

«Постарайся, если ты хочешь увидѣть эти элементы, сойтись покороче съ Островскимъ.

«Судьба мыслей широкихъ—жить для будущаго, выполняться мало-по-малу, по частямъ» <sup>1)</sup>).

Строгая логическая послѣдовательность и убѣдительность доводовъ составляютъ существенныя особенности статей Ап. Григорьева въ журналѣ «Время», въ которыхъ, не смотря на двухлѣтнее существованіе этого изданія, онъ успѣлъ обсудить много выдающихся сторонъ въ литературныхъ направленіяхъ, рѣзко опредѣлившихся къ началу шестидесятыхъ годовъ. Эти очерки образуютъ собою своего рода курсъ лекцій, главная задача котораго—выясненіе развитія идеи народности въ отечественной словесности со смерти Пушкина. Таковы его этюды: «Литература и народность».—«Западничество въ русской литературѣ. Причины происхожденія его и силы».—«Бѣлинскій и отрицательный взглядъ на литературу».—«Оппозиція застоя».

За четвертой, майской статьей послѣдовалъ шестимѣсячный перерывъ въ сотрудничествѣ Григорьева, вызванный недоразумѣніями съ редакціей. Ближайшимъ поводомъ къ размолвкѣ послужили, по собственному признанію Ап. Григорьева, «слова чловѣка очень честнаго и хорошаго, какъ М. Достоевскій: «Какіе же глубокіе мыслители Кирѣевскій, Хомяковъ, О. Теодоръ?»—когда критикъ упомянулъ ихъ имена съ этимъ эпитетомъ въ одной изъ своихъ статей. Заданный Михайломъ Михайловичемъ Достоевскимъ вопросъ въ столь рѣзкой формѣ, безъ сомнѣнія, оскорбилъ Аполлона Александровича, такъ какъ они (т. е. слова М. М. Достоевскаго) для «чловѣка, дѣйстви-тельно мыслящаго, по выраженію Ап. Григорьева,—термометръ довольно ужасный».

Покойный Н. Н. Страховъ и О. М. Достоевскій вполне соглашались съ соображеніями редактора, посовѣтовавшаго кри-

<sup>1)</sup> Н. Страховъ. Воспоминанія объ А. А. Григорьевѣ. „Эпоха“ 1864 г., сентябрь.

тику выпустить изъ статьи эти имена, но Аполлонъ Александровичъ, недовольный и другими порядками редакціи, рѣшилъ непремѣнно уѣхать въ Оренбургъ, и никакія разубѣжденія, никакія просьбы друзей его не удержали.

Если принять во вниманіе постоянно-напряженное, нервное состояніе журнальных дѣятелей вообще и разногласія Ап. Григорьева со многими органами печати, не упускавшими удобнаго случая какъ-нибудь задѣть его, то раздражительность и вспышки его сами собою становятся понятны, и потому не слѣдуетъ приписывать ихъ капризному характеру Григорьева. Дѣйствительно, въ благородной душѣ пылкаго, искреннаго идеалиста накопилось много горькихъ обидъ, въ чемъ можно убѣдиться, напримѣръ, по письму его къ Н. Н. Страхову изъ Оренбурга отъ 23 сентября 1861 года, которое свидѣтельствуешь сколько о его нравственныхъ страданіяхъ, столько же и о его горячей вѣрѣ въ свѣтлое будущее, при всемъ мрачномъ настоящемъ,—вѣрѣ критика - самобытника въ грядущее родного народа и его литературы.

«Что ты мнѣ толкуешь, говоритъ Григорьевъ,—о значеніи моей дѣятельности, о ея справедливой оцѣнкѣ? Тутъ никто не виноватъ, кромѣ жизненнаго вѣянія. Не въ ту струю попасть,—струя моего вѣянія отшедшая, отзвучавшая, и проклятіе лежитъ на всемъ, что я ни дѣлалъ.

«Началъ было я свой курсъ въ «Русскомъ Словѣ»,—велъ свою мысль къ полнѣйшему разъясненію длинными, длинными околицами. Сорвалось. «Гроза» Островскаго вновь было расшевелила меня. Смѣло и рѣшительно началъ было я новый курсъ въ несчастномъ «Русскомъ Мірѣ» 1859 г.,—взялъ другой пріемъ, кратчайшій. Не только не сорвалось, но никто даже не отозвался.

«Послѣ долгихъ мукъ рожденія, съ новою вѣрою и энергіею, съ новыхъ пунктовъ, облегчивъ даже, кажется, по возможности, формы,—началъ я опять тотъ же курсъ во «Времени». Господи! и тутъ дождался только упрека Р.... за то, что я пишу такъ, что его жена не понимаетъ,—нагло намѣреннаго непониманія, выразившагося въ бойкомъ отвѣтѣ фелье-

тониста «Русскаго Инвалида» на мои *замѣтки ненужнаго чловѣка*,—и наконецъ шутокъ М. Достоевскаго, что я въ «Свѣточѣ» даю статьи гораздо интереснѣе,—шутокъ, перешедшихъ въ прямое уже неудовольствіе на мою послѣднюю статью... А омерзительное отношеніе ко мнѣ «Искры», а еще болѣе омерзительное обвиненіе меня чловѣкомъ серьезнымъ, какъ Катковъ, въ фальшивомъ поступкѣ изъ-за его плохого перевода «Ромео и Юліи»?.. А отрицательство отъ меня всѣхъ старыхъ друзей?... А убѣжденіе П..., что я интриговалъ противъ него у К... а?... Да, право, и не перечислить всего того сквернаго, что я надъ собою видѣлъ... Въ пьяномъ образѣ я приподнимаю для тебя немного душевную завѣсу... Такъ, что тутъ разсуждать, когда явное проклятiе тяготѣетъ надъ жизнью?... Ну, и опускаются руки, и дѣлать ничего не хочется на бывшемъ поприщѣ. Не знаю, право, скоро ли допишу я и допишу ли даже статью о Толстомъ.

«Извѣстіе, сообщенное «Сѣв. Пчелой» объ окончаніи Островскимъ «Кузьмы Минина»—вотъ это событіе. Тутъ вотъ прямое *быть или не быть* положительному представленію народности,—можетъ быть такой толчокъ *впередъ*, какого еще и не предвидѣлось.

«Одна изъ идей, въ которыя я пламенно вѣрилъ, порѣшается. Но это только одна сторона моего вѣрованія. Если бы я вѣрилъ только въ элементы, вносимые Островскимъ,—давно бы съ моей узкой, но относительно вѣрной и торжествующей идеей, я внесся бы въ общее вѣяніе духа жизни.—Но я же вѣрю и знаю, что однихъ этихъ элементовъ недостаточно, что это все-таки только *membra disjecta poetae*,—что полное и цѣльное сочетаніе стихій великаго народнаго духа было только въ Пушкинѣ, что могучую односторонность исключительно народнаго, пожалуй, земскаго, что скажется въ Островскомъ, должно умѣрять сочетаніе другихъ, тревожныхъ, пожалуй, бродячихъ, но столь же существенныхъ элементовъ народнаго духа въ комъ-либо другомъ. Вотъ, когда рука оъ руку съ выраженіемъ коренастыхъ, крѣпкихъ, *дубовыхъ* (гѣ какомъ хочешь смыслѣ) началъ пойдеть и огненный, увлѣ-

кающій порывъ юной силы, — жизнь будетъ полна, и литература опять получить свое царственное значеніе. А этого, Богъ знаетъ, дождемся ли мы? Шутка—чего я жду! Я жду того стиха, который бы

Ударилъ по сердцамъ съ невѣдомою силой,

того упоенія, чтобы «журчанье этихъ стиховъ наполняло окружающій насъ воздухъ».

«Шутка!.. Вѣдь, это—вѣра, любовь, порывъ, лиризмъ»...

«Не говори мнѣ, что я жду невозможнаго, такого, чего время не даетъ и не дастъ. Жизнь есть глубокая иронія во всемъ. Во времена *торжества разсудка* она вдругъ показываетъ обратную сторону медали, посылаетъ Кальостро и проч., — въ вѣкъ паровыхъ машинъ—вертитъ столы и приподнимаетъ завѣсу какого-то таинственнаго, ироническаго міра духовъ страшныхъ, причудливыхъ, насмѣшливыхъ»... <sup>1)</sup>).

---

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г., сентябрь.



## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Поездка въ Оренбургъ и причины ея.—Дорожныя впечатлѣнія.—Недовольство провинціальной жизнью.—Переписка съ Н. Н. Страховымъ и литературныя занятія.—Публичныя лекціи объ А. С. Пушкинѣ.—Служба въ Неплюевскомъ кадетскомъ корпусѣ и отзывъ объ Ап. Григорьевѣ одного изъ его учениковъ.

Отъѣздъ изъ столицы, гдѣ за искреннее и правдивое слово, за высокія мысли, за упорный трудъ и матеріальныя лишенія и печать и легкомысленная часть общества платили талантли-вому критику рѣзкими остротами, оскорбительными насмѣшками и гнусными намеками чуть ли не на безправственный образъ жизни, былъ необходимымъ и единственнымъ средствомъ для поддержанія и душевныхъ и физическихъ силъ Ап. Григорьева. Онъ любилъ путешествія, и нерѣдко выражалъ сожалѣніе объ отсутствіи средствъ для постояннаго странствованія.

Дорога въ Оренбургъ лежала чрезъ многіе старинные города, и критикъ-самобытникъ съ жадностью останавливалъ свои взоры на развалинахъ, памятникахъ и различныхъ историческихъ достопримѣчательностяхъ. Глубоко религіозный москвичъ повсюду ищетъ соборовъ, церквей, часовенъ, монастырей и съ наслажденіемъ любитъ древней иконописью и зодчествомъ. Онъ четыре дня провелъ въ Ярославлѣ и все не могъ, по собственнымъ словамъ, находить по его церквамъ и монастырямъ. Въ этомъ городѣ онъ молился чудотворной иконѣ Толгской Божіей Матери, образомъ Которой его благословила покойница мать.

Прибывъ въ Оренбургъ, Ап. Григорьевъ завязываетъ переписку, весьма интересную не только въ біографическомъ, но и въ литературномъ отношеніи, съ Николаемъ Николаевичемъ Страховымъ, съ которымъ, познакомившись въ 1859 году, онъ до самой смерти былъ въ тѣснѣйшей дружбѣ. Въ письмѣ отъ 18 іюня онъ передаетъ ему свои первыя оренбургскія

впечатлѣнія такъ: «Ничего не боялся я столько (между прочимъ), какъ жить въ городѣ безъ исторіи, преданій и памятниковъ. И вотъ—я (это одинъ изъ многихъ опытовъ) именно въ такомъ положеніи. Кругомъ глушь и степь, да близость Азіи, порядочно отвратительной всякому европейцу. Городъ—смѣсь скверной деревни съ казенными домами. Ни стараго собора, ни одной чудотворной иконы—ничего, ничего»...

Одиночество и отчужденіе отъ всего, дорогого сердцу, сразу дали себя почувствовать Григорьеву, но въ немъ не было недостатка въ гордомъ сознаніи своей правоты передъ людьми, не понимавшими или не желавшими знать его чистыхъ, безкорыстныхъ порывовъ и стремленій, и потому онъ съ нѣкоторымъ удовольствіемъ готовъ былъ вынести и эти тягости своей жизни. «Быть можетъ, ты одинъ, узнавши меня въ послѣднее время достаточно, писалъ онъ своему другу, понимаешь, что причины болѣе глубокія, чѣмъ личныя невзгоды и разочарованія, заставили меня осудить себя на добровольную ссылку; что главная вина, *causa causalis* моего рѣшенія была—сознаніе своей ненужности. Въ сознаніи этомъ много, коли ты хочешь, и гордости. Я дошелъ до глубокаго презрѣнія къ литературѣ прогресса. Да иначе и быть не могло. Искатель абсолютнаго,—я столь же мало понимаю рабство передъ минутой, рабство демагогическое, какъ рабство передъ деспотами. Лучше я буду киргизовъ обучать русской грамотѣ, чѣмъ обязательно писать въ такой литературѣ, въ которой нельзя подать смѣло руки хоть бы даже Асоченскому въ томъ, въ чемъ онъ правъ, и смѣло же спорить—хоть даже съ Герценомъ. Цинизмъ мысли, право, дошелъ уже до крайнихъ предѣловъ».

Ап. Григорьевъ и въ Оренбургѣ не покидалъ литературнаго дѣла: онъ занялся критической оцѣнкой произведеній гр. Л. Н. Толстого и уже собирался отправить въ редакцію «Времени» продолженіе этюда объ этомъ писателѣ, какъ неожиданно получилъ письмо Н. Н. Страхова съ предложеніемъ печататься въ журналѣ Достоевскихъ безъ подписи или подъ псевдонимомъ. По объясненію его друга, это было сдѣлано редакціей

съ цѣлью, а именно, чтобы статьи Григорьева произвели свое дѣйствіе на публику, и чтобы ошибочное отношеніе предубѣжденных читателей къ нему измѣнилось послѣ открытія фамиліи автора. Но Аполлонъ Александровичъ, не предупрежденный о такомъ умыслѣ журнала, принялъ предложеніе за новое оскорбленіе со стороны Достоевскихъ, и въ отвѣтъ г. Страхову написалъ слѣдующее: «Предложеніе Ѳ. Достоевскаго довольно странно. Я, слава Богу, еще не Ѳ. В. Булгаринъ, чтобы мое имя компрометировало журналъ. Съ другой (приватной) стороны, если бы я даже былъ извѣстный шулеръ, какъ П....., то все-таки, какъ онъ же, подписывалъ бы свое имя. Ни то, что П... сидѣлъ въ ямѣ, ни то, что я сидѣлъ въ долговомъ, къ литературѣ не относится. Поэтому до полученія отъ тебя отвѣта Достоевскихъ: угодно ли имъ печатать статьи съ моимъ именемъ, останавливаюсь посылать половину статьи о Толстомъ» <sup>1)</sup>).

Въ Оренбургѣ Ап. Григорьевъ прочелъ съ благотворительной цѣлью четыре лекціи о поэзіи А. С. Пушкина, которыя, по его признанію, имѣли полный успѣхъ въ матеріальномъ отношеніи, но отнюдь не въ умственномъ или эстетическомъ.

Мѣстная интеллигенція ничего не представляла въ своей жизни особеннаго для наблюдательнаго столичнаго писателя. Зато Ап. Григорьевъ увлекся педагогической дѣятельностью, опредѣлившись на службу въ качествѣ учителя словесности въ Неплюевскій кадетскій корпусъ. Изъ его письма можно заключить, что онъ не совсѣмъ былъ доволенъ какъ постановкой преподаванія въ этомъ учебномъ заведеніи, такъ и принятыми учебниками, и пробовалъ ввести кое-какія улучшенія въ дѣло. Насколько ему это удалось, неизвѣстно, но только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ покинулъ свою должность и возвратился въ Петербургъ.

Вѣроятно же всего, ему были невыносимы условія служебной дисциплины, отъ которой онъ и раньше всегда пытался такъ или иначе избавиться. Стоитъ вспомнить только его службу

---

<sup>1)</sup> Письмо отъ 12 августа 1861 г. „Эпоха“ 1864 г. № 9.

въ Московскомъ университетѣ и письмо къ М. П. Погодину изъ Петербурга. «Прежнее его кратковременное учительство въ Москвѣ, вѣрно замѣчаетъ его сынъ,—въ Сиротскомъ домѣ, въ первой гимназiи, показывало несовмѣстимость педагогическихъ занятiй съ его характеромъ и образомъ жизни. Это не оттого, чтобы онъ былъ не подготовленъ къ нимъ: его знанiя и умѣнье объясняться были безспорны, но разсѣянность, неспособность подчиниться аккуратности и дисциплинѣ, необходимымъ при классныхъ занятiяхъ, дѣлали его совершенно неудобнымъ для занятiй преподавателя. Онъ слишкомъ дорожилъ независимостью, слишкомъ чуждался всякаго подчиненiя и ограниченiя своей свободы. И дѣйствительно, предсказанiя его друзей сбылись: онъ и года не пробылъ въ Оренбургѣ. Самъ онъ потомъ говорилъ, что готовъ лучше просидѣть въ тюрьмѣ, чѣмъ каждый день ходить по барабану. Особенно не могъ онъ приучить себя вставать и одѣваться къ опредѣленному часу и нерѣдко вовсе пропускалъ утреннiя лекцiи» <sup>1)</sup>).

Большой интересъ представляетъ и отзывъ одного изъ учениковъ Аполлона Александровича о преподаванiи и образѣ жизни критика въ Оренбургѣ: «Любя свой предметъ не только какъ учитель, но и какъ писатель, А. А. съ страстнымъ увлеченiемъ старался вложить тѣ же знанiя и тѣ же мысли въ сердца и умы своихъ слушателей и развить въ нихъ эстетическое чувство ко всему доброму и прекрасному. Чтобы быть ближе съ своими учениками, онъ поселился недалеко отъ корпуса, заваливъ свою небольшую квартирку книгами. Хотя въ классѣ онъ говорилъ только по учебнику, но въ частныхъ бесѣдахъ знакомилъ своихъ учениковъ сверхъ программы и съ выдающимися произведенiями молодыхъ тогдашнихъ писателей. Воспитанники любили его и съ замѣтнымъ удовольствiемъ слушали его прочувствованныя лекцiи; но начальство корпуса, а также и представители мѣстной интеллигенцiи оказывали ему явное недоброжелательство и пренебреженiе. Это очень влiяло на впечатлительную и нервную натуру А. А.

<sup>1)</sup> Ал. Григорьевъ. „Одинокiй критикъ.“ „Книжки Недѣли“ 1895 г., сентябрь, стр. 71.

Къ тому же онъ сошелся близко съ однимъ изъ корпусныхъ дежурныхъ офицеровъ С. Н. О-вымъ, человѣкомъ, хотя не-глупымъ и сравнительно съ другими даже довольно развитымъ, но страшнымъ кутилой и пьяницей. Дружба эта повела къ тому, что самъ А. А. началъ усиленно пить и пренебрегать службой. Онъ сталъ часто пропускать лекціи и повелъ самую безалаберную жизнь, вслѣдствіе чего начальство корпуса начало косо смотрѣть на его поведеніе, и только одинъ инспекторъ П. В. Ми—ригъ, уважая его талантъ и сочувствуя его положенію, всѣми мѣрами старался защищать его отъ нападокъ директора и преподавателей. Между тѣмъ А. А. все болѣе опускался. Ходилъ онъ совершеннымъ оборванцемъ, въ крайне поношенномъ скортукѣ, въ грязномъ бѣльѣ, съ длинными, нечесанными волосами, и имѣлъ жалкій видъ пришибленнаго судьбой человѣка. Богъ знаетъ, что бы стало съ нимъ, если бы онъ еще долѣе остался въ Оренбургѣ дослуживать положенный трехлѣтній срокъ. Очень можетъ быть, что его раньше уволили бы отъ службы, и онъ очутился бы безъ куска хлѣба, безъ близкихъ и друзей на далекой окраинѣ, откуда выбраться особенно въ то время безъ копейки было чрезвычайно трудно. Но онъ одумался во-время и, собравъ кой-какія деньжонки, подъ предлогомъ устройства домашнихъ дѣлъ и перевозки семейства въ Оренбургъ, выпросилъ двадцативосьмидневный отпускъ и выѣхалъ въ Петербургъ<sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> А. Григорьевъ. „Одинокій критикъ“. „Книжки Недѣли“ 1895 г. Сентябрь. Стр. 75—6.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Новыя статьи во „Времени“.—Редактированіе „Якоря“ и непрактичность А. Григорьева.—Тяжелое матеріальное положеніе и разногласіе со всіми направленіями органовъ печати.—Театральная критика и переводы пьесъ.—„Эпоха“ и послѣднія работы А. Григорьева.—Заключеніе въ долговозмъ.—Окончательное разстройство здоровья и упадокъ душевныхъ силъ.—Смерть критика.—Семья покойнаго.—Соболѣзнованія друзей А. Григорьева и отношеніе печати къ личности и литературной дѣятельности усопшаго.

Поѣздка въ Оренбургъ возстановила упавшія силы Ап. Григорьева, вернувшася къ своему излюбленному дѣлу.

Въ первой же книжкѣ «Времени» 1862 года онъ выступилъ со своей капитальной статьей подъ заглавіемъ: «Явленія современной литературы, пропущенныя нашей критикой, гр. Л. Толстой и его сочиненія». Властелинъ нашихъ думъ еще въ то время не успѣлъ создать своихъ высокохудожественныхъ твореній—романовъ «Война и Миръ» и «Анна Каренина», но критикъ, одаренный чрезвычайно тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, сумѣлъ оцѣнить этотъ крупный талантъ по его отношенію къ изображаемымъ предметамъ и отмѣтить отличительную способность его «къ искреннѣйшему анализу души человѣческой». За статьей о произведеніяхъ гр. Л. Н. Толстого слѣдовалъ рядъ другихъ, написанныхъ съ такимъ же глубокимъ проникновеніемъ въ сущность литературныхъ явленій и свидѣтельствующихъ о полномъ расцвѣтѣ критической дѣятельности Григорьева: «Стихотворенія Н. Некрасова». — «По поводу новаго изданія старой вещи, «Горе отъ ума». — «Лермонтовъ и его направленіе. Крайнія грани развитія отрицательнаго взгляда» — и разныя мелкія рецензіи.

Въ исходѣ того же 1862 года онъ приступилъ въ журналѣ «Время» къ писанію автобіографіи «Мои литературныя и нравственныя скитальчества», продолженіе которой, не доведенной все-таки авторомъ до конца, печаталось въ журналѣ «Эпоха»

1864 года. Эта автобіографія, несмотря на излишнюю растянутость, заключаетъ въ себѣ много правды изъ полной тяжелой борьбы, горькихъ уроковъ, невзгодъ и неудачъ жизни критика. Она—исторія всего его умственного и нравственного развитія подѣ влияніемъ разнообразныхъ «вѣяній» и многихъ «литературныхъ эпохъ». Въ предисловіи къ ней онъ говоритъ: «Мнѣ сорокъ лѣтъ, и изъ этихъ сорока, по крайней мѣрѣ, тридцать я живу подѣ влияніемъ литературы. Говорю: «по крайней мѣрѣ», потому что жить, т. е. мечтать и думать, началъ я очень рано, а съ тѣхъ поръ, какъ только я началъ мечтать и думать, я мечталъ и думалъ подѣ тѣми или другими впечатлѣніями литературы».

«Мои литературныя и нравственныя скитальчества» вмѣстѣ съ «Краткимъ послужнымъ спискомъ на память моимъ старымъ и новымъ друзьямъ», съ письмами къ Н. Н. Страхову, А. А. Фету, Я. П. Полонскому и другимъ литераторамъ, а также къ дѣвицѣ Е. С. П....ой, и съ поэтическими произведеніями въ родѣ поэмы «Venezia la bella» служатъ прекрасными, хотя и не вполне достаточными источниками для ознакомленія съ событіями тернистаго земного пути ихъ автора.

Давъ яркую характеристику литературнаго движенія за послѣднія 15 лѣтъ въ статьѣ «Наши литературныя направленія съ 1848 года» въ февральской книжкѣ «Времени», Ап. Григорьевъ въ 1863 году предпринялъ редактированіе еженедѣльной газеты «Якорь» съ юмористическимъ листкомъ «Оса». Въ ней заслуживаютъ вниманія его вѣскіе отзывы о театрѣ.

Къ сожалѣнію, житейская непрактичность и неумѣніе или, лучше, неспособность приравниваться къ запросамъ времени сказались скоро въ его новомъ дѣлѣ. Черезъ годъ онъ самъ сознался въ этомъ въ письмѣ къ Ѳ. М. Достоевскому, сказавъ: «Тщетно забрасывалъ я хрупкій «Якорь». Я предпочелъ наконецъ его бросить». Писатель-психологъ и безъ того хорошо зналъ идеальную, артистическую, но постоянно увлекающуюся и не расчетливую натуру Аполлона Александровича. Впослѣдствіи не разъ печатъ, вспоминая объ участи «Якоря», приносила на память слова Ѳ. М. Достоевскаго о покойномъ Григорьевѣ:

«Я полагаю, что Григорьевъ не могъ бы ужиться вполне спокойно ни въ одной редакціи въ мірѣ. А если бы у него былъ свой журналъ, то онъ бы утопилъ его самъ мѣсяцевъ черезъ пять послѣ основанія». Положимъ, Аполлонъ Григорьевъ не утопилъ своего изданія, но все-таки развязался съ нимъ окончательно въ январѣ 1864 года, хотя, какъ утверждаетъ Д. В. Аверкіевъ, «его имя еще подписывалось подъ названнымъ журналомъ».

Потерпѣвъ неудачу въ собственномъ дѣлѣ, Аполлонъ Григорьевъ нѣкоторое время недоумѣвалъ, куда ему примкнуть. Онъ прекрасно понималъ, что какія бы симпатіи онъ ни питалъ къ тому или другому органу печати, всегда найдется много вопросовъ, въ которыхъ онъ не въ состояніи итти рука объ руку съ редакціей. И вотъ въ первомъ письмѣ «Парадоксовъ органической критики» Аполлонъ Григорьевъ откровенно высказывается Ѳ. М. Достоевскому: «Писать же мнѣ, какъ не безызвѣстно тебѣ,—негдѣ, кромѣ того органа, который связанъ съ тобою и съ твоимъ именемъ: или самъ не пойду, или меня не возьмутъ. Потому, конечно, не пойду, что не сочувствую, и потому, конечно, не возьмутъ, что отъ сотой—не то, что ужъ отъ десятой доли того въ своей мысли, что считаю я выработавшимся органически, я не имѣю ни права, ни охоты отказаться, что этою сотою долею не пожертвовалъ бы я даже тому направленію, на сторонѣ котораго почти-что всѣ мои основныя политическія и общественныя, религіозныя и нравственныя сочувствія, т. е. направленію «Дня». Потому,—какъ я пожертвую? Какъ я буду дѣлить съ «Днемъ» равнодушіе къ величайшему проявленію нашихъ духовныхъ силъ, къ Пушкину, и его еще большее равнодушіе (чтобы не сказать хуже) къ явленію, составляющему для меня послѣднее пока наше слово: къ Островскому? Какъ я притомъ увѣрю себя, что вся прожитая нами послѣ Петра полоса духовнаго развитія—въ сущности миражъ и вздоръ? Какъ я, наконецъ, дойду до пониманія прелести палачества Кирилы Петрова, терзающаго Настасью Дмитрову, до чего дошла страшно-талантливая, но и страшно же увлекающаяся госпожа



Кохановская?.. Все это совершенно невозможно—все это будут наносные, давящіе, тяготящіе пласты въ моемъ органическомъ мірѣ.

Слѣдственно исхода для моей мысли нѣтъ — кромѣ «Эпохи» <sup>1)</sup>.

Такимъ образомъ новый журналъ Достоевскаго былъ единственнымъ убѣжищемъ для «его (А. Григорьева) родившейся органически и недосказавшейся, или принужденной досказываться отрывками мысли».

Въ послѣднее время Григорьевъ отмежевалъ себѣ поле театральнѣй критики, въ которой, хотя и тяготился ею, проявилъ свое дарованіе и тонкое, вѣрное пониманіе драматическаго искусства. Будучи глубокимъ знатокомъ сцены, Аполлонъ Александровичъ заявилъ себя въ этой области и какъ талантливый переводчикъ пьесъ европейскихъ драматурговъ: «Сонъ въ лѣтнюю ночь», «Буря» и «Ромео и Джульета» Шекспира, «Школа мужей» Мольера, «Школа стариковъ» Делавиня, и либретто нѣсколькихъ оперъ для г. Стелловскаго въ 1862 и 1864 гг., а именно: «Балъ-маскарадъ», «Эрнани», «Графъ Оре», «Осада Гента», «Лучія», «Фаворитка», «Бѣлая дама», «Донъ Пасквиле». «Но поэтическая струя у него, замѣчаетъ Д. В. Аверкиевъ, была сильна, и она нашла себѣ прекрасный исходъ въ переводѣ Байрона <sup>2)</sup> и особенно Шекспира. Его переводы Шекспира, необыкновенно оригинальные по приему, но вѣрные по духу (и даже буквально вѣрные), могутъ быть поставлены наравнѣ съ лучшими переводами А. В. Дружинина, А. Кронеберга и началомъ перевода «Буря» Л. А. Мея. Мнѣ случилось слышать престранный приговоръ его переводу «Сна въ лѣтнюю ночь», который такъ высоко ставилъ покойный А. В. Дружининъ (а его, кажется, нельзя упрекнуть въ непониманіи Шекспира). Упрекъ этотъ былъ сдѣланъ господиномъ, собиравшимся издавать Шекспира и даже чуть ли не переводить (не зная подлинника), и состоялъ въ томъ,

<sup>1)</sup> Сочиненія А. Григорьева. Томъ I, стр. 616.

<sup>2)</sup> „Паризина“ и „Чайльдъ Гарольдъ“.

что переводъ сдѣланъ «слишкомъ по-русски» (буквальное выраженіе)... При переводѣ Григорьевъ старался оригинально рѣчью передать характеры шекспировскихъ лицъ. Это особенно ему удалось въ «Ромео и Джульетѣ», гдѣ Ромео, Джульета, Кормилица, Старый Капулетъ, Меркуціо, слуги—все говорятъ свойственнымъ имъ языкомъ, и гдѣ характеры переданы въ совершенствѣ. Григорьевъ въ послѣднее время собирался усерднѣе заняться Шекспиромъ. Окончивъ «Ромео и Джульету», онъ хотѣлъ приняться за «Мѣра за мѣру»<sup>1)</sup>.

Полнымъ безпристрастіемъ проникнуть и отзывъ «Русской Сцены» объ Ап. Григорьевѣ, какъ театральномъ критикѣ. «Несмотря на нѣкоторыя ложныя увлеченія въ мнѣніяхъ, свидѣтельствуетъ ея некрологъ, статьи г. Григорьева, относившіяся собственно къ русскому театру, которому онъ былъ преданъ всею душою, постоянно отличались силою мысли, глубокими взглядами на искусство, требованіями высшихъ и прочныхъ основъ для русской драмы и русской драматической сцены. Будучи всегда порывисто впечатлителенъ, а также постоянно находясь, вслѣдствіе своей печальной домашней обстановки, въ раздражительномъ состояніи, онъ нерѣдко въ сужденіяхъ своихъ о дѣлахъ театра бывалъ несправедливъ, отдавался симпатіямъ и вслѣдствіе этого не разъ впадалъ въ большіе промахи и ошибки. Но такова власть мощнаго духа, такова сила ума и самостоятельной мысли, что, несмотря на эти рѣзко бросавшіеся въ глаза недостатки, горячія статьи его читались съ напряженнымъ вниманіемъ даже людьми, крайне къ нему не расположенными,—а такихъ у него было множество. Рѣзкія, эксцентрическія замѣтки его, подчасъ не деликатныя, но всегда искреннія и прямыя, составляютъ немаловажную часть нашего небольшого театально-критическаго капитала и уже принесли несомнѣнную пользу драматическому дѣлу въ Россіи, прибавя къ убогой суммѣ высказанныхъ нашей литературой воззрѣній на театръ немалую долю свѣтлыхъ и здравыхъ идей. Къ сужденіямъ Аполлона Александровича прислушивались и наши артисты и наши

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г. № 8.

театральные критики, — и признанное достоинство его трудовъ, широкое воззрѣніе его на русское сценическое искусство невольно и незамѣтно вкрадывались и вкоренялись въ нашей журналистикѣ» <sup>1)</sup>).

Послѣдніе полгода своей скитальческой и страдальческой жизни критикъ-самобытникъ отдалъ «Эпохѣ». Догоравшіе дни въ виду надвигавшейся грозы не погасили въ немъ вѣры въ великое назначеніе писателя: вынося жестокіе удары судьбы, онъ оставался все прежнимъ неутомимымъ труженикомъ, свѣтлымъ мечтателемъ и въ какіе-нибудь пять-шесть мѣсяцевъ напечаталъ въ журналѣ, кромѣ продолженія упомянутой автобіографіи, превосходно дорисовывающія его литературную фізіономію статьи: «Парадоксы органической критики» въ формѣ двухъ писемъ къ О. М. Достоевскому. — «Русскій театръ въ Петербургѣ». — «Отживающія литературныя явленія. Г. Григоровичъ». — «Голосъ стараго критика».

Въ первомъ письмѣ критикъ-самобытникъ, подобно матери, предчувствующей свою близкую неизбежную кончину и боящейся оставить свое любимое дитя сиротою въ холодномъ, пустынномъ мірѣ, заступаетъ передъ писателемъ-психологомъ за органическую критику, съ трепетомъ какъ бы убѣждая его уберечь взлелѣянные имъ въ теченіе многихъ лѣтъ принципы отъ бездушныхъ адептовъ Бѣлинскаго, усвоившаго односторонне историческій взглядъ на критику, — Добролюбова и Чернышевскаго, — и народившихся нигилистовъ — Писарева и Зайцева. Въ то же время онъ замѣчательно мѣтко изображаетъ и оцѣниваетъ всѣ періоды дѣятельности Бѣлинскаго, окончательно развѣнчивая того мыслителя, передъ которымъ благоговѣлъ въ юности, какъ передъ высоко-талантливымъ, восторженнымъ учителемъ. «Нѣтъ, я думаю, — утверждаетъ онъ, — ни для кого, тѣмъ болѣе для тебя, ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что Бѣлинскій конца сороковыхъ годовъ — вовсе не то, радикально не то, что Бѣлинскій начала сороковыхъ годовъ, — равномѣрно, что Бѣлинскій начала сороковыхъ годовъ и конца

---

<sup>1)</sup> «Русская Сцена» 1864 г. № 9.

тридцатыхъ, т. е. критикъ первыхъ «Отечественныхъ Записокъ» и зеленаго «Наблюдателя» — опять-таки вовсе не то, радикально не то, что Бѣлинскій «Молвы» и «Телескопа». Нечего говорить ужъ, напимѣрь, о радикальныхъ измѣненіяхъ отношеній его критическаго сознанія къ явленіямъ литературъ чужеземныхъ, о томъ хоть бы, что Бѣлинскій «Молвы» стоитъ на колѣняхъ передъ юной французской словесностью — въ особенности передъ Викторомъ Гюго и Бальзакомъ, а ее же купно и съ Гюго и съ Бальзакомъ топчетъ въ грязь гегелисть-неофитъ зеленаго «Наблюдателя», для котораго существуетъ одинъ идеалъ поэта — олимпійскій Гёте; что Бѣлинскій зеленаго «Наблюдателя» и первыхъ «Отечественныхъ Записокъ» ругается ожесточенно надъ Зандъ, надъ той самой Зандъ, которая для Бѣлинскаго конца сороковыхъ годовъ составляетъ предѣлъ и вѣнецъ современнаго творчества... Прослѣдить одни только отношенія Бѣлинскаго къ нашимъ русскимъ дѣятелямъ — было бы крайне назидательно. «Великая драма», по его выраженію, Грибоѣдова, о которой говоритъ онъ съ паѳосомъ въ «Литературныхъ мечтаніяхъ», въ статьѣ начала сороковыхъ годовъ уже сведена на степень сатиры — вотъ одинъ крупный примѣръ. Но особенно интересно прослѣдить отношенія его къ творчеству Пушкина. Въ «Молвѣ» онъ положительно считаетъ упадкомъ таланта его позднѣйшія произведенія; въ «Наблюдателѣ» млѣетъ и задыхается отъ восторга надъ этою позднѣйшею дѣятельностью великаго гения; въ серединѣ и концѣ сороковыхъ годовъ рядомъ статей о Пушкинѣ, появившихся не всегда скоро одна за другою, увлекаемый новыми завладѣвшими его пламенной головой теоріями, бестрепетно, какъ всегда, громовдя противорѣчія на противорѣчія, — то восторгаясь подѣвліемъ своего великаго эстетическаго чутія, то безжалостно жертвуя впечатлѣніями чисто-мозговымъ уже процессамъ, — онъ, не постепенно даже, а скачками, доходитъ до тѣхъ положеній, изъ которыхъ прямой выходъ въ положенія нашихъ, недавно еще современныхъ теоретиковъ «Современника»: еще шагъ — и онъ назвалъ бы, какъ они, «побрякушками» множество благоуханнѣйшихъ созданій, которыхъ красоту и важность самъ

же намъ растолковывалъ. Во всякомъ случаѣ—до признанія паденія въ Пушкинѣ онъ уже дошелъ; во всякомъ случаѣ—дѣйствиительно-чистый и цѣломудренный ликъ Татьяны,—до сихъ поръ еще самый полный очеркъ русскаго женственнаго идеала,—онъ уже развѣнчалъ,—успѣлъ уже попрекнуть ее сухостью и холодною сердца. Во всякомъ случаѣ тоже, Пушкина-Бѣлкина онъ положительно не понималъ: великій нравственный процессъ, который породилъ это лицо и его совершаніе у поэта, породилъ одни изъ высшихъ его созданій (Капитанская Дочка, Дубровский, Лѣтопись села Горохина) и вмѣстѣ съ тѣмъ породилъ исходныя точки всей нашей современной литературы—отъ него ускользнулъ, или лучше сказать, заслонился отъ его зоркаго ока нимбомъ теорій...

«Для меня лично—равно какъ, вѣроятно, и для тебя—нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что, проживи еще нѣсколько лѣтъ великій критикъ,—онъ все бы это понималъ, и все бы это лучше насъ всѣхъ выяснилъ. Но дѣло въ томъ, что смерть застала критика въ такой именно моментъ, что этотъ послѣдній моментъ его сознанія такъ и застылъ въ школѣ, порожденной не самимъ Бѣлинскимъ, а именно этимъ моментомъ его духа,—что для адептовъ школы и для многихъ работѣльных послѣдователей всякой литературной новизны—это послѣднее его слово и есть единственно-настоящее,—что они того, прежняго-то Бѣлинскаго, пламеннаго поборника и тончайшаго цѣнителя художественной красоты—одни забыли, другіе знать не хотятъ, пренаивно думая, что такъ-вотъ въ этомъ-то напряженномъ и нѣсколько болѣзненномъ, хотя и совершенно поясняемомъ историческими обстоятельствами моментѣ сознанія—весь и высказался такой великій и могущественный духъ, каковъ былъ духъ Бѣлинскаго,—что онъ весь и могъ исчерпаться тѣмъ, что для нихъ доселѣ составляло и составляетъ насущную пищу, или, лучше сказать, жвачку, однимъ другому преемственно передаваемую и окончательно дожевываемую знаменитымъ критикомъ нашихъ дней, г. В. Зайцевымъ... И, вѣдь, нисколько не тревожить ихъ мысль о томъ, что множество увлеченій учителя оказались несостоятельными,

что многое, отъ чего отрекался онъ ради тѣхъ или другихъ овладѣвавшихъ имъ принциповъ,—какъ на примѣръ, Гюго,—до сихъ поръ совершенно живо и здорово въ художественномъ отношеніи, что «побрякушки» Пушкина тоже живы и вѣчно жить будутъ, что самая здоровая часть современной литературы ничего иного не дѣлаетъ, какъ разрабатываетъ міросозерцаніе Ивана Петровича Бѣлкина» <sup>1)</sup>...

Ап. Григорьевъ, считая нигилизмъ естественнымъ послѣдствіемъ отрицательно-историческаго и утилитарно-матеріалистическаго направленій критики и журналистики, ѣдкой сатирой своей неумолимой логики разбиваетъ въ концѣ эти ложныя ученія и съ твердой увѣренностью предвидитъ торжество своихъ взглядовъ на жизнь и искусство. «Для меня «жизнь»,—говоритъ онъ,—есть дѣйствительно нѣчто таинственное, т. е. потому таинственное, что она есть нѣчто неисчерпаемое, «бездна, поглощающая всякій конечный разумъ», по выраженію одной старой мистической книги, необъятная ширь, въ которой нерѣдко исчезаетъ, какъ волна въ океанѣ, логическій выводъ какой бы то ни было умной головы, — нѣчто даже ироническое, а вмѣстѣ съ тѣмъ, полное любви въ своей глубокой ироніи, изводящее изъ себя міры за мірами... Но этотъ кипящій океанъ жизни оставляетъ постепенные отсадки своего кипѣнія въ прошедшемъ,—и въ прошедшемъ, т. е. въ отсадкахъ-то этихъ, мы и можемъ уловлять органическіе законы совершившихся жизненныхъ процессовъ. Больше еще: имѣемъ право и возможность, уловивши въ отсадкахъ процессовъ нѣсколько повторившихся не разъ законовъ, умозаключать о возможности ихъ новаго повторенія, хотя, конечно, въ совершенно новыхъ, невѣдомыхъ намъ формахъ. Затѣмъ, такъ какъ отсадки могутъ быть разбиты на извѣстныя категоріи,—и такъ какъ каждая категорія жизненныхъ процессовъ можетъ быть пазвана извѣстнымъ именемъ,—это имя, составляющее, такъ сказать, душу процесса, становится для насъ на степень *силы жизненной*, породившей и руководившей этотъ процессъ.

<sup>1)</sup> Соч. А. Григорьева. Т. I, стр. 620—22.

«Мышленіе,—до тѣхъ поръ, пока пять, то, бишь... шесть умныхъ книжекъ не свели еще луну на землю,—шло всегда однимъ путемъ, путемъ обобщенія. Не искрененъ даже и такъ называемый нигилизмъ, тщательно скрывая отъ себя, что онъ тоже идетъ поневолѣ путемъ обобщенія» <sup>1)</sup>.

«Въ томъ-то и существеннѣйшая разниа того взгляда, который я называю органическимъ, отъ односторонне-историческаго взгляда, что первый, т. е. органическій взглядъ, признаетъ за свою исходную точку творческія, непосредственныя, природныя, жизненныя силы; иными словами: не одинъ умъ съ его логическими требованіями и порождаемыми необходимо этими требованіями теоріями, а умъ и логическія его требованія—*плюсъ* жизнь и ея органическія проявленія.

«Логическія требованія голаго ума непремѣнно такъ или иначе достигаютъ своихъ, въ данную минуту крайнихъ, предѣловъ, и непремѣнно поэтому укладываются въ извѣстныя формы, въ извѣстныя теоріи. Прилагаемая къ быстро-текущей жизни—формы эти оказываются несостоятельными чуть-что не въ самую минуту своего рожденія, потому что, вѣдь, онѣ сами въ сущности суть не что иное, какъ результаты сознанной, т. е. прошедшей жизни, и къ нимъ какъ нельзя болѣе прилагается глубокій стихъ изъ глубокаго стихотворенія Тютчева: *Silentium*—

„Мысль изреченная есть ложь“... <sup>2)</sup>

Григорьевъ мѣтко и смѣло формулируетъ сущность нигилизма.

«Теперь дѣло разъяснилось окончательно, — заявляетъ онъ,—дѣло въ томъ, что:

1) *Искусство*—вздоръ, годный только для возбужденія спящей человѣческой энергіи къ чему-либо болѣе существенному и важному, отмечаемый тотчасъ же по достиженіи какихъ либо положительныхъ результатовъ.

2) *Національности*, т. е. извѣстныя народныя организмы,—тоже вздоръ, долженствующій исчезнуть въ амальга-

<sup>1)</sup> Сочин. Ап. Григорьева. Т. I, стр. 618—19.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 624.

мировѣ, результатомъ которой долженъ быть міръ, гдѣ луна соединится съ землею.

3) *Исторія* (это было уже года два назадъ совершенно ясно сказано)—вздоръ, бессмысленная теанъ нелѣпныхъ заблужденій, поворныхъ ослѣпленій и смѣшнѣйшихъ увлеченій.

4) *Наука*—кромѣ точной и положительной стороны, выражающейся въ математическихъ и естественныхъ знаніяхъ,—вздоръ изъ вздоровъ, бредъ, одуряющій безплодно человѣческія головы.

5) *Мышленіе*—процессъ совершенно вздорный, ненужный и весьма удобно замѣняемый хорошею выучкою пяти—виновать!—шести умныхъ книжекъ.

«А все-таки вертится!»—повторить невольно галилеевскія слова всякій человѣкъ, привыкшій къ зловердному процессу мышленія. Вѣдь, и эти результаты, въ концѣ концовъ отрицающіе значеніе мышленія, суть все-таки результаты мышленія,—какого тамъ ни на есть, но все-таки мышленія, а не пищеварительнаго процесса» <sup>1)</sup>).

«Такой моментъ сознанія, представляемый идеальнымъ Базаровымъ и идеальнымъ же нигилизмомъ, совершенно понятенъ, имѣетъ совершенно законное мѣсто въ общемъ процессѣ человѣческаго сознанія,—и вотъ почему, отъ души смѣясь надъ фактами, т. е. надъ тѣмъ или другимъ изъ дурашныхъ представителей такъ называемаго нигилизма, я никакъ не позволю себѣ смѣяться надъ самою струею, надъ самымъ вѣяніемъ, которыя—удачно тамъ или вѣтъ—окреплены этимъ прозваніемъ,—еще менѣе способенъ отрицать органически-историческую необходимость этой отрыжки материализма въ новыхъ формахъ. Но, что эта органически-необходимая отрыжка—не болѣе какъ моментъ, въ этомъ тоже не разувѣрять меня никакія мечты о бѣлыхъ Арапіяхъ.

«Мышленіе, наука, искусство, національности, исторія—вовсе не ступени какого-то прогресса, вовсе не шелуха, отмѣтаемая человѣческимъ духомъ тотчасъ же по достиженіи ка-

---

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 626.



кихъ-либо положительныхъ результатовъ, а вѣчная, органическая работа вѣчныхъ же силъ, присущихъ ему, какъ организму» <sup>1)</sup>.

Во второмъ письмѣ «Парадоксовъ органической критики» авторъ, какъ многіе правильно замѣчаютъ, какъ бы уклоняется въ сторону отъ поставленной имъ себѣ задачи и разсуждаетъ объ идеализмѣ Виктора Гюго, указывая родство его воззрѣній, какъ передовыхъ идей вѣка, съ міросозерцаніемъ Шеллинга, Карлейля и натурфилософовъ; въ заключеніе же статьи перечисляетъ пособія, въ которыхъ находятся основанія органической критики: сочиненія Шеллинга, Карлейля, Эмерсона, Эрнеста Ренана, Бокля, Льюиса и Гете; славянофиловъ Хомякова, К. Кирѣевскаго, К. Аксакова, а также Бѣлинскаго до второй половины 40-хъ годовъ.

Такъ возвышенно мыслить, чувствовалъ и жилъ Аполлонъ Александровичъ. Между тѣмъ судьба немилосердно бичевала его своими назойливыми вторженіями въ его святая святыхъ. «Намъ неизвѣстно, говорить «Русская Сцена»,—какова была жизнь его въ прежніе годы, но въ послѣднее время онъ былъ видимо несчастливъ: Богъ вѣсть, вслѣдствіе какихъ душевныхъ потрясеній и житейскихъ невзгодъ имъ овладѣла пагубная страсть, отъ которой погибло столько даровитыхъ людей на Руси. Мы не видимъ причины скрывать отъ публики это грустное обстоятельство и думаемъ, что, высказывая его, не оскорбляемъ чувства почтенія, которое другіе къ нему питали... Лѣтомъ нынѣшняго года его постигло новое бѣдствіе; сдѣлавши, по недостатку средствъ, въ теченіе довольно долгаго времени, долгъ въ нѣсколько сотъ рублей, онъ не нашелъ средствъ выплатить ихъ въ короткій срокъ, кредиторы не согласились отсрочить ему уплату долга,—и онъ попалъ въ «Отдѣленіе несостоятельныхъ должниковъ». Обстоятельство это сильно подѣйствовало на его воображеніе; но онъ скоро оправился, нравственно возсталъ, началъ усердно, лихорадочно работать, надѣясь пріобрѣсти сумму, необходимую для покрытія

---

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 627.

накопившихся долговъ <sup>1)</sup>; торопиль печатаніемъ перевода «Ромео и Джульета», самъ держаль вторую корректуру и много рассчитывалъ получить отъ постановки этой драмы на сценѣ, такъ какъ ему обѣщано было принять ее на поспектакльную плату. Но прежде, чѣмъ онъ могъ привести въ исполненіе свои намѣренія,—благородная русская женщина, А. И. Б—кова, узнавъ о его стѣсненномъ положеніи, внесла за него всю слѣдовавшую сумму денегъ, около 400 рублей, и освободила его изъ заключенія. А. А. Григорьевъ былъ глубоко потрясенъ этою неожиданностью и сочувствіемъ къ его участи со стороны почтенной дамы, къ которой онъ имѣлъ самыя отдаленныя отношенія <sup>2)</sup>.

Заключеніе въ «Долговомъ отдѣленіи» при всемъ расположеніи тюремнаго начальства къ Аполлону Александровичу, къ которому, какъ къ писателю, тамъ съ особеннымъ уваженіемъ и снисхожденіемъ относился одинъ добродушный старичекъ, иногда отпускавшій узника въ городъ на честное слово воротиться назадъ ночевать,—не могло не разстроить критика душевно и не расшатать окончательно его здоровья. Нервное состояніе его было поколеблено настолько сильно, что друзья и всѣ, сердечно любившіе его, принуждены были ходить за нимъ, какъ за капризнымъ ребенкомъ, но, повидимому, уже приближался плачевный конецъ: ни теплое участіе, ни денежная помощь не спасли разбитаго человѣка. «Освобожденіе А. А. Григорьева изъ «Долговаго отдѣленія», говоритъ сынъ критика, случившееся неожиданно, по желанію одной незнакомой ему дамы, вмѣсто того, чтобы привести къ чему-нибудь лучшему, не измѣнило хода дѣла; странно сказать—можно даже поду-

---

<sup>1)</sup> Вотъ что писалъ онъ намъ въ одномъ изъ своихъ писемъ: „Волею судьбы и, пожалуй, собственнаго безобразія и безалаберности, я попалъ въ „Долговое Отдѣленіе“, что, впрочемъ, нынѣ мало меня печалитъ, ибо я сижу и работаю: пишу статьи для „Эпохи“ и отдѣлываю для васъ „Ромео и Джульету“,—такъ что теперь, несомнѣнно, она поспѣетъ къ 1 августа. Для меня очень важно напечатаніе ея въ сентябрѣ. Но, кромѣ того, по поводу драмы надумалась мнѣ во все это время лихая статья въ видѣ Дружининскаго послѣсловія къ „Диру“.

<sup>2)</sup> „Русская Сцена“ 1864 г. № 9.

мать, что оно ускорило смерть его; онъ умеръ черезъ четыре дня послѣ своего освобожденія, умеръ совершенно одинокій, въ пустой квартирѣ, нанятой въ Гусевомъ переулкѣ» <sup>1)</sup>).

За десять дней до кончины его другъ Ник. Ник. Страховъ посѣтилъ его въ «Долговомъ отдѣленіи» и былъ пораженъ его крѣпостью духа, при всемъ упадкѣ физическихъ силъ. Изнуренный, блѣдный критикъ продолжалъ, по обыкновенію, восторженно и горячо обсуждать вопросы журнальной полемики, борьбу «съ извѣстными сторонами славянофильства», присовокупивъ по поводу статьи, помѣщенной въ «Эпохѣ» подъ названіемъ «Славянофилы побѣдили!» — «И вотъ шатаюсь я тутъ всю ночь по коридору, пью чай и всю ночь какъ будто разговариваю съ тобою, съ Бѣляевымъ, съ Аксаковымъ... Спорю, опровергаю, самъ дѣлаю себѣ возраженія, и все это съ такою ясностью, съ такою силою, что, если бы записать все, что я передумалъ, то вышла бы превосходная статья, какую я только способенъ написать». «Воодушевленіе Григорьева, по словамъ Н. Н. Страхова, отличалось на этотъ разъ какою-то особенною живостью и силой. Тутъ невольно могло прійти на мысль, что «есть въ жизни что-нибудь повыше личнаго страданія». Передъ этимъ человѣкомъ, больнымъ, одѣтымъ въ плохіе обноски и сидящимъ въ «Долговомъ отдѣленіи», который однако же всею душою погружается въ общій интересъ и о немъ одномъ думаетъ всю безсонную ночь, передъ этимъ человѣкомъ стало бы стыдно всякому, кто слишкомъ усердно носился бы со своими личными интересами» <sup>2)</sup>).

Въ тяжкомъ заключеніи онъ не разставался со своею другою-мыслью и въ уединеніи живѣе работало его воображеніе, ярче представляли его уму дорогіе образы. Здѣсь онъ закончилъ переводъ драмы Шекспира «Ромео и Джульета» и въ видѣ *post scriptum* къ ней сочинилъ сонетъ—посвященіе той, чьи прекрасныя черты носилъ неразлучно въ своей нѣжно-любящей душѣ:

---

<sup>1)</sup> А. Григорьевъ. Одинокій критикъ. „Книжки Недѣли“ 1895 г. № 9.

<sup>2)</sup> Тамъ же.

И все же ты, далекий призрак мой,  
Въ твоей бывалой дѣйственной святинѣ,  
Передъ очами духа всталъ нѣмой,  
Карающій и гнѣвно-скорбный нынѣ,

Когда я трудъ завѣтный кончилъ свой.  
Ты молніей сверкнулъ въ глухой пустынѣ  
Больной души... Ты чистою струей  
Протекъ внезапно по сердечной тинѣ,

Гармоніей святою вторгся въ слухъ,  
Потрясъ въ душѣ сѣдалище Ваала—  
И все, на что насильно былъ я глухъ,

По ржавымъ струнамъ сердца пробѣжало  
И унеслось—„куда мой падшій духъ  
Не достигнетъ“—въ обитель идеала.

Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ палъ жертвою болѣзненной раздражительности. 25 сентября 1864 года во время непріятнаго объясненія у себя на дому съ однимъ издательемъ, онъ разгорячился и скончался отъ удара <sup>1)</sup>.

Тѣло его погребено въ С.-Петербургѣ на Митрофаньевскомъ кладбищѣ, недалеко отъ главнаго собора и близъ могилы Л. А. Мея, «съ которымъ, по справедливому замѣчанію «Библіотеки для чтенія», такъ много общаго было въ ихъ дарованіяхъ, равно какъ и въ судьбѣ» <sup>2)</sup>.

Вдова покойнаго вмѣстѣ съ двумя сыновьями: 14-лѣтнимъ Петромъ и 12-лѣтнимъ Александромъ—постоянно жила въ Москвѣ. Въ настоящее время никого изъ семьи Ап. Григорьева не осталось въ живыхъ. Сыновья его умерли недавно, но у критика есть внуки.

Періодическая печать, особенно «Эпоха», «День», «Русская Сцена», «Библіотека для чтенія», «Отечественныя Записки» и мн. др. органы,—отозвалась съ глубокой скорбью о потерѣ въ лицѣ скончавшагося Аполлона Александровича Григорьева истиннаго критика, честнѣйшаго писателя и лучшаго на Руси человѣка; друзья же его: Н. Н. Страховъ, Д. В. Аверкіевъ,

<sup>1)</sup> „Русская Сцена“ 1864 г. № 9.

<sup>2)</sup> „Библіотека для чтенія“ 1864 г. № 8.

Ө. М. и М. М. Достоевскіе утратили въ немъ любимаго соработника, единомышленника въ священномъ для нихъ дѣлѣ пробужденія національнаго самосознанія и унесли въ своей груди его завѣтныя мечты, надежды, думы и порывистыя благія стремленія къ любви, правдѣ и народной самобытности.

Аполлонъ Григорьевъ умеръ такъ, какъ онъ желалъ умереть, оставаясь по гробъ горячо преданнымъ своимъ принципамъ. Въ дѣйствительности какъ бы оправдалось пророчество критика; Н. Н. Страховъ передаетъ слѣдующій случай. Однажды, «когда А. Н. Майковъ читалъ въ кругу знакомыхъ свою еще ненапечатанную поэму: «Смерть Люція», Григорьевъ послѣ чтенія воскликнулъ: «Я умру, какъ Люцій! Ни отъ чего не отрекаясь!»

---

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Одинокое положеніе критика при жизни и по смерти въ русской литературѣ. — Причины непопулярности трудовъ А. Григорьева, по мнѣнію Н. Страхова, В. Маркова, С. Трубочева, А. Галахова, Ф. Достоевскаго и Д. Аверкіева. — Выпускъ въ свѣтъ перваго тома сочиненій А. Григорьева въ 1876 г. и медленность распространенія книги — Открытіе памятника А. С. Пушкину въ Москвѣ и пробужденіе интереса къ критикѣ А. Григорьева. — 25 лѣтіе со дня смерти критика-самобытника и литературныя поминки по немъ.

Аполлонъ Григорьевъ при жизни чувствовалъ себя одинокимъ, такимъ же онъ остался и по смерти. Его плодотворная дѣятельность вмѣсто серьезной оцѣнки встрѣтила со стороны современниковъ по большей части искаженія, превратныя толкованія его основныхъ взглядовъ на искусство да ѣдкія насмѣшки; его идеи, какъ сѣмена вольно-цвѣтущаго растенія, были разсѣяны вѣяніями шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ; однакожъ въ тѣхъ мѣстахъ, куда онъ упали, не всегда погибали безслѣдно: кое-гдѣ, пустивъ ростки, онъ напоминали о себѣ, скромно заявляя о своемъ давно почившемъ творцѣ.

Отрицательное направленіе критики, публицистическій характеръ литературы [и нигилизмъ, съ которыми вступилъ въ борьбу въ послѣдніе годы жизни Аполлонъ Григорьевъ, подъ перомъ Чернышевскаго, Писарева и Зайцева довольно успѣшно подрывали въ обществѣ вѣру въ великое значеніе художественныхъ созданій и выдвигали на первый планъ не эстетическіе интересы, а общественные и матеріальные. Вотъ что писалъ И. С. Аксаковъ по поводу смерти Аполлона Григорьева: «Намъ жаль его, — жаль исчезновенія людей неравнодушныхъ, даровитыхъ оригиналовъ, страстныхъ идеалистовъ — въ такое время, когда реализмъ, интересы временно-политическіе и чисто-практическіе, вмѣстѣ съ отвращеніемъ отъ отвлеченной работы мысли и подвиговъ духа, вмѣстѣ съ низменностью нравственныхъ идеаловъ, съ такою властью водворяются въ

нашемъ обществѣ и литературѣ» <sup>1)</sup>). При подобныхъ теченіяхъ мысли, естественно, сочиненія критика-самобытника постепенно забывались обществомъ, которое и безъ того уже было мало или почти совсѣмъ не знакомо съ ними и предубѣжденно настроено противъ личности покойнаго.

Но, кромѣ чисто внѣшнихъ причинъ отчужденнаго положенія талантливаго писателя, въ разное время выставлялись на видъ и внутреннія. Н. Н. Страховъ объ этомъ думаетъ такъ: «Одна изъ прямыхъ и простыхъ причинъ этого заключается въ малой доступности для читающихъ самаго рода его писаній. Критика, по существу дѣла, есть нѣкоторое философское разсужденіе, и слѣдовательно требуетъ особаго упражненія и усилія мысли. Къ внутреннимъ (причинамъ) принадлежитъ, на примѣръ, широта и многосторонность мысли, затрудняющая пониманіе и мѣшающая самому писателю выражать свой взглядъ рѣзкими формулами и итогами <sup>2)</sup>). Другой критикъ, Василій Марковъ, возражаетъ противъ этого мнѣнія: «Напрасно приписывать это одному только непониманію или равнодушію читающей массы. Мы полагаемъ, что главнымъ образомъ тому мѣшала недостаточная опредѣленность взглядовъ и симпатій критика, безформенность общихъ началъ, въ которыхъ онъ терялся, а прежде всего—то, что онъ не отзывался на «думу» времени, на его запросы, не подмѣтилъ тѣхъ стремленій своей эпохи, которыя были самою характеристическою, преобладающею ея чертою. Онъ расплывался въ своихъ симпатіяхъ и не имѣлъ вполне опредѣленнаго знамени, съ недвусмысленнымъ, яснымъ девизомъ. Ап. Григорьевъ часто сердился, что его не понимаютъ, что его упрекаютъ въ неясности» <sup>3)</sup>). Весьма характеристично и мнѣніе С. С. Трубочева по данному вопросу. «Ап. Григорьевъ при жизни не пользовался такимъ успѣхомъ и такой популярностью, какъ его современники критики-публицисты, хотя критическія статьи зрѣлаго періода его дѣятельности обнимаютъ тринадцать лѣтъ (1851—1864 гг.), времѣ

<sup>1)</sup> „День“ 1864 г. № 40, стр. 20.

<sup>2)</sup> Сочиненія Аполлона Григорьева. Т. I. Предисловіе.

<sup>3)</sup> Василій Марковъ. На-встрѣчу. Спб. 1878 г. стр. 280—1.

немного меньше, чѣмъ дѣйствовалъ Бѣлинскій (1834—1848 гг.), не говоря уже о Добролюбовѣ и Писаревѣ, которые оба умерли до тридцати лѣтъ, при чемъ Добролюбовъ, напр., подвизался на критическомъ поприщѣ всего четыре года. Непопулярность Ап. Григорьева объясняется, съ одной стороны, общимъ характеромъ времени, когда главенствующая роль въ журналистикѣ и критикѣ принадлежала «Современнику» съ его публицистическими наклонностями, а съ другой стороны—характеромъ дѣятельности критика, который въ эпоху увлеченія злобой дня стоялъ въ сторонѣ отъ всякихъ текущихъ общественныхъ интересовъ. Противники-публицисты были до нѣкоторой степени правы, обвиняя Ап. Григорьева въ томъ, что всѣ его статьи составляютъ только «введеніе» къ критическимъ разбормъ, что дальше введеній этотъ критикъ не пошелъ; что, широко задумавъ статью, чуть-чуть не съ явищъ Леды, критикъ на нихъ и останавливался, общая между тѣмъ продолженіе. Этотъ недостатокъ дѣйствительно былъ за Ап. Григорьевымъ, онъ любилъ писать къ своимъ статьямъ обширныя «вступленія» и на нихъ останавливаться» и т. д. <sup>1)</sup>). Въ другомъ мѣстѣ г. Трубачевъ, говоря о печальныхъ послѣдствіяхъ отрицательнаго отношенія критики къ Пушкину, замѣчаетъ: «Одинъ голосъ Ап. Григорьева былъ безсиленъ противъ хора настойчивыхъ голосовъ какъ критиковъ-публицистовъ, такъ и критиковъ-эстетиковъ. Притомъ даровитый критикъ не успѣлъ развить своихъ взглядовъ на Пушкина съ той полнотой и систематической опредѣленностью, которая была необходима для того, чтобы эти новые плодотворные взгляды упрочились въ общественномъ сознаніи» <sup>2)</sup>).

А. Д. Галаховъ неуспѣхи литературной дѣятельности Ап. Григорьева приписываетъ его склонности къ увлеченіямъ. «Но, съ другой стороны, замѣчаетъ онъ, въ умѣ и чувствѣ г-на Григорьева было *заложено* (выражаясь его словомъ) и такое свойство, которое много вредило ему въ жизни и не-

<sup>1)</sup> С. С. Трубачевъ. Пушкинъ въ русской критикѣ. Спб. 1889 г. Стр. 339—41.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 361.



рѣдко сбивало его съ прямого пути въ критикѣ. Это свойство заключалось въ порывистости, эксцентричности увлеченій. Онъ увлекался не только сердцемъ, но и умомъ, можетъ быть,—еще чаще умомъ, чѣмъ сердцемъ. Головная восторженность обратилась у него почти въ критическое состояніе. Онъ самъ признавался въ такомъ грѣхѣ (если слово «грѣхъ» здѣсь уместно), какъ видно изъ перваго письма его къ Ф. М. Достоевскому (въ «Парадоксахъ органической критики»), гдѣ, между прочимъ, говорится: «На меня даже на время аскетическое настроеніе напало, чему ты, зная мою—ну хоть *головную*, если не сердечную *отзывчивость*, нисколько, конечно, не удивишься» (стр. 631). Пользуясь такою отзывчивостью, не трудно было другимъ по произволу двигать Григорьева въ ту или другую сторону, и еще легче было ему самому двигать себя, волноваться» <sup>1)</sup>).

Напротивъ, Ф. М. Достоевскій и Дм. В. Аверкиевъ ставили способность увлекаться Григорьеву въ достоинство, и первый даже замѣчаетъ, что фразу: «увлекался» «некрологисты его (изъ которыхъ, безъ сомнѣнія, рѣдкій и читалъ Григорьева) обратили въ пошлое выраженіе» <sup>2)</sup>). Съ своей стороны, Достоевскій неудачи Григорьева приписываетъ отсутствію въ немъ публицистической жилки, и по этому поводу сообщаетъ слѣдующее: «Я критикъ, а не публицистъ»,—говорилъ онъ мнѣ самъ нѣсколько разъ и даже незадолго до смерти своей, отвѣчая на нѣкоторые мои замѣчанія. Но всякій критикъ долженъ быть публицистомъ, въ томъ смыслѣ, что обязанность всякаго критика не только имѣть твердыя убѣжденія, но *умѣть* и проводить свои убѣжденія. А эта *умѣлость* проводить свои убѣжденія и есть главнѣйшая *суть* всякаго публициста. Но Григорьевъ, судя о словѣ *публицистъ* съ предубѣжденіемъ,—по нѣкоторымъ частнымъ примѣрамъ бывшихъ у насъ публицистовъ,—не хотѣлъ даже и понимать, чего отъ него добивались, и кто знаетъ, по своей

<sup>1)</sup> „Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія“ 1877 г., январь. Стр. 116.

<sup>2)</sup> „Эпоха“ 1864 г., сентябрь.

гамлетовской мнительности, можетъ быть, думалъ, что отъ него добиваются отступничества» <sup>1)</sup>).

Таковы причины, обуславливавшія незавидное положеніе Ап. Григорьева въ обществѣ и въ печати и при жизни и по смерти критика, но есть еще не мало мнѣній по данному вопросу, не заслуживающихъ, впрочемъ, вниманія, потому что принадлежать нерѣдко лицамъ, которыя одною рукою гладятъ покойника по головѣ, а другою въ то же время фарисейски бьютъ его по щекамъ.

Относительно неясности, неопредѣленности изложенія мыслей и частой повторяемости въ критическихъ статьяхъ А. Григорьевъ, самъ признавая нѣкоторую темноту въ своемъ слогѣ, говорилъ:—«самый несносный зудъ появляется у мысли, родившейся органически и не досказавшейся, или принужденной досказываться отрывками: невольныя повторенія вкрадываются въ такіе, лишенные видимой стройной связи съ цѣлымъ, отрывки; невольныя намеки лишаютъ ихъ желаемой ясности. Потому: вѣдь, мнѣ тоже хотѣлось бы писать ясно, конечно, только не до степени той *соблазнительной* ясности, которую такъ удачно заклеили этимъ эпитетомъ другъ нашъ Косица: поставлять умственную «жеваницу» для поколѣнія, больного собачьей старостью, я, сколь ни скромно думаю о себѣ,—однако не въ состояніи. Желаемая же мною ясность можетъ быть достигнута только органическимъ ходомъ органической мысли» <sup>2)</sup>).

Что же касается обвиненій въ отсутствіи цѣлостности и законченности въ критикѣ Ап. Григорьева, то Д. В. Аверкіевъ защищаетъ своего друга, ссылаясь на слѣдующіе доводы: «Ставить увлеченія въ упрекъ человѣку значить не знать человѣческой природы; кто ни разу не увлекался, тотъ ни разу не говорилъ правды. Работая въ этомъ направленіи, Григорьевъ боялся, чтобы новые результаты работы не приняли формы законной теоріи. Вотъ почему изъ славянофиловъ съ самымъ большимъ сочувствіемъ онъ относился къ Хомякову. Ясный и

<sup>1)</sup> Тамъ же.

<sup>2)</sup> Сочиненія Ап. Григорьева. Т. I, стр. 616.

и многосторонній умъ Хомякова былъ также противъ замкнутости теорій» <sup>1)</sup>).

Такой же взглядъ на причины обособленности Григорьева высказало въ своемъ некрологѣ «Народное Богатство»: «Замѣченный страстнымъ борцомъ за русскую мысль и русское развитіе, Григорьевъ оставался неоцѣненнымъ и незамѣченнымъ большинствомъ публики и даже литераторовъ, и посреди именъ, превозносимыхъ на минуту и чрезъ минуту умирающихъ, имя его произносилось очень рѣдко и то съ какимъ-то страннымъ отѣнкомъ; онъ не отвѣчалъ тѣмъ требованіямъ, которыя неслись со всѣхъ сторонъ; къ своеобразной оригинальности его мысли и выраженія не былъ приготовленъ

И пораженъ бывалъ лишь мелкою свѣтъ  
Его лица необщимъ выраженіемъ.

Гдѣ же причина? Какъ всѣ умы широкіе, Григорьевъ не могъ замкнуть себя въ узкую доктрину, послѣднее прибѣжище и послѣдній оплотъ всякой ограниченности; но онъ не былъ гениемъ, чтобы создать свою собственную, цѣльную систему, способную увлечь за собою, по крайней мѣрѣ, многихъ. Полный вѣры и въ то же время скептикъ по натурѣ, онъ въ своихъ произведеніяхъ не разъ стоялъ на томъ рубежѣ, который давно выразился Альфредомъ Мюссе въ введеніи къ «Коллѣ»; потому, не бывши славянофиломъ, онъ во многомъ сочувствовалъ этому во многихъ отношеніяхъ широкому и высокому ученію, и въ то же время умѣлъ, какъ человекъ въ высшей степени правдивый, осуждать его увлеченія» <sup>2)</sup>).

Какъ бы то ни было, но фактъ скорого забвенія А. Григорьева современнымъ ему обществомъ остается безотраднымъ явленіемъ. Судьба большинства русскихъ поэтовъ и писателей не миновала и критика-самобытника.

По-истинѣ, горькая участь постигла труды Аполлона Григорьева. Несмотря на теплое участіе въ немъ и на заботы его ближайшихъ друзей вскорѣ послѣ его смерти о выпускѣ въ свѣтъ его сочиненій, до сихъ поръ еще не имѣется въ печати

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г., августъ.

<sup>2)</sup> „Народное Богатство“ 1864 г. № 212.

полнаго собранія ихъ, за исключеніемъ одного тома, изданнаго покойнымъ Николаемъ Николаевичемъ Страховымъ въ 1876 году. Со стороны друга Аполлона Григорьева это изданіе было настоящимъ подвигомъ, и теперь на протяженіи тридцати пяти лѣтъ можетъ считаться знаменательнымъ событіемъ въ нашей умственной жизни вообще и въ нашихъ отношеніяхъ къ отечественному мыслителю въ частности. Выходъ въ свѣтъ перваго тома критическихъ статей Аполлона Григорьева — явленіе весьма достопримѣчательное, потому что эта цѣнная по мыслямъ книга не встрѣтила поддержки ни со стороны ученаго міра, ни со стороны общества, которое какъ-то холодно иногда относится къ своимъ скромнымъ дѣятелямъ. Толстые журналы или обошли ее полнымъ молчаніемъ или обмолвились, подобно «Вѣстнику Европы», нѣсколькими словечками въ пользу автора и его издателя въ «Библиографическомъ листкѣ». Изъ болѣе обстоятельныхъ отзывовъ о ней можно упомянуть лишь замѣтки А. Д. Галахова въ январской книжкѣ «Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія» 1877 г. и Василя Маркова въ его книгѣ «На-встрѣчу». Первый томъ, по заявленію Н. Н. Страхова, былъ пробнымъ шаромъ; за нимъ въ случаѣ спроса со стороны публики издатель собирался напечатать еще три тома. Но послѣдній обманулся въ своихъ надеждахъ: сочиненія Аполлона Григорьева залежались на полкахъ магазиновъ и въ половинѣ 80-хъ годовъ перешли въ руки уличныхъ книгопродавцевъ по значительно пониженной цѣнѣ (вмѣсто 3 руб. за 75 коп.).

Быть можетъ, изданіе книги совпало съ началомъ войны, отвлекшей вниманіе всего русскаго общества отъ философскихъ идей къ жгучимъ вопросамъ живой дѣйствительности, и этимъ слѣдуетъ объяснить задержку въ ея распространеніи. Но, къ сожалѣнію, приходится узнавать, что многіе изъ молодежи и интеллигенціи вовсе не слышали имени покойнаго критика ни на школьной скамьѣ, ни въ жизни. Лучшимъ подтвержденіемъ этого служить признаніе преждевременно скончавшагося въ 1896 году критика Ю. Николаева (Отрока—Говорухи), который о своемъ первомъ знакомствѣ съ сочиненіями Ап.

Григорьева такъ вспоминалъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ»: «Мнѣ кажется, Н. Н. Страховъ нѣсколько ошибается. Имя А. Григорьева было извѣстно развѣ только въ литературныхъ кружкахъ—да и то лишь его имя, а не его произведенія,—что касается читающей публики, то тамъ даже имя Григорьева мало знали или вовсе не знали. Теперь это имя извѣстно гораздо больше, но и опять-таки только имя, а не произведенія. Во время же дѣятельности Григорьева, его знали развѣ по насмѣшливымъ выходкамъ противъ него Добролюбова.

«Помню, какъ я узналъ объ А. Григорьевѣ. Это было въ половинѣ семидесятыхъ годовъ. Я былъ почти еще мальчикомъ, зачитывался чуть не до заучиванія наизусть Бѣлинскимъ и Герценомъ, зналъ также Добролюбова и Писарева, хотя ни тотъ, ни другой не производили на меня впечатлѣнія; но объ А. Григорьевѣ не слыхалъ ничего. Случилось это очень просто; когда я обращался къ «развитымъ» и даже «ученымъ» людямъ (къ профессорамъ, напримѣръ), мнѣ указывали Бѣлинскаго, Герцена, Добролюбова, Писарева, но никто не говорилъ объ А. Григорьевѣ. Въ тогдашней же популярной журналистикѣ о немъ уже вовсе не упоминали, не было даже насмѣшекъ надъ нимъ.

«Объ А. Григорьевѣ въ первый разъ я узналъ совершенно случайно. Въ половинѣ семидесятыхъ годовъ я попалъ въ Петропавловскую крѣпость, куда меня посадили, какъ подсѣдственнаго арестанта по обвиненію въ политическомъ преступленіи. Въ первое время (въ продолженіе цѣлаго года, пока длилось дознаніе) книгъ «съ воли» получать было нельзя. Единственная книга, которую я имѣлъ, было Евангеліе: я нашелъ его въ камерѣ на своемъ столикѣ. Потомъ мнѣ позволили купить Библію. Съ полгода я только и имѣлъ Библію и Евангеліе. Но потомъ стали давать книги изъ крѣпостной бібліотеки. Откуда взялась и какъ составилаь эта бібліотека—не знаю. Въ ней было съ полсотни разрозненныхъ томовъ. Были тутъ двѣнадцать томовъ исторіи Соловьева, разрозненные томы Костомарова, старые журналы: *Вѣстник*

*Европы, Современники*, тоже большею частью разрозненные; были и кое-какія книжки *Времени* и *Эпохи*. Тутъ-то я прочелъ нѣкоторыя статьи Григорьева, которыя явились для меня какъ бы новымъ откровеніемъ...

«Черезъ три года, когда меня освободили, я досталъ себѣ первый томъ сочиненій Григорьева, изданный Н. Н. Страховымъ. Въ этомъ первомъ томѣ собрано все самое существенное, что писалъ Григорьевъ. Я прочелъ этотъ первый томъ, и впечатлѣніе было неотразимое. Впечатлѣніе это обусловливалось не глубокимъ пониманіемъ идей Григорьева; тогда я еще мало былъ подготовленъ къ такому пониманію ихъ; впечатлѣніе это производила та искренность и та безграничная любовь къ литературѣ, которыя свѣтятся въ каждой строчкѣ, написанной Григорьевымъ. «Въ литературѣ, какъ и въ жизни, всегда были, есть и будутъ—

....вездѣ встрѣчаемыя лица,  
Необходимые глупцы...

И вотъ эти-то «необходимые глупцы», если они научились писать бойко и развязно, часто имѣютъ успѣхъ, часто заслоняютъ собою такихъ писателей, какъ А. Григорьевъ» <sup>1)</sup>.

Открытіе памятника Пушкину въ Москвѣ въ 1880 году произвело сильный переворотъ въ воззрѣніяхъ общества на литературу, и съ этого времени интересъ къ поэзіи быстро возрастаетъ не только въ печати, но и въ молодомъ поколѣніи, проявляющемъ постепенно наклонность къ идеализму. Имя А. Григорьева, какъ истолкователя Пушкина, все чаще и чаще раздается вмѣстѣ съ именемъ великаго поэта съ кафедры въ С.-Петербургскомъ Университетѣ, гдѣ покойные нынѣ профессора Орестъ Ѳеодоровичъ Миллеръ и Александръ Ильичъ Незеленовъ съ любовью развиваютъ передъ своими слушателями эстетическіе взгляды критика-самобытника.

Наконецъ, въ 1889 году исполнилась четверть вѣка со смерти Ап. Григорьева и представители періодической печати

<sup>1)</sup> Ю. Николаевъ. А. А. Григорьевъ. (По поводу исполнившагося тридцати лѣтій со дня его смерти). „Московскія Вѣдомости“ 1894 г. № 266.

безъ различія знамени единогласно совершили поминки по славномъ мыслителѣ земли Русской. Памяти покойнаго было посвящено много статей. Между ними первое мѣсто занимаетъ теплое слово Н. Н. Страхова, напечатанное въ «Новомъ Времени» и сообщающее интересные факты о посмертной участи А. Григорьева въ связи съ развитіемъ нашей литературы <sup>1)</sup>. «Четверть столѣтія, писалъ критикъ-философъ, — долгое время для нашей краткой жизни! Но, если бы онъ (Григорьевъ) всталъ изъ могилы, что новаго нашелъ бы онъ въ русской литературѣ, составлявшей всегдашній предметъ его мыслей. Вѣроятно, онъ былъ бы очень удивленъ медленностью нашего развитія. Въ самомъ дѣлѣ, при немъ уже были на лицо и громко заявили себя всѣ силы, дѣятельность которыхъ наполняетъ это двадцатипятилѣтіе. Въ публицистикѣ уже тогда были въ полномъ цвѣту петербургскій нигилизмъ и два московскихъ соперника — Катковъ и Аксаковъ. Въ беллетристикѣ уже стояли на высшей своей точкѣ Тургеневъ, Островскій, Писемскій, пожалуй, и Салтыковъ. Всѣ, кого мы называли, лишь недавно окончили свою дѣятельность, но лучшее свое поприще прошли уже при Григорьевѣ, а потомъ только понижались, иногда даже чересчуръ замѣтно. Наоборотъ, два писателя, Достоевскій и Л. Н. Толстой, вполне раскрыли свои силы, приобрѣли значеніе, можно сказать, отодвинувшее на второй планъ всѣхъ предыдущихъ, только послѣ смерти Григорьева. Но и при немъ они уже очень опредѣлились, и имена ихъ стояли въ первомъ ряду. Наконецъ, поэты въ тѣсномъ смыслѣ были тогда тѣ же и имѣли тотъ же стосительный вѣсъ, какой мы имъ теперь придаемъ: изъ покойныхъ — Тютчевъ и Некрасовъ, изъ живыхъ — Майковъ, Полонскій и Фетъ.

«Разгадка этой остановки, кажется, одна: мы перенесли въ это время тяжкую и страшную болѣзнь — нигилизмъ; въ «интеллигенціи» возникло злокачественное броженіе, которое

---

<sup>1)</sup> Н. Страховъ. Поминки по Аполлонѣ Григорьевѣ (1822—1864). „Новое Время“ 1889 г. 25 сентября, № 4876.

принимало различныя формы, обострялось и притихало, и разразилось, наконецъ, безумнымъ злодѣйствомъ 1-го марта. Мы жили среди колебанія умовъ и душъ, постоянно отвлекавшаго вниманіе, не дававшего зрѣть никакимъ зачаткамъ.

«Но, если новыхъ талантовъ почти не появлялось, то литература все-таки продолжала расти и развиваться, такъ сказать, вопреки нигилизму.

«Аполлонъ Григорьевъ есть писатель, значенію котораго тоже суждено возрастать вмѣстѣ съ развитіемъ нашего литературнаго сознанія.... При жизни онъ не имѣлъ никакого успѣха у читателей и былъ совершенно затертъ тѣми, кого онъ называлъ «теоретиками». Хотя имя его и тогда уже было громко, но оно приобрѣло свой вѣсъ только между писателями, которые не могли же не чувствовать его силы, если только были сколько-нибудь проницательны. Не только онъ былъ глубоко образованный человѣкъ, знавшій языки, начитанный, посвященный въ философію, но и очевидный блескъ зрѣлаго ума и тонкость пониманія ставили его далеко выше другихъ. Между тѣмъ, писанія его были не по вкусу и не по плечу публикѣ и проходили безслѣдно, лишь изрѣдка привлекая иного чуткаго читателя, который за то ужъ становился ихъ жаркимъ поклонникомъ. Та же судьба преслѣдовала его и за гробомъ. Когда въ 1876 г. былъ изданъ первый томъ его сочиненій, очень большая книга, содержащая всѣ его главныя, руководящія статьи, то это изданіе сразу, что называется, сѣло и почти вовсе не шло цѣлыя десять лѣтъ. Какимъ образомъ случился поворотъ въ этомъ дѣлѣ? Судя по всему, большая роль здѣсь принадлежитъ профессорамъ русской словесности, изъ которыхъ мы можемъ назвать А. Д. Галахова, О. Θ. Миллера и А. И. Незеленова. Они въ своихъ ежегодныхъ курсахъ натвердили студентамъ имя Григорьева, какъ замѣчательнаго критика. Какъ бы то ни было, но только, вообще, значеніе Григорьева, незримо для текущей литературы, очень возрасло къ послѣднему времени, и, когда цѣна на его книгу была сильно сбавлена, она разошлась съ удивительной быстротою; отъ 2,000 экземпляровъ осталось уже очень мало. Правда, пришлось



прибѣгнутьъ къ тѣмъ лавочкамъ, которыя умѣютъ лучше продавать, чѣмъ магазины» <sup>1)</sup>).

Утромъ 25 сентября на Митрофаньевскомъ кладбищѣ въ лѣвомъ придѣлѣ стараго деревяннаго собора была отслужена заупокойная обѣдня и панихида по Ап. Григорьевѣ, на которой помянули также имена Бориса Алмазова, Евгенія Эдельсона, Прова Садовскаго и Александра Островскаго. Вмѣстѣ съ родными покойнаго собрались почтить память критика государственнын контролеръ Т. И. Филипповъ, артисты М. И. Писаревъ, И. О. Горбуновъ, литераторы Н. Н. Страховъ, Д. В. Аверкиевъ, С. В. Максимовъ, Г. П. Данилевскій, проф. А. И. Незеленовъ, Н. Потѣхинъ, К. К. Случевскій и многіе изъ молодыхъ писателей. Послѣ литіи на могилѣ А. Григорьева поэтъ К. К. Случевскій прочелъ глубоко прочувствованное стихотвореніе.

Но праздникъ прошелъ,—и періодическая печать какъ бы повторила народную пословицу: «Полно, отрезвонилъ и съ колокольни долой!». Вновь воцарилось глубокое молчаніе. Только сынъ критика, Александръ Аполлоновичъ, вспомнилъ о своемъ отцѣ и помѣстилъ въ 1895 году въ августовской и сентябрьской «Книжкахъ Недѣли» біографическія данныя о немъ да въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» въ 1894 году Ю. Николаевъ напечаталъ фельетонъ въ день тридцатилѣтія кончины критика.

Въ нынѣшнемъ году приближается тридцатипятилѣтіе смерти А. Григорьева, совпадающее со столѣтней годовщиной А. С. Пушкина, а между тѣмъ пока ничего не слышно объ изданіи его сочиненій. Чѣмъ заслужилъ Аполлонъ Григорьевъ или, напримѣръ, писатель Рѣшетниковъ, которые посвятили всѣ лучшія свои силы и стремленія на благо родного народа для облегченія его духовныхъ и матеріальныхъ невзгодъ,—чѣмъ заслужили эти многострадалные труженики и поборники самобытности русской такого пренебреженія и равнодушія соотечественниковъ къ своимъ талантамъ?

<sup>1)</sup> Н. Страховъ. Помянки по Аполлонѣ Григорьевѣ (1822—1864) „Новое Время“ 1889 г. 25 сентября № 4876.

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Наружность и здоровая, крѣпкая натура Ап. Григорьева. — Душевный складъ его: сходство съ Гамлетомъ, Чацкимъ и Донъ-Кихотомъ. — Положительныя и отрицательныя стороны его характера. — Основныя свойства его личности; отраженіе въ ней стихій народнаго духа и богатство индивидуальных особенностей: его идеализмъ, энтузіазмъ, даровитость. — Частная жизнь Ап. Григорьева: отсутствіе склонности въ критику къ семейной оскѣдлости и супружеская рознь Григорьевыхъ, по объясненію ихъ сына; горячая привязанность А. А. къ предмету своей прежней любви; отношенія къ друзьямъ и постороннимъ лицамъ; демократизмъ А. А. и простой образъ жизни, нерасчетливость и непрактичность, неумѣнье распределять время и непостоянство въ трудѣ, злоупотребленіе напитками и печальныя послѣдствія. — Артистическая натура Григорьева. — А. А., какъ многосторонне образованный, начитанный, гуманный, искренній и честный писатель. — Критическій талантъ его, отличительныя черты его мышленія и оцѣнки литературныхъ явленій. — Заслуга Григорьева въ исторіи русской критики и господствующее разногласіе о мѣстѣ, занимаемомъ имъ въ ней: сторонники первенства В. Г. Бѣлинскаго и сопоставленіе дарованія и дѣятельности Григорьева со значеніемъ критики Н. А. Добролюбова. — Послѣдователи А. А. Григорьева: Н. Н. Страховъ и Ю. Николаевъ. — Важная роль покойнаго критика въ дѣлѣ пробужденія народнаго самосознанія и умственнаго и эстетическаго развитія русскаго общества; возможно-широкое распространеніе его идей, какъ лучшей памятникъ ему; стихотвореніе К. К. Случевского.

Симпатичное лицо Аполлона Александровича Григорьева воплотило въ себѣ лучшія стихіи человѣческой природы: физическое здоровье, твердость духа, сосредоточенность, трезвость, глубину и стройность мысли, рѣзкую прямоту, благородство и нѣжность сердца, страстность чувства, живую порывистость къ дѣятельности.

По описанію Н. Н. Страхова, «онъ былъ средняго роста и имѣлъ прекрасную наружность, поражающую соединеніемъ силы и граціи; въ немъ дѣйствительно была грандіозность, такъ шедшая къ его напряженной натурѣ. Сѣрые глаза, небольшие, но замѣчательно далеко разставленные одинъ отъ другого, имѣли необыкновенный блескъ, поразившій меня, замѣчаетъ другъ критика, когда я его увидѣлъ въ первый разъ.

Носъ орлиный. Руки, съ которыми онъ обращался крайне небрежно, были малы, нѣжны и красивы, какъ у женщины».

Въ другомъ мѣстѣ тотъ же писатель говоритъ, что Григорьевъ «обладалъ могучимъ здоровьемъ, которое не подвергалось никакимъ вліяніямъ климата, и, казалось, безъ ущерба выносилъ всѣ излишества, которымъ ему случалось предаваться» <sup>1)</sup>).

По своему душевному складу Аполлонъ Григорьевъ національной самобытностью, пылкостью характера и твердостью убѣжденій напоминалъ Чацкаго; самъ онъ находилъ въ себѣ много общаго съ Донъ-Кихотомъ; О. М. Достоевскій его причисляетъ къ гамлетовскимъ натурамъ, созданнымъ на русской почвѣ. «Григорьевъ, по его опредѣленію, былъ хоть и настоящій Гамлетъ, но онъ, начиная съ Гамлета Шекспирова и кончая нашими русскими современными Гамлетами и гамлетиками, былъ одинъ изъ тѣхъ Гамлетовъ, которые менѣе прочихъ раздваивались, менѣе другихъ и рефлексировали. Человѣкъ онъ былъ непосредственно, и во многомъ даже себѣ невѣдомо,—почвенный, кряжевой. Можетъ быть, изъ всѣхъ своихъ современниковъ онъ былъ наиболѣе русскій человѣкъ, какъ натура (не говорю, какъ идеалъ; это разумѣется). Отъ этого и происходило, что малѣйшій порывъ свой въ общемъ дѣлѣ онъ считалъ до того *кровнымъ* и необходимымъ для *всего* дѣла, до того неразрывнымъ съ дѣломъ, что малѣйшее неудовлетвореніе этому порыву казалось ему иногда паденіемъ всего дѣла. И, такъ какъ раздваивался жизненно онъ менѣе другихъ и, раздвоившись, не могъ такъ же удобно, какъ всякій «герой нашего времени», одной своей половиной тосковать и мучиться, а другой своей половиной только наблюдать тоску своей первой половины, сознавать и описывать эту тоску свою, иногда даже въ прекрасныхъ стихахъ, съ самообожаніемъ и съ нѣкоторымъ гастрономическимъ наслажденіемъ,—то и заболѣвалъ тоскою своею весь, цѣликомъ, *всѣмъ* *человѣкомъ*, если позволятъ такъ выразиться» <sup>2)</sup>).

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г. Сентябрь.

<sup>2)</sup> „Эпоха“ 1864 г., сентябрь.

Вѣра въ Бога, въ жизнь, въ знаніе, въ искусство и высокое назначеніе слова, беззавѣтная преданность убѣжденіямъ, правдивость и искренность составляли врожденные душевные свойства Григорьева, какъ человѣка. Даже такой почтенный либераль, какъ г. А. Скабичевскій, который расходится съ его личности съ религіознымъ благоговѣніемъ, приравнивая его къ литературнымъ праведникамъ и чуть не приобщая къ лику святыхъ, о чемъ покойному никогда и не грезилось, и въ чемъ онъ вовсе не нуждался. «Привлекаетъ Ап. Григорьевъ насъ, по глубокому признанію критика «Новостей»,—и какъ человѣкъ. Въ литературѣ нашей немного людей, столь неподкупно честныхъ, искреннихъ, такъ горячо увлекавшихся своими идеями, и такъ глубоко и беззавѣтно преданныхъ своему дѣлу. Съ головы до ногъ принадлежалъ онъ къ числу тѣхъ чистыхъ и горячихъ идеалистовъ 40-хъ и 50-хъ годовъ, которые своею безсребренностью и аскетическимъ отстраненіемъ отъ всѣхъ житейскихъ благъ, ради безкорыстнаго служенія благу, истинѣ и красотѣ, до сихъ поръ производятъ на насъ впечатлѣніе словно какихъ-то святыхъ. Да, онъ вполне принадлежалъ къ лику литературныхъ праведниковъ» <sup>1)</sup>).

Но на ряду съ привлекательными качествами, высоко цѣнившимися въ немъ всѣми его современниками, въ его характерѣ заключались черты, которыя нельзя считать безнравственными, но которыя причиняли ему много непріятностей и страданій въ его частной жизни и въ общественномъ положеніи. Нѣкоторыя слабости ему были присущи, какъ истому сыну родного народа, другія обусловливались его индивидуальностью.

Широкая, мощная и удалая природа его не могла сдерживать его мыслей, чувствъ и порывовъ въ предѣлахъ извѣстнаго пространства, въ границахъ опредѣленнаго времени, въ рамкахъ партійности и въ тискахъ непрерывной, постоянной дѣятельности или равномерной работы. Григорьевъ—полнѣйшее олицетвореніе вихря, свободно разгуливающаго на безконечномъ

---

<sup>1)</sup> „Новости“. 1889 г. № 264.

просторѣ родныхъ степей и очищающаго повсюду воздухъ благовоиѣмъ свѣжихъ травъ или вновь скошеннаго сѣна. Въ немъ много не только физической силы, какъ въ богатырѣ Святгорѣ, но и духовной, и онъ не въ состояніи совладать съ ними.

Открытая душа его во всѣхъ своихъ проявленіяхъ: и въ мысляхъ, и въ чувствахъ, и въ дѣятельности глубоко проникнута энтузіазмомъ. Это свойство—его сила и достоинство и въ то же время его слабость и недостатокъ; оно—источникъ его идеализма и вмѣстѣ съ тѣмъ всѣхъ неудачъ и бѣдъ жизни. «Главное, отъ чего страдалъ Григорьевъ, замѣчаетъ Н. Н. Страховъ, было его постоянное стремленіе къ энтузіазму, къ тому самому энтузіазму, въ которомъ заключалась вся его сила, какъ критика и писателя. Минуты, когда онъ постигалъ самыя тайныя біенія жизни, воплощенныя искусствомъ, были настоящими живыми минутами Григорьева. Но за ними слѣдовалъ упадокъ силъ, при которомъ весь личный міръ человѣка тускнѣетъ и обезцвѣчивается, неизбежно слѣдовало смутное и тревожное исканіе идеала въ своей собственной жизни. Вотъ почему Григорьевъ былъ человѣкъ въ высшей степени *напряженный*, какъ онъ самъ выражается о своихъ первыхъ стихотвореніяхъ, хотя въ то же время совершенно искренній. Онъ старался возводить свои мысли и чувства до идеальной глубины и чистоты; если же обрывался въ этихъ усиліяхъ, то прямо переходилъ въ противоположную крайность и погружался въ беспорядокъ жизни съ какимъ-то сладострастіемъ цинизма. Эти безпрестанныя противоположности поражали всякаго, кто въ первый разъ узнавалъ Григорьева; онѣ сломали его жизнь и подорвали его крѣпкую натуру.

«Увы! Очевидно! Григорьевъ не былъ властителемъ тѣхъ силъ, которыя въ немъ жили: не онъ управлялъ ими, а онѣ имъ. Недаромъ, какъ лучшую похвалою онъ хвалится своею искренностью, своимъ нелицемѣрнымъ служеніемъ духу, въ немъ вѣявшему. Какъ-то въ одинъ изъ послѣднихъ разговоровъ съ нимъ я сказалъ ему объ одномъ вопросѣ: «ты знаешь, что я съ тобою не согласенъ въ этомъ случаѣ; можетъ быть,

ты однако же болѣе правъ?..—«Правъ я или не правъ, перебилъ онъ меня, этого я не знаю; я—вѣяніе!» И вотъ силы, которыя онъ носилъ въ себѣ, износили его самого; онъ умеръ, сжигаемый огнемъ своего вѣянія» <sup>1)</sup>).

Экзальтированныя личности, какъ бы талантливы ни были, какими бы благодѣтелями человѣчества ни являлись, въ частной жизни и, въ особенности, въ семейной оказываются въ большинствѣ случаевъ неудачниками, людьми непостоянными, беззаботными, разсѣянными, неаккуратными и мало практичными.

Ап. Григорьевъ въ домашнемъ быту почти нисколько не отличался отъ подобныхъ лицъ, и въ этомъ отношеніи не могъ бы быть счастливъ, тѣмъ болѣе, что его жена, особа образованная, принадлежала къ аристократическому кругу и дома воспитывалась въ совершенно противоположныхъ воззрѣніяхъ и симпатіяхъ, нежели критикъ-самобытникъ, выросшій въ чисто-русской, простой и здоровой обстановкѣ жизни.

Какіе размѣры принималъ разладъ ихъ, и какъ онъ отражался на дѣятельности писателя, нельзя ничего сказать, кромѣ того, что признать дѣйствительное существованіе недоразумѣній въ семьѣ Григорьевыхъ, такъ какъ вообще трудно судить о супружескихъ отношеніяхъ, не впадая въ крупныя, подчасъ жестокія ошибки. Впрочемъ, каждый питалъ бы сочувствіе, конечно, скорѣе къ тяжкому положенію Ап. Григорьева, чѣмъ его жены, не пожелавшей понять его, оцѣнить душевныхъ достоинствъ, которыми такъ обильно былъ надѣленъ при нѣкоторыхъ, хотя бы и большихъ, недостаткахъ этотъ добрейшій чловѣкъ, и постоянно раздражавшей мужа. Поэтому приходится предоставить слово самому близкому къ нимъ лицу, которое осторожнѣе выскажетъ свое мнѣніе въ этомъ крайне щепетильномъ вопросѣ.

Александръ Аполлоновичъ Григорьевъ, сынъ покойнаго критика, такъ рассказываетъ о родной семьѣ и отзывается о своихъ родителяхъ и ихъ взаимныхъ отношеніяхъ:

---

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г., сентябрь.

«По самой натурѣ своей А. А. не былъ склоненъ къ семейной жизни. «Для одной только женщины въ мірѣ могъ бы я изъ *бродяги-бессмейника, кочевника*, обратиться въ почтеннаго и, можетъ быть (чего не можетъ быть?), въ нравственнаго мѣщанина», замѣчаетъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ. Къ несчастію, женщиной этой не была Лидія Федоровна. Какъ уже упомянуто выше, по рожденію она принадлежала къ извѣстному образованному семейству Коршей <sup>1)</sup>; но семейство это, по литературнымъ традиціямъ, всецѣло можно было отнести къ такъ-называемымъ «западникамъ», во главѣ которыхъ стоялъ въ то время Грановскій, близкій другъ брата Лидіи Федоровны, Евгенія Федоровича, часто бывавшій у ея сестеръ — Кавелиной и Крыловой — и матери. Отношеніе партіи «западниковъ» къ «молодой редакціи» «Москвитянина» было въ то время, какъ уже упомянуто, далеко неблагоприятное.

«Въ семействѣ своемъ Лидія Федоровна воспитывалась подъ влияніемъ западниковъ, и поэтому, понятно, она во многихъ отношеніяхъ не сочувствовала литературнымъ взглядамъ своего мужа, которымъ онъ былъ преданъ до фанатизма. По натурѣ своей она была женщина крайне впечатлительная и легко увлекающаяся. Окружавшіе же ее люди, въ большинствѣ друзья А. А., внесли сразу въ ихъ семейную жизнь всегдашній беспорядокъ, всегдашнюю раздражительность ума и страстей, раздражительность, подогрѣваемую къ тому же виномъ, въ которомъ, къ несчастію, и она скоро привыкла находить забвеніе... Все это отразилось на ней очень дурно и имѣло своимъ послѣдствіемъ печальные для семейной жизни результаты... Въ ней сказывались и неудовлетворенные идеалы юности. Ей хотѣлось быть женщиной свободной по тогдашнимъ понятіямъ, свободной въ смыслѣ героинь Жоржъ-Занда...

---

<sup>1)</sup> Два родные ея брата, Евгеній и Валентинъ Федоровича Корши, извѣстны въ литературѣ: первый, какъ публицистъ и дѣятель 40-хъ годовъ, одинъ изъ ближайшихъ друзей Бѣлинскаго, Герцена и Грановскаго; второй — то же извѣстный публицистъ позднѣйшаго времени, бывшій редакторъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей».

«У самого А. А. была страсть, и притомъ несчастная, къ другой женщиѣ; эта страсть не покидала его до конца жизни. Неизвѣстно, что именно помѣшало его сближенію съ любимой женщиной, но воспоминанія о ней сохранились у него на всю жизнь. Прочтите его «Борьбу», прочтите его «Venezia la bella», о которой онъ тоже такъ вспоминалъ:

Да! было время... Я иной  
Любилъ любовью; образъ той  
Въ моей „Venezia la bella“  
Похороненъ; была чиста,  
Какъ небо, страсть и пѣсня та—  
Молитва: Ave Maria stella!

\* \* \*

Чтобъ снова мигъ хотъ пережить  
Той чистой страсти, чтобъ вкусить  
И счастье мукъ и муки счастья,  
Безъ сожалѣнья бѣ отдалъ я  
Остатокъ бѣдный бытія  
И всѣ соблазны сладострастья.

Въ сонетѣ, написанномъ при окончаніи перевода «Ромео и Джульета», онъ снова вспоминаетъ о ней.

Про эту же любовь онъ говоритъ и въ своихъ письмахъ. «Вѣдь, любила же она меня, т. е. знала, что я ее всю понимаю, что только я ей всей молюсь, только я на всѣ вопросы ея души отвѣчу... О, проклятое, нравственно сметанное начало въ ея крови, проклятая смѣсь глубокой страстности съ расчетливой холодностью!.

Я иногда люблю ее до низости, до самоуниженія...»

Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: «Зачѣмъ хочу я намеренно набросить тѣнь насмѣшки на то, что было свято, какъ молитва, полно, какъ жизнь, въ чемъ сливалась и вѣра въ борьбу, на чемъ выросла и окрѣпла религія свободы...»<sup>1)</sup>

Въ своихъ частныхъ отношеніяхъ къ близкимъ и постороннимъ лицамъ Ап. Григорьевъ проявлялъ справедливость, сердечное участіе и полную готовность помочь дѣлу, но при всей

<sup>1)</sup> А. Григорьевъ. „Одинокій критикъ“. Книжки Недѣли 1895 г., сентябрь, стр. 61-63.



душевной простотѣ онъ обнаруживалъ нѣкоторую осторожность и разборчивость въ знакомствахъ. «Съ друзьями, замѣчаетъ Д. В. Аверкиевъ, онъ былъ всегда одинаковъ; нельзя сказать, чтобы онъ скоро сходилъ; если это и случалось, то такая поспѣшная дружба не долго продолжалась. Онъ былъ всегда доступенъ и терпѣть не могъ литературнаго генеральства. Не смотря на свои такъ называемыя увлеченія, Григорьевъ былъ чрезвычайно строгъ къ произведеніямъ своихъ друзей; если что ему не нравилось, то онъ говорилъ прямо не обинуясь и часто довольно рѣзко»<sup>1)</sup>).

Ведя и послѣ женитьбы жизнь одинокаго холостого чело-вѣка, Ап. Григорьевъ совсѣмъ не заботился объ удобствахъ и селился поближе къ простому люду, не порывая съ нимъ своихъ давнишнихъ связей и продолжая серьезно присматриваться къ народному быту. Закоренѣлый демократъ, онъ предпочиталъ простой, скудный, но задумчивый образъ жизни комфорту и матеріальной обезпеченности аристократіи. Съ этой стороны удачно характеризуетъ его г. Скабичевскій. «И дѣйствительно, мы видимъ во всѣхъ его критическихъ статьяхъ то присутствіе живого демократическаго духа, которымъ были преисполнены всѣ лучшіе люди сороковыхъ годовъ и котораго тщетно будете вы искать у его послѣдователей. Это былъ чело-вѣкъ, по самой натурѣ своей, честныхъ, гуманныхъ и вполне народныхъ инстинктовъ; всѣ пороки интеллигенціи, развившіеся на почвѣ крѣпостничества, какъ-то: самодурство, праздность, высокомѣріе, изнѣженность, нервность, рисовка, всяческая ложь, распушенность, извращенность имѣли въ немъ заклятаго врага. И, напротивъ того, идеалами его были искренность, простота, непосредственность, цѣльность и полнота всякаго жизненнаго, *органическаго*, какъ онъ любилъ выражаться, явленія. Погоня его за народными идеалами доходила порою до комическаго донкихотства. Никогда, конечно, не забудется тотъ восторгъ, который заставилъ его при появленіи на сценѣ Любима Торцова разразиться въ «Москвитянинѣ» нескладными стихами, воспѣвающими этого героя, который

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г., августъ.

Стоитъ съ поднятой головой,  
Вурнусъ напаявъ обветшалый,  
Съ растрепанною бородой,  
Несчастный, пьяный, исхудалый,  
Но съ русской чистою душой.

«Впослѣдствіи эту свою погоню за кроткими идеалами Ап. Григорьевъ простеръ до такой смѣлости, что, когда вышелъ въ свѣтъ *Обломовъ* Гончарова, и всѣ увлекались героинею его Ольгою, видя въ то же время въ женитьбѣ Обломова на Агаевѣ Федосѣевнѣ нравственное паденіе его, Ап. Григорьевъ одинъ только изъ всѣхъ тогдашнихъ критиковъ дерзнулъ выступить съ глубокою правдой, которая, конечно, въ то время показала всѣмъ верхомъ комическаго юродства. Такъ, въ его статьѣ по поводу «Дворянскаго гнѣзда» въ «Русскомъ Словѣ» 1859 года мы читаемъ слѣдующія замѣчательныя строки: «Ужъ если между женскими лицами г. Гончарова придется выбирать непременно героиню, безпристрастный и незатемненный теоріями умъ выберетъ, какъ выбралъ Обломовъ, Агаеву Федосѣевну, не потому, что у нея локти соблазнительны и что она хорошо готовить пироги, а потому, что она гораздо болѣе женщина, чѣмъ Ольга» <sup>1)</sup>).

/ «Аполлонъ Александровичъ, по словамъ его сына, былъ вовсе не прихотливъ и собственно для жизни нуждался въ немногѣмъ. Въ спокойныя полосы, когда онъ работалъ, онъ часто не издерживалъ больше 25-ти рублей въ мѣсяцъ. Маленькій номеръ какого-нибудь мелкаго трактирчика, или же одна изъ комнатъ большой квартиры, обращенной въ постоянный дворъ и по временамъ наполняющейся гамомъ и шумомъ, — вотъ мѣста, въ которыхъ А. А. Григорьевъ любилъ сидѣть. Устроившись, какъ попало, тамъ онъ писалъ, спокойный, ясный, принимаясь для отдыха за свою гитару, съ которой былъ неразлученъ. Въ такія времена онъ успѣвалъ много сдѣлать и много заработать; но потомъ все это шло прахомъ, все рас-

---

<sup>1)</sup> А. Скабичевскій. „Исторія новѣйшей русской литературы“. СПБ. 1891 г., стр. 41—42.

трачивалось самымъ дѣтскимъ образомъ. Другого порядка его жизнь не имѣла въ послѣднее время» <sup>1)</sup>).

Меркантилизмъ, расчетливость, бережливость, житейская мелочность и самоограниченіе въ денежныхъ расходахъ, въ сильной степени свойственныя большинству инородцевъ и инородцевъ и заглушающіе въ ихъ душѣ порою всея чело-вѣческія чувства, но составляющіе чрезвычайно рѣдкое явленіе въ видѣ исключенія или уродства въ природѣ русскаго чело-вѣка, были совершенно чужды характеру критика-самобытника, который и въ этомъ отношеніи въ глазахъ не только постороннихъ лицъ, но и своихъ близкихъ слишкомъ часто погрѣшалъ въ жизни. Выступивъ изъ университета, молодой Григорьевъ скудными урочными заработками помогаль своимъ состоятельнымъ родителямъ; послѣ женитьбы онъ во всемъ обрѣзывалъ себя, предоставляя почти весь свой литературный гонораръ семьѣ; наконецъ, и друзьямъ и бѣднякамъ онъ отдавалъ свою послѣднюю трудовую копейку, вслѣдствіе чего постоянно терпѣлъ лишенія и зачастую сиживалъ въ Долгомъ; о себѣ, о своихъ нуждахъ ему и мысль не приходила въ голову, такъ какъ она жила другимъ міромъ, питалась иной пищей, всецѣло занятая идеалами жизни и души чело-вѣческой. «И дѣйствительно, расчетъ былъ не вѣдомъ ему. Ни разу онъ не пожертвовалъ своими убѣжденіями ради расчета. Это можно сказать прямо и смѣло», удостовѣряетъ Д. В. Аверкіевъ. Другой другъ критика такъ отзывался о его непрактичности: «Каждый, кто зналъ покойнаго, не колеблясь ни минуты скажетъ, что это не былъ чело-вѣкъ личныхъ интересовъ, что никогда личные интересы не стояли у него на первомъ планѣ, не занимали главнаго мѣста въ душѣ. Часто случалось, правда, что онъ дѣтски-наивно жаловался на скудость и шаткость своего личнаго положенія; но эти жалобы только доказываютъ что онъ никогда не умѣлъ соблюдать свои интересы. Если бы это было не такъ, если бы онъ дѣйствительно умѣлъ дорожить ими и соблюдать ихъ, то онъ, конечно, не терпѣлъ б.

<sup>1)</sup> А. Григорьевъ. «Одинокій критикъ». Книжки Недѣли. 1895 г., сентябрь. стр. 78—79.

и десятой доли тѣхъ неудобствъ и неустройствъ, среди которыхъ почти постоянно жилъ».

«Невыразимо странно мнѣ было слышать, вспоминаетъ Н. Н. Страховъ въ другомъ мѣстѣ, какъ бывало Григорьевъ пускался въ практическіе расчеты и соображенія. Менѣе практическаго человѣка ни я, ни многіе другіе, его знавшіе, никогда и не встрѣчали. Ничего-то не умѣлъ онъ для себя сдѣлать; ни въ чемъ не умѣлъ соблюсти свои выгоды. Что-то истинно-дѣтское слышалось въ этихъ случаяхъ и въ рѣчахъ и въ поступкахъ Григорьева» <sup>1)</sup>.

Ап. Григорьевъ жилъ каждой минутой, но неумѣніе распредѣлять съ пользою время и срочно работать тормозило его дѣятельность на литературномъ поприщѣ, вліяя въ значительной мѣрѣ и на матеріальное положеніе. Этотъ недостатокъ практической мудрости обусловливается прямо естественной свободой истинно-художественнаго творчества или, иначе, вдохновеніемъ, какъ настроеніемъ высшаго порядка, посѣщающимъ только артистическія натуры и устраняющимъ возможность всякаго предупрежденія, всякой преднамѣренности. Любимое Григорьевымъ слово *отъяніе* есть собственно наитіе. Въ этомъ-то смыслѣ всѣ гении и таланты суть вѣянія, и критикъ-самобытникъ не представляетъ между ними исключенія.

«Григорьевъ писалъ, увлекаемый своими вѣяніями; онъ сливался съ предметомъ, наполнявшимъ его мысли. Что же вышло? Его встрѣтили недоразумѣніемъ, насмѣшками, глумленіемъ. Онъ не хотѣлъ да и не могъ какъ-нибудь примѣниться къ тону, языку, пріемамъ, господствовавшимъ въ литературѣ. Поэтому такъ часто онъ вовсе не находилъ журнала, гдѣ бы могъ писать, что хотѣлъ: Григорьевъ не былъ бы Григорьевымъ, если бы изъ него могъ выйти журнальный работникъ, который, подчиняясь случаямъ и надобности, пишетъ о томъ или о другомъ. Отсюда понятно, что для него менѣе, чѣмъ для кого-нибудь другого, было возможно устроить себѣ правильный и ровный доходъ. Кромѣ того, и въ случаѣ дѣятель-

---

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 г., сентябрь.

ной работы, — зависимость отъ минуты, отъ расположенія духа, кажущаяся легкость труда, утомленіе, тѣмъ болѣе опасное, что подходитъ незамѣтно, отсутствіе всякой нити, которая бы механически регулировала работу и распредѣляла время — все это вело къ житейскому безпорядку и со всѣмъ этимъ менѣе всякой другой могла справиться непрактическая натура Григорьева» <sup>1)</sup>).

Любопытные факты рассказываетъ Александръ Аполлоновичъ Григорьевъ о характерѣ дѣятельности своего отца. «На свободѣ онъ иногда не въ состояніи былъ работать регулярно, лѣнился по цѣлымъ недѣлямъ, не доставлялъ обѣщанныхъ статей къ условленному сроку и не любилъ писать по заказу, какъ бы ни были настоятельны его нужды. Но въ тарасовскомъ домѣ, за недостаткомъ развлеченій, онъ занимался усидчиво и высылалъ статьи въ редакцію съ необычайной для него въ другое время аккуратностью. «Помню, однажды, говорить въ своихъ воспоминаніяхъ А. П. Милуковъ, — М. М. Достоевскій, бѣ получая долго отъ Григорьева какой-то обѣщанной работы для журнала «Время», сказалъ ему, шутя: «Знаете, Аполлонъ Александровичъ, что я придумалъ: я дамъ вамъ подъ краткосрочный вексель, посажу васъ за неплатежъ въ долговое отдѣленіе, и вы будете тамъ писать мнѣ славныя статьи. Не правда ли, хорошая мысль?» <sup>2)</sup>).

Если къ указаннымъ темнымъ сторонамъ личности Ап. Григорьева присоединить еще одинъ порокъ, привычку находить забвеніе отъ невзгодъ жизни въ винѣ, — привычку, узаконенную вѣками въ нашемъ многострадальномъ народѣ, то при поверхностномъ сужденіи легко причислить его къ людямъ ненормальнымъ. Но въ данномъ случаѣ имѣется дѣло съ такою человѣческою ненормальностью, подъ которую, по ученію известной школы психологовъ, подводятся едва ли не всѣ гении и таланты, творцы европейской и американской культуры, науки, искусства и литературы.

<sup>1)</sup> Н. Страховъ. Воспоминанія объ А. Григорьевѣ. „Эпоха“ 1864 г., сентябрь.

<sup>2)</sup> Ал. Григорьевъ. „Одинокій критикъ“. Книжки Недѣли 1895 г., сентябрь.

На этомъ основаніи горько ошибается тотъ, кто произносить строгій нравственный приговоръ надъ критикомъ-самобытникомъ за его слабости: артистическая натура, какъ идеальное отраженіе народа, страны, вѣка, въ несравненно большей степени, нежели всякій другой смертный, есть органический продуктъ данныхъ жизненныхъ условий. Зато никто изъ обыкновенныхъ людей не искупаетъ своихъ грѣховъ передъ человечествомъ и отечествомъ такъ, какъ великій умъ и вселюбящее сердце. Кто же изъ современниковъ отрицалъ или не признавалъ въ Ап. Григорьевѣ этихъ основныхъ духовныхъ силъ? Напротивъ, за нимъ прочно и на вѣки утвердились прозвища даровитѣйшаго критика-мыслителя и задушевнаго писателя-поэта. Заложенные въ него необыкновенныя способности онъ не только не заглушилъ, но въ теченіе всей жизни лелѣялъ и развивалъ, всѣмъ существомъ своимъ стремясь къ самоусовершенствованію и съ громадными усиліями и нескончаемой борьбою завоевывая каждую пядь земли обѣтованной истины.

Начитанность его, какъ человѣка многосторонне образованнаго, была изумительная; наблюдательность, чуткость и пониманіе родного народа и жизни еще болѣе поразительны. А. Д. Галаховъ, знавшій критика почти съ самаго вступленія его на литературное поприще, свидѣтельствуетъ, что «у Григорьева были и данныя и благопріобрѣтенныя средства для того дѣла, которому онъ посвятилъ себя. Природная даровитость, природное же и весьма сильное чувство къ изящному, гдѣ бы послѣднее ни являлось, университетское образованіе, знаніе иностранныхъ языковъ и большое знакомство съ иностранными литературами давали ему возможность разносторонне овладѣвать предметомъ своихъ сужденій. Особеннаго вниманія и похвалы заслуживаетъ одно изъ его свойствъ, сильно въ него вложенное, прилежно имъ самимъ развитое и никогда его не покидавшее. Это—вполнѣ искреннее, вполнѣ уважительное отношеніе къ искусству и его представителямъ. Онъ преданъ былъ тому и другимъ до восторженнаго, часто крайняго поклоненія, которое, въ силу своей крайности, даже

переступало за предѣлы истины. «Художественное произведение, гогорить онъ,—для меня есть открытіе великихъ тайнъ души и жизни, единственное порѣшеніе общественныхъ и нравственныхъ вопросовъ (стр. 406)... Все *новое* вносится въ жизнь только искусствомъ: оно одно воплощаетъ въ созданіяхъ своихъ то, что невидимо присутствуетъ въ воздухѣ эпохи». (Стр. 613) <sup>1)</sup>.

«Уваженіе къ поэзіи и вообще къ искусствамъ, какъ самостоятельнымъ проявленіямъ духа, писала въ некрологѣ по смерти критика «Библіотека для чтенія»,—а съ тѣмъ вмѣстѣ и уваженіе ко всякому таланту, ко всему, что самостоятельно, непосредственно бьетъ ключомъ изъ вѣчныхъ родниковъ жизни—таково было основаніе, фонъ его убѣжденій и взглядовъ, къ которымъ онъ всегда возвращался вновь, если и случалось ему на время увлечься въ сторону. Вражда къ фальши, рутинѣ, поддѣлкѣ подъ талантъ и дарованіе—вотъ отрицательныя стороны того же самаго воззрѣнія. Беззавѣтная вѣра въ движеніе и вражда ко всякому застою, ко всему старающемуся разъ и навсегда опредѣлить себя, какъ бы окаменѣть въ извѣстной формѣ,—и то и другое, можетъ быть, доведенныя до крайности,—такова была другая формула убѣжденій покойнаго А. А. Григорьева» <sup>2)</sup>.

Но живѣе всего артистическая натура Григорьева представляется въ описаніи Д. В. Аверкіева: «Основой его личности была полная, безъ поворота, вѣра въ жизнь и вѣра въ искусство, какъ въ одно изъ главнѣйшихъ выраженій жизни. Вѣра въ жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ, въ жизнь, безустанно развивающуюся по своимъ основнымъ и вѣчнымъ законамъ, въ жизнь, которую нельзя затиснуть въ рамку никакой—какъ бы умна она ни была—теоріи, въ вѣчно юную и любящую, постоянно обманывающую строгія, но сухія выкладки ума,—въ то, что покойный называлъ *ироніей жизни*» <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> «Журналъ Мин. Нар. Просвѣщенія.» 1877 годъ, январь, стр. 115-116.

<sup>2)</sup> «Библіотека для чтенія» 1864 г. № 8.

<sup>3)</sup> «Эпоха» 1864 г., августъ.

И. С. Аксаковъ такъ обрисовываетъ личность Ап. Григорьева, какъ писателя: «Не смотря на многія странности, на рѣзкія увлеченія во мнѣніяхъ и выраженіяхъ, это былъ человѣкъ искренно, благородно мыслившій и писавшій, горячо преданный русскому искусству, во всѣхъ его проявленіяхъ— въ музыкѣ, въ живописи, въ словѣ и въ особенности на русской сценѣ. И мысль и рѣчь его отличались постоянною страстностью; похвалѣ и порицанію отдавался онъ съ такою пылкостью, что приговоры его теряли на половину своего значенія; отъ одной крайности бросался онъ нерѣдко въ другую, противоположную,—но во всѣ 15 или болѣе лѣтъ его литературно-журнальнаго поприща, никто ни разу не могъ заподозрить Ап. Григорьева въ неискренности, въ двусмысленности, въ нечистотѣ побужденій» <sup>1)</sup>).

Въ литературѣ слава Ап. Григорьева зиждется главнымъ образомъ на его критикѣ, которой русское общество обязано раскрытіемъ, истинныхъ достоинствъ и лучшихъ сторонъ въ поэтическихъ произведеніяхъ писателей отъ Карамзина до гр. Л. Н. Толстого. Онъ имѣлъ умъ по преимуществу философскій и съ этой возвышенной точки зрѣнія оцѣнивалъ явленія жизни и искусства, при чемъ въ сужденіяхъ придерживался строгой логической послѣдовательности, органической связи и обоснованности. «Наши мысли вообще, говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ,—(если онѣ точно мысли, а не баловство одно) суть плоть и кровь наши, суть наши чувства, вымучившіяся до формулъ и опредѣленій. Немногіе въ этомъ сознаются, ибо немногіе имѣютъ счастье или несчастье рождать изъ себя собственныя, а не чужія мысли».

Принципы нѣмецкой философіи не только не отуманили ума критика-самобытника, но способствовали болѣе трезвому взгляду на родную дѣйствительность: мысли его крѣпко связаны съ почвой, на которой онѣ родились и возросли. Въ «Предисловіи» къ первому тому сочиненій Ап. Григорьева, содержащему главнѣйшія критическія статьи его, Н. Н. Стра-

---

<sup>1)</sup> „День“. 1864 г. № 40, стр. 20.



ховъ весьма вѣрно смотритъ на работы нашего оригинальнаго мыслителя. «Книга эта, заявляетъ онъ,—говоря любимымъ словомъ ея автора есть явленіе *органическое*. Въ продолженіе долгихъ лѣтъ, когда она писалась, однѣ и тѣ же мысли занимали писавшаго, и читатель увидитъ, какъ онѣ раскрывались все яснѣе и опредѣленнѣе, не измѣняясь въ своей сущности. Но этого мало; чтобы писать настоящія книги, такія, которыя не были бы лишь болѣе или менѣе удачнымъ подобіемъ, болѣе или менѣе грубымъ извращеніемъ другихъ книгъ, нужно еще выполнить большое условіе: нужно, чтобы предметы нашихъ мыслей составляли часть нашей жизни, сокровище нашего сердца. Такимъ предметомъ дѣйствительно была для Ап. Григорьева наша литература (т. е. художественная). Отсюда то глубочайшее воодушевленіе, тотъ тонъ горячаго убѣжденія, которымъ поражаетъ эта книга; отсюда и тѣ истины, которыя она намъ открываетъ» <sup>1)</sup>).

Въ «Воспоминаніяхъ объ Ап. А. Григорьевѣ» тотъ же писатель такъ характеризуетъ личность Григорьева, какъ критика: «Неумѣлый человѣкъ одно только умѣлъ — слѣдить за умственнымъ и эстетическимъ движеніемъ нашимъ, чувствовать и понимать всѣ явленія въ нашемъ мірѣ искусства и мысли. Сюда были устремлены всѣ силы его души, здѣсь была его радость и печаль, долгъ и гордость. Быть *сознаніемъ* этого движенія, этой жизни, — вотъ что составляло его природу, въ чемъ заключались его желанія, его существенная жизненная потребность. Опять скажу—это подтвердить всякій, кто только зналъ Григорьева. Ничто его столько не занимало, не увлекало, не наполняло, какъ явленія въ мірѣ искусства вообще и въ мірѣ словеснаго искусства въ особенности. Это былъ урожденный критикъ, для котораго критика была естественною потребностью и прямымъ назначеніемъ» <sup>2)</sup>).

«Онъ былъ большой мастеръ, утверждаетъ Д. В. Аверкиевъ, группировать явленія, и потому рѣдко ошибался въ оцѣнѣ даннаго. Стоитъ вспомнить, что онъ, напримѣръ, первый взглянулъ на Пушкина, какъ на поэта *народнаго*, что онъ не го-

<sup>1)</sup> Сочин. А. Григорьева. Т. I. Предисловіе.

<sup>2)</sup> „Эпоха“ 1864 года, сентябрь.

любовно сказалъ это, а вывелъ изъ изученія произведеній великаго поэта; что онъ показалъ, почему наша литература послѣ Пушкина имѣла извѣстный характеръ и какія частности пушкинскаго таланта развила она. — Равно первый Григорьевъ же показалъ знаніе характера Чацкаго; онъ первый отнесся къ Чацкому не съ полемической стороны, а объективно изучая его. Значеніе Гоголя также сильно разъяснено имъ. Гоголя до него считали писателемъ *бытовымъ*, въ полномъ смыслѣ слова, а онъ первый ясно указалъ на эту громадную ошибку. А это очень важно<sup>1)</sup>.

Критическіе очерки Ап. Григорьева, подобно его поэтическимъ сочиненіямъ, отражаютъ въ себѣ лучшія его душевныя качества: человѣколюбіе, привязанность къ своему народу и къ различнымъ сторонамъ его жизни, искреннее желаніе прогресса общества и литературы и, главное, безпристрастіе. Н. Н. Страховъ въ статьѣ, посвященной памяти Ап. Григорьева въ 1889 г., отмѣчаетъ, между прочимъ, слѣдующія существенныя черты перваго тома сочиненій критика-самобытника: «вѣдь, эта книга принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя, когда бывають прочитаны, уже навсегда удерживають подъ своею властью читателя, такъ что число читателей тутъ очень близко къ числу почитателей. Кто вникнетъ въ Григорьева, тотъ пойметъ, что такое истинная критика, и уже никогда не смѣшаетъ ея съ тѣми разсужденіями и разглагольствіями, которыя слывутъ подъ ея именемъ. Обыкновенно само художество, само творческое произведеніе бываетъ отодвигаемо на второй планъ передъ соображеніями цѣнителя и судьи. У Григорьева же главное мѣсто всегда принадлежало художеству, а не его критику. Поэтому-то для его глазъ въ словесныхъ произведеніяхъ открывалась самая глубокая ихъ значительность; онъ видѣлъ и понималъ ихъ внутреннее бѣніе, ихъ тайный ростъ изъ души человѣка. Искусство было для него самымъ лучшимъ, самымъ полнымъ откровеніемъ жизни; поэтому онъ уловлялъ самыя сокровенныя нити, связывающія искусство съ жизнью,

<sup>1)</sup> „Эпоха“ 1864 года, августъ.

и умѣлъ идти за художникомъ всюду, куда тотъ поведетъ. Онъ называлъ это органическою критикою, такъ какъ «организмъ» есть синонимъ всякихъ внутреннихъ связей и всякаго своеобразія. Поэтому, также критика Григорьева имѣла направленіе къ націонализму; «національность», вѣдь, есть одна изъ органическихъ категорій, неизбѣжная при разсмотрѣніи явленій человѣческаго міра. И, если кому дорога мысль о нашей самобытности, тотъ никогда не забудетъ высокой оригинальности, съ которою эта мысль была приложена Григорьевымъ въ нашей литературѣ» <sup>1)</sup>.

Слѣдуетъ замѣтить, что Григорьевъ и въ частной жизни, по свидѣтельству Д. В. Аверкіева, «обладалъ великимъ свойствомъ: умѣньемъ выслушивать и вполне понимать мысль собесѣдника; вотъ отчего съ нимъ было такъ легко и пріятно говорить».

Преждевременная смерть помѣшала этому талантливому, въ высшей степени гуманному и образованному писателю передать современникамъ все свое духовное богатство, но и то наслѣдство, которое онъ оставилъ русскому и европейскому мыслящему обществу, позволяетъ ему занять почетное мѣсто въ исторіи отечественной критики. Нѣкоторые литераторы приписываютъ ему первенствующее значеніе въ данной области нашей словесности, другіе не согласны съ этимъ мнѣніемъ его горячихъ поклонниковъ. Соперниками критика-самобытника являются, съ одной стороны, В. Г. Бѣлинскій, съ другой — Н. А. Добролюбовъ. Вопросъ: кто первый русскій критикъ, еще долго, вѣроятно, не разрѣшится, потому что необходимы основательное знаніе и оцѣнка идей названныхъ мыслителей, что невозможно при отсутствіи въ печати полного собранія сочиненій каждаго изъ нихъ; необходимъ и такой же глубокий, сильный умъ, какимъ они обладали.

Что разногласіе и полемика о первенствѣ ихъ дѣйствительно существуютъ, можно вполне убѣдиться изъ ниже приводимыхъ вѣскихъ доводовъ выдающихся представителей раз-

---

<sup>1)</sup> „Новое Время“ 1889 г. № 4876.

ныхъ органовъ печати. Съ одной стороны, заслуживаютъ вниманія отзывы, сопоставляющіе Ап. Григорьева съ В. Г. Бѣлинскимъ, съ другой—тѣ, которые сравниваютъ его дарованіе и роль въ литературѣ съ талантомъ и дѣятельностью Н. А. Добролюбова.

Н. Н. Страховъ въ своей книгѣ «Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ» рѣшительно высказывается за главенство Ап. Григорьева, подробно указывая слабые стороны критики Бѣлинскаго, Добролюбова и ихъ послѣдователей: «Ап. Григорьева мы считаемъ лучшимъ нашимъ критикомъ, дѣйствительнымъ основателемъ русской критики. Ему принадлежитъ единственный существующій у насъ *полный взглядъ* на русскую литературу, т. е. взглядъ, объемлющій одною мыслью всѣ ея явленія и направленія,—взглядъ, вѣрный до сихъ поръ, блистательно подтверждаемый такими произведеніями, какъ «Война и Миръ» <sup>1)</sup>).

«Ап. Григорьевъ, разсматривая новую русскую литературу съ точки зрѣнія народности, видѣлъ въ ней *постоянную борьбу европейскихъ идеаловъ, чуждой нашему духу поэзіи, съ стремленіемъ къ самобытному творчеству, къ созданію чисто-русскихъ идеаловъ и типовъ*» <sup>2)</sup>). «Для того, чтобы видѣть это, недостаточно было глубокихъ общихъ взглядовъ, яснаго теоретическаго пониманія существенныхъ вопросовъ; нужна была непоколебимая вѣра въ искусство, пламенная страсть къ его произведеніямъ, сліяніе своей жизни съ тою жизнью, которая разлита въ нихъ. Таковъ и былъ Ап. Григорьевъ, человекъ, до конца своей жизни оставшійся неизмѣнно преданнымъ искусству, не подчинявшій его чуждымъ для него теоріямъ и взглядамъ, а напротивъ—отъ него ждавшій откровеній, въ немъ искавшій *новаго слова*» <sup>3)</sup>).

«Бѣлинскій сдѣлалъ чрезвычайно много для нашей критики. Онъ былъ первый необыкновенно-чуткій и безгра-

<sup>1)</sup> Н. Страховъ „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“. Спб. 1887 г., стр. 296.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 306.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 307.

нично-пламенный поклонник литературы; своимъ глубокимъ восторгомъ ко всему истинно-великому въ литературѣ и безпопадной враждою ко всему посредственному и мелкому онъ поднималъ значеніе литературы, придавалъ ей небывалый вѣсъ въ умахъ читателей, сдѣлалъ изъ художественной словесности и ея критики серьезнѣйшее изъ серьезныхъ дѣлъ, но—по несчастію—онъ же самъ, своими руками, сталъ разрушать зданіе, построенное съ такою любовью и составлявшее его истинную славу; а его усердные послѣдователи постарались довести до конца это разрушеніе, начатое ихъ учителемъ<sup>1)</sup>.

Взглядъ Ап. Григорьева «до сихъ поръ сохраняетъ свою силу, до сихъ поръ оправдывается всѣми явленіями нашей литературы. Русскій художественный реализмъ начался съ Пушкина. Русскій реализмъ не есть слѣдствіе оскудѣнія идеала у нашихъ художниковъ, какъ это бываетъ въ другихъ литературахъ, а напротивъ—слѣдствіе усиленнаго исканія чисто-русскаго идеала. Всѣ стремленія къ натуральности, къ строжайшей правдѣ, всѣ эти изображенія лицъ малыхъ, слабыхъ, больныхъ, тщательное уклоненіе отъ праждевременнаго и неудачнаго созданія героическихъ лицъ, казнь и развѣщиваніе разныхъ типовъ, имѣющихъ притязаніе на героизмъ, всѣ эти усилія, вся эта тяжелая работа имѣютъ себѣ цѣлью и надеждою—узрѣть нѣкогда русскій идеалъ во всей его правдѣ и въ необманчивомъ величіи. И до сихъ поръ, идетъ борьба между нашими сочувствіями къ простому и доброму человѣку и неизбѣжными требованіями чего-то высшаго, съ мечтою о могучемъ и страстномъ типѣ»<sup>2)</sup>.

Взглядъ Н. Н. Страхова на обособленное положеніе Ап. Григорьева въ исторіи русской критики всецѣло раздѣляетъ и покойный Ю. Николаевъ, который пишетъ: «Бѣлинскій съ трогательной и комической поспѣшностью всегда отражалъ въ себѣ—но только отражалъ—*чужія* настроенія,—будь то настроенія гегеліанства, шеллингіанства, а впослѣдствіи фюрье-

<sup>1)</sup> Н. Страховъ „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“. Спб. 1887 г., стр. 296—7.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 311.

ризма и социализма. Онъ никогда не имѣлъ опредѣленнаго мировоззрѣнія, а чужія настроенія, воспринимаемыя съ нервнымъ, но скоро остывающимъ энтузіазмомъ, какъ бы скользили по немъ, не оставляя никакого слѣда въ душѣ его. Между тѣмъ критика, по вѣрному и глубокому замѣчанію Н. Н. Страхова (Предисловіе къ первому тому сочиненій Григорьева), «есть нѣкоторое философское разсужденіе». Раскрывая скобки въ этой формулѣ, надо сказать, что, какъ задача философіи заключается въ томъ, чтобы раскрыть смыслъ міра, такъ задача литературной критики заключается въ томъ, чтобы раскрыть смыслъ малаго міра—произведенія искусства. Не недостатокъ образованія, въ которомъ обыкновенно упрекаютъ Бѣлинскаго, мѣшалъ ему быть критикомъ въ истинномъ смыслѣ этого слова, а то, что у него былъ въ высшей степени не философскій умъ. Онъ и не былъ критикомъ, онъ только передавалъ свои впечатлѣнія въ свѣтѣ чужихъ настроеній. Да и надъ этими впечатлѣніями всегда господствовали чужія настроенія. Какъ же такой писатель могъ быть начинателемъ нашей русской, самобытной литературной критики? Стоитъ только припомнить, что въ послѣдующемъ развитіи нашей литературы связано съ Бѣлинскимъ... Да, единственно отрицательныя ея явленія.

«Говорятъ, Бѣлинскій воспиталъ въ нашемъ обществѣ любовь къ литературѣ? Такъ ли это? Почему же это общество, воспитанное Бѣлинскимъ, какъ утверждаютъ его почитатели, такъ быстро и безо всякаго сопротивленія отвернулось отъ литературы и пошло за Чернышевскимъ, Добролюбовымъ, Писаревымъ, которые начали отрицаніемъ самостоятельнаго значенія искусства, а кончили отрицаніемъ Пушкина и всего въ нашей литературѣ, что получило свое начало въ Пушкинѣ? Почему это общество съ жадностью воспринимало мнѣнія людей, которые глумились надъ Тургеневымъ, игнорировали Толстого, а потомъ и глумились надъ ними? Почему это общество вмѣстѣ съ «критиками» литературнаго нигилизма не нашло никакого иного отношенія къ единственной и несравненной поэзіи Фета, кромѣ отношенія бессмысленной насмѣшки?

Почему, наконецъ, это общество, воспитанное Бѣлинскимъ, терпѣло глумленіе надъ Пушкинымъ, отрицаніе его поэзіи и бессмысленно шло за отрицателями?

«Таково было воспитательное вліяніе Бѣлинскаго на общество. Если въ этомъ обществѣ и была нѣкоторая любовь къ литературѣ, то именно онъ, Бѣлинскій, послѣднимъ періодомъ своей дѣятельности первый поколебалъ въ обществѣ эту любовь, а его послѣдователи лишь довершили его дѣло, совершенно вытравивъ въ обществѣ своею пропагандой эту любовь къ литературѣ, къ поэзіи, къ искусству...

«И все-таки Бѣлинскаго продолжаютъ называть основателемъ русской литературной критики»...

«Правъ былъ Достоевскій, сказавъ, что «о Бѣлинскомъ мы и до сихъ поръ еще судимъ сквозь множество чрезвычайныхъ предразсудковъ».

«Истинный начинатель нашей самостоятельной литературной критики есть А. Григорьевъ. Его критическое изслѣдованіе, дѣйствительно, есть «нѣкоторое философское разсужденіе»; разбирая художественныя произведенія, онъ, дѣйствительно, стремился постигнуть этотъ малый міръ—міръ души художника, въ которой отразился міръ Божій» <sup>1)</sup>).

Въ другомъ своемъ фельетонѣ Ю. Николаевъ, называя Ап. Григорьева «основоположникомъ русской литературной критики», говорить: «Съ нимъ связано уже теперь все живое въ литературѣ русской критики и, безъ сомнѣнія, съ нимъ же будетъ связано все живое, что появится въ этой области впоследствии. Съ нимъ связаны, имъ вдохновлены прекрасныя критическія работы Н. Н. Страхова, а знаменитая пушкинская рѣчь Достоевскаго въ той своей главной части, гдѣ объясняется смыслъ поэзіи Пушкина, представляетъ собою лишь великолѣпное и блестящее даже не развитіе, а *изложеніе* мыслей Григорьева. До него въ русской литературѣ мы встречаемъ писателей съ большимъ критическимъ чутьемъ и принципиальностью, однако это всего только отдѣльныя критиче-

---

<sup>1)</sup> „Московскія Вѣдомости“ 1895 г. Литературныя замѣтки Ю. Николаева.

скія статьи, очень цѣнныя сами по себѣ, но являющіяся лишь отрывками и намеками. Григорьевъ далъ цѣльную, законченную критическую работу и примѣнилъ ее къ дѣлу».

Отрицая какую бы то ни было роль въ общемъ развитіи русской литературы и въ дѣлѣ отечественнаго просвѣщенія за Добролюбовымъ и Антоновичемъ, которые, будучи, подобно Тургеневу, западниками, не знали и знать не хотѣли той самой Европы, предъ которой преклонялись, ни ея настоящаго, ни ея прошлаго, Ю. Николаевъ выражаетъ надежду на признание со временемъ европейскаго значенія за Григорьевымъ. «Мы видимъ, заявляетъ онъ, что Европа признала Толстого, Достоевскаго именно потому, что они *въ высшей степени національны, оригинальны*, именно потому, что они сказали *свое* для Европы *новое* слово, а не повторяли европейскіе зады; признала бы, безъ сомнѣнія, Европа и Ап. Григорьева, какъ критика, именно потому, что онъ въ высшей степени *націоналенъ* и сказалъ въ той области, которая составляла предметъ его размышлений, *свое* для Европы *новое* слово» <sup>1)</sup>.

Одинъ изъ нынѣшнихъ сотрудниковъ «Московскихъ Вѣдомостей», Сергѣй Крыловъ, отмѣчаетъ еще важную особенность, которою отличался Аполлонъ Григорьевъ отъ Бѣлинскаго. «Если мы сравнимъ, пишетъ онъ, — Аполлона Григорьева съ Бѣлинскимъ, то найдемъ въ характерахъ ихъ много общаго: тѣ же страстность и пылкость, тѣ же крайности увлеченія и скорыя разочарованія, то же изобиліе идей, которыя наполняютъ все ихъ существо и требуютъ непремѣннаго обнаруженія въ словѣ; но есть между ними и разница, притомъ разница значительная: Бѣлинскій сознавалъ себя пророкомъ въ своемъ отечествѣ, Григорьевъ считалъ себя человѣкомъ ненужнымъ и это не рисовка какая-нибудь была, а убѣжденіе» <sup>2)</sup>.

Напротивъ, Вас. Марковъ оспариваетъ мнѣніе Н. Н. Стрхова и отдаетъ пальму первенства въ русской критикѣ Бѣлинскому на томъ основаніи, что сочиненія Григорьева страдаютъ, по его убѣжденію, недостаточной опредѣленностью взглядовъ

<sup>1)</sup> „Московскія Вѣдомости“ 1894 г. № 266.

<sup>2)</sup> „Московскія Вѣдомости“ 1889 г.



и симпатій, безформенностью общихъ началъ и отчужденностью отъ «думъ», запросовъ жизни и стремленій общества той эпохи. «Мнѣніе его (т. е. Н. Страхова), преувеличенность котораго, говоритъ В. Марковъ, очевидна, едва ли утвердится въ нашей литературѣ. Мы думаемъ, что титулъ основателя русской критики можетъ быть присвоенъ только Бѣлинскому, какъ первому, истинно вліятельному, блестящему и самоотверженному ея дѣятелю, и думаемъ также, что послѣдующая критическая школа, главнымъ представителемъ которой является Добролюбовъ, не безъ причины заслонила собою Григорьева въ глазахъ публики»<sup>1)</sup>).

Мѣткую сравнительную характеристику талантовъ Аполлона Григорьева и Н. Добролюбова даетъ Д. В. Аверкиевъ въ томъ мѣстѣ своей статьи о покойномъ критикѣ-самоубитникѣ, гдѣ касается вопроса объ увлеченіяхъ обоихъ писателей въ ихъ литературныхъ оцѣнкахъ. «Это и потому еще, прибавляетъ онъ, что Григорьевъ былъ шире Добролюбова, шире, глубже и несравненно богаче одаренъ природою, чѣмъ Добролюбовъ. Добролюбовъ былъ очень талантливъ, но умъ его былъ скуднѣе, чѣмъ у Григорьева, взглядъ несравненно ограниченнѣе. Эта узкость и ограниченность составляли отчасти даже силу Добролюбова. Кругозоръ его былъ уже, видѣлъ и подмѣчалъ онъ меньше, слѣдовательно и передавать и разъяснять ему приходилось меньше и все одно и то же; такимъ образомъ онъ, само собою, говорилъ понятнѣе и яснѣе Григорьева; скорѣе договаривался и сговаривался съ своими читателями, чѣмъ Григорьевъ. На читателей, мало знакомыхъ съ дѣломъ, Добролюбовъ дѣйствовалъ неотразимо. Не говоримъ уже о его литературномъ талантѣ большемъ, чѣмъ у Григорьева, и энтузіазмѣ слова. Чѣмъ уже глядѣлъ Добролюбовъ, тѣмъ само собою и самъ менѣе могъ видѣть и встрѣчать противорѣчій своимъ убѣжденіямъ, слѣдовательно тѣмъ убѣжденнѣе самъ становился, и тѣмъ все яснѣе и тверже становилъ и рѣчь его, а самъ онъ самоувѣреннѣе»<sup>2)</sup>).

<sup>1)</sup> В. Марковъ. На-встрѣчу. СПб. 1878 г. Стр. 280.

<sup>2)</sup> „Эпоха“ 1894 г., августа.

Есть еще обстоятельный отзывъ, въ которомъ рельефнѣе очерчивается различіе въ направленіи критической мысли Ап. Григорьева и Н. Добролюбова. Онъ принадлежитъ К. Головину, автору изслѣдованія «Русскій романъ и русское общество». «Какъ создатель такъ называемой «органической» критики, говоритъ этотъ писатель, — Ап. Григорьевъ примѣнилъ къ этой отрасли литературы главную основу славянофильскаго ученія, а съ нимъ вмѣстѣ и ученія цѣлой исторической школы — необходимость органическаго развитія всѣхъ явленій общественной жизни, въ томъ числѣ и литературы. Произведенія родного слова казались ему не произвольными созданіями единичнаго творчества, а выраженіями безсознательной жизни народа въ его совокупности, и потому онъ понималъ разборъ такихъ произведеній не какъ примѣненіе къ нимъ эстетическаго мѣрила, а лишь какъ изслѣдованіе отражавшихся въ нихъ общественныхъ явленій. Его критическій методъ какъ будто очень близко подходитъ къ манерѣ Добролюбова, тоже большого охотника смотрѣть на литературу съ общественной точки зрѣнія. И въ самомъ дѣлѣ коренное различіе между обоими критиками сводится лишь къ тому, что ихъ партійные взгляды были во многомъ противоположны. Насколько въ глазахъ Добролюбова задача литературы сводилась къ преобразовательной работѣ въ смыслѣ западныхъ демократическихъ идеаловъ, настолько для Григорьева ея цѣль заключалась въ выясненіи національныхъ особенностей русской жизни. Положимъ, и его симпатіи тянули въ сторону демократіи, но демократіи исконно русской, нашедшей себѣ выраженіе въ бытѣ великорусскаго народа, въ мірскомъ, общинномъ строѣ и въ преданіяхъ русской старины. Словомъ, это былъ демократизмъ совершенно мирнаго свойства, вѣрный традиціямъ и не призывающій ни къ какой сословной борьбѣ. Тамъ, гдѣ Добролюбовъ обличалъ мертвенный застой русской жизни, Ап. Григорьевъ видѣлъ твердую вѣрность народнымъ идеаламъ и здоровымъ преданіямъ русской старины; тамъ, наоборотъ, гдѣ Добролюбовъ привѣтствовалъ нѣкоторое проявленіе свободы и протеста, Григорьевъ оплакивалъ нарушеніе этихъ традицій, отступленіе

отъ стародавняго склада семейной и общественной жизни. За примѣрами недалеко ходить. Въ двухъ статьяхъ, посвященныхъ Островскому и названныхъ имъ «Темное царство» и «Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ», Добролюбовъ съ необыкновенною яркостью воспроизвелъ картину загрубѣлыхъ нравовъ купечества и прославлялъ героиню «Грозы» за то, что она искала спасенія отъ домашняго гнета сперва въ свободной любви, а потомъ—въ добровольной смерти. Разбирая Островскаго, въ свою очередь, Ап. Григорьевъ не возмущался самодурствомъ его героевъ и закоснѣлостью семейнаго деспотизма въ купеческомъ бытѣ, а видѣлъ въ этомъ бытѣ лишь строгое соблюденіе древняго склада простонародной семьи. Его идеалъ не Катерина, такъ какъ, по его понятіямъ, грѣховная любовь не можетъ быть признана исходомъ изъ тяжелой жизненной обстановки,—а Любимъ Торцовъ изъ пьесы «Вѣдность не пороку». Любимъ Торцовъ сохранилъ среди безпутнаго разгула вѣрность истинной народной правдѣ, той правдѣ, которая заключается не во внѣшней порядочности, а въ душевной прямотѣ, въ способности любить и прощать. Въ другой статьѣ, содержащей разборъ гончаровскаго Обломова, Добролюбовъ съ такою же горячностью клеймитъ основную черту дворянскаго быта—его праздную лѣнь и видитъ въ ней злополучную печать крѣпостного права. Обломовъ, по его толкованію, оказывается самымъ полнымъ выраженіемъ безнадежнаго застоя помѣщичьяго класса, застоя, котораго не могутъ сколыхнуть попытки обновленія и протеста. Въ лицѣ Обломова съ неумолимою яркостью показана вся тщета этихъ усилій, вся внутренняя несостоятельность дворянства, осужденнаго, подобно Обломову, на роковую бесплодную гибель. Для Ап. Григорьева смыслъ гончаровскаго романа не таковъ. Въ его глазахъ, Обломовъ не конечная ступень цѣлаго восходящаго ряда героевъ, ступень къ которой привели ихъ безсильныя увлеченія. Напротивъ, Ил. Ильичъ Обломовъ представляетъ собою возвращеніе къ преданіямъ русской жизни послѣ многочисленныхъ попытокъ его представителей стряхнуть съ себя ея бремя. По его мнѣнію Гончаровъ и не думалъ покарать своего героя, а, напротивъ

возвращаетъ его къ жизненной правдѣ, заставивъ его жениться на простой русской женщинѣ. Симпатіи Григорьева тянутъ его не къ Ольгѣ, такъ сухо отвернувшейся отъ Обломова, чтобы выйти за деревяннаго афериста Штольца, а къ этой простой женщинѣ, въ которой больше привлекательности и душевной красоты, чѣмъ въ благовоспитанной, столичной барышнѣ<sup>1)</sup>).

Какъ бы споръ о мѣстѣ, занимаемомъ Ап. Григорьевымъ въ области русской критики, ни былъ рѣшенъ—въ пользу ли его или Бѣлинскаго и Добролюбова, писательская дѣятельность его во всякомъ случаѣ оставила слишкомъ глубокіе слѣды по себѣ въ исторіи литературнаго развитія нашего общества, хотя его принципиальныя статьи, по его собственному выраженію, были только «начатыми, но неконченными курсами о русской литературѣ».

Идеи Аполлона Григорьева приобрѣли себѣ не однихъ только горячихъ поклонниковъ, но и честныхъ послѣдователей въ печати, число которыхъ, безъ сомнѣнія, со временемъ возрастетъ, и которые, при болѣе широкомъ знакомствѣ съ трудами его, откроютъ еще много новыхъ повѣданныхъ имъ истинъ въ мірѣ изящнаго. Къ вѣрнѣйшимъ толкователямъ его критическихъ воззрѣній въ новѣйшее время принадлежали Н. Н. Страховъ, А. И. Незеленовъ и Ю. Николаевъ, примѣнившіе критериумъ своего учителя къ оцѣнкѣ сочиненій писателей 80 и 90-хъ годовъ и, къ величайшему прискорбію, рано сошедшихъ въ могилу. Послѣдній незадолго до смерти, разбирая работы Н. Н. Страхова, писалъ, между прочимъ, вотъ что: «Прямымъ продолжателемъ Ап. Григорьева является Н. Н. Страховъ. Въ своей критической дѣятельности онъ самъ признаетъ себя послѣдователемъ, мы же предпочитаемъ сказать—преемникомъ А. Григорьева. Онъ самъ говоритъ, что усвоилъ себѣ основную точку зрѣнія Григорьева и прилагаетъ ее къ литературнымъ явленіямъ. Но въ этомъ развитіи основной точки зрѣнія Григорьева онъ совершенно оригина-

<sup>1)</sup> К. Головинъ „Русскій романъ и русское общество“. СПб. 1897 г. Стр. 115—7.

лень, и главная его заслуга, какъ критика, заключается въ оцѣнкѣ дарованія Л. Толстого и въ объясненіи смысла его произведеній.

«И какъ А. Григорьевъ неразрывно и навсегда связалъ свое имя съ именемъ Пушкина, такъ Н. Н. Страховъ своею прекрасной книгой неразрывно и навсегда связалъ свое имя съ именемъ творца «Войны и Мира»<sup>1)</sup>.

Нѣтъ сомнѣнія, ранѣе или позже придутъ еще славные поборники идей критика-самобытника, и нельзя не пожелать, чтобы ихъ голоса были услышаны русскими людьми. Наше общество привыкло къ литературнымъ торжествамъ, радостно чувствуетъ разные юбилеи и годовщины, охотно украшаетъ главныя улицы и городскіе сады великолѣпными и грандіозными монументами великихъ дѣятелей, но должно сознаться, что оно забываетъ существенное,—то существенное, за что положили всю свою многотрудную жизнь истинные, дорогіе сыны отечества, именно: человѣческую мысль. Развѣ пренебреженіе къ идеямъ мыслителя не есть презрѣніе къ его личности и не равносильно гоненію на мысль,—этотъ высшій даръ Божій и основной интересъ къ бытію? Лучшимъ памятникомъ для писателя нужно считать распространеніе сокровищъ его духа въ мірѣ и въ особенности въ родномъ народѣ, который его выдвинулъ изъ своей массы, чтобы заглянуть въ глубь своей души и не прозябать, а жить и развиваться сознательно.

Аполлонъ Григорьевъ явился двигателемъ народнаго сознанія преимущественно въ той области, которая, будучи наилучшимъ, по его мнѣнію, изъ земныхъ дѣлъ, обладаетъ необыкновенною и непостижимою силою вести человѣчество къ свѣту истины, къ совершенству и къ высшему счастью. Его мысли—продуктъ жизни, неразрывно слиты съ жизнью и вносятъ жизнь въ нашу жизнь. Это превосходно выразилъ поэтъ К. К. Случевскій въ стихотвореніи, посвященномъ памяти критика-самобытника въ 1889 году:

---

<sup>1)</sup> „Московскія Вѣдомости“ 1895 г. Литературныя замѣтки Ю. Николаева

Здѣсь въ полной осени, въ листьѣ  
Съ ея смертельной позолотой  
Въ нѣмыхъ гробахъ, въ сухой травѣ  
Лежать, полегши не охотой,  
Лежать, какъ стежки по канвѣ,  
Рисунокъ нѣкій выполняя,  
Ряды безсчетные людей...  
Здѣсь смерть царить, здѣсь воля ей  
Вершить—забрала не снимая,  
Но, если гдѣ-нибудь, когда  
Во имя сердца и труда,  
Во имя многого страданья  
Глубоко-страстного призванья  
Мысль и надъ смертію царить,—  
Такъ это здѣсь. Григорьевъ спитъ  
Сномъ непробуднымъ, но живая  
Его душа, вся огневая,  
И сквозь металлъ и сквозь гранить,  
Что день, то ярче выступаетъ.  
Такъ блескъ алмаза тьма рождаетъ  
И почекъ будущей весны  
Всѣ вѣтви кладбища полны.

---



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе . . . . .	Стр. 3— 4
-----------------------	--------------

### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Духъ времени и отраженіе его въ жизни Аполлона Григорьева .	5— 7
---	------

### ГЛАВА ВТОРАЯ.

Родина.—Семья.—Дѣтство.—Вліяніе двора.—Домашнее обуче- ніе.—Чтеніе книгъ . . . . .	8— 15
---	-------

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Студенчество и Московскій университетъ съ новыми порядками и молодыми профессорами.—Знакомство съ Я. Полонскимъ и А. Фе- томъ и литературныя симпатіи товарищей.—Занятія науками и успѣхи Григорьева.—Увлеченіе философій.—Любовь къ музыкѣ.—Пробужденіе общественнаго самосознанія въ связи съ расцвѣтомъ гения Пушкина.	16— 24
---	--------

### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Окончаніе курса наукъ въ университетѣ и служба при немъ.— Основы личности Григорьева и его предпочтеніе литературнаго поприща и мѣръ ученаго.—Перѣздъ въ Петербургъ и поступленіе на службу въ Сенатъ.—Начало писательской дѣятельности Григорьева въ „Репер- туаръ и Пантеонъ“.—Изданіе сборника „Стихотвореній“ и отзывъ Вѣ- дическаго.—Столичныя впечатлѣнія . . . . .	25— 38
--	--------



## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Стр.

Возвращение въ Москву. — Сотрудничество въ „Московскомъ Городскомъ Листкѣ“, „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и „Отечественныхъ Запискахъ“. — Преподавание въ Сиротскомъ домѣ и 1-й Московской гимназiи. — Женитьба. — „Москвитянинъ“, — составъ редакціи и направление журнала; статьи А. Григорьева о современной русской литературѣ: взгляды его на историческую критику; „новое слово“. — „Опытъ о русскихъ народныхъ пѣсняхъ“. — Вліяніе критики А. Григорьева на современное ему общество. — „Русская Вѣсѣда“. . . . . 39— 59

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Путешествіе въ Италію и Францію. — Магическое дѣйствіе классическихъ памятниковъ искусства и итальянской сцены на эстетическое чувство критика и его восторженные отзывы о жизни на югѣ въ перепискѣ съ дѣвицей Е. С. П.—й. — Пребываніе въ семействѣ князей Трубецкихъ и знакомства. — Случай въ Венеціи. — Отсутствие денегъ и письмо къ А. Фету. — Переломъ въ міросозерданіи А. Григорьева . 60—68

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Сочиненія А. Григорьева, напечатанныя въ отсутствіе его. — Статья „Критическій взглядъ на основы, значеніе и приемы современной критики искусства“: несостоятельность чисто-эстетической и исторической критики и отличіе ихъ отъ органической, принципы послѣдней; сущность искусства, роль критика, задачи художника, вдохновеніе, гений и его признаки . . . . . 69— 81

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Отношеніе прессы къ Ап. Григорьеву по возвращеніи его изъ-за границы. — Этюды о русскихъ писателяхъ въ „Русскомъ Словѣ“ и А. Григорьевъ, какъ истолкователь Пушкина. — Объясненіе терминовъ органической критики. — Сотрудничество А. А. въ „Русскомъ Мірѣ“ и статья объ А. Н. Островскомъ. — Выходки противниковъ критика и размовки его съ редакціями. — Мрачный взглядъ А. А. на свое положеніе въ литературѣ. — Неудачная поѣздка въ Москву для работъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ М. Н. Каткова. — Возвращеніе въ столицу, нужда и заключеніе въ „Долговомъ“ въ 1860 г. — Статьи въ „Свѣточѣ“. — „Время“, направленіе почвенниковъ, живое участіе въ этомъ

журналъ А. Григорьева и неожиданное столкновение съ М. М. Достоевскимъ . . . . .	Стр. 82—107
--	----------------

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Поездка въ Оренбургъ и причины ея.—Дорожныя впечатлѣнія.— Недовольство провинціальной жизнью.—Переписка съ Н. Н. Страховымъ и литературныя занятія.— Публичныя лекціи объ А. С. Пушкинѣ.—Служба въ Неплюевскомъ кадетскомъ корпусѣ и отзывъ объ Ап. Григорьевѣ одного изъ его учениковъ . . . . .	108—113
---	---------

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Новыя статьи во „Времени“—Редактированіе „Якоря“ и непрактичность А. Григорьева.— Тяжелое матеріальное положеніе и равногласіе со всѣми направленіями органовъ печати.— Театральная критика и переводы пьесъ.—„Эпоха“ и послѣднія работы А. Григорьева.— Заключеніе въ догговорѣ.— Окончательное разстройство здоровья и упадокъ душевныхъ силъ.—Смерть критика.— Семья покойнаго.—Соблѣзнованія друзей А. Григорьева и отношеніе печати къ личности и литературной дѣятельности усопшаго писателя. . . . .	114—128
---	---------

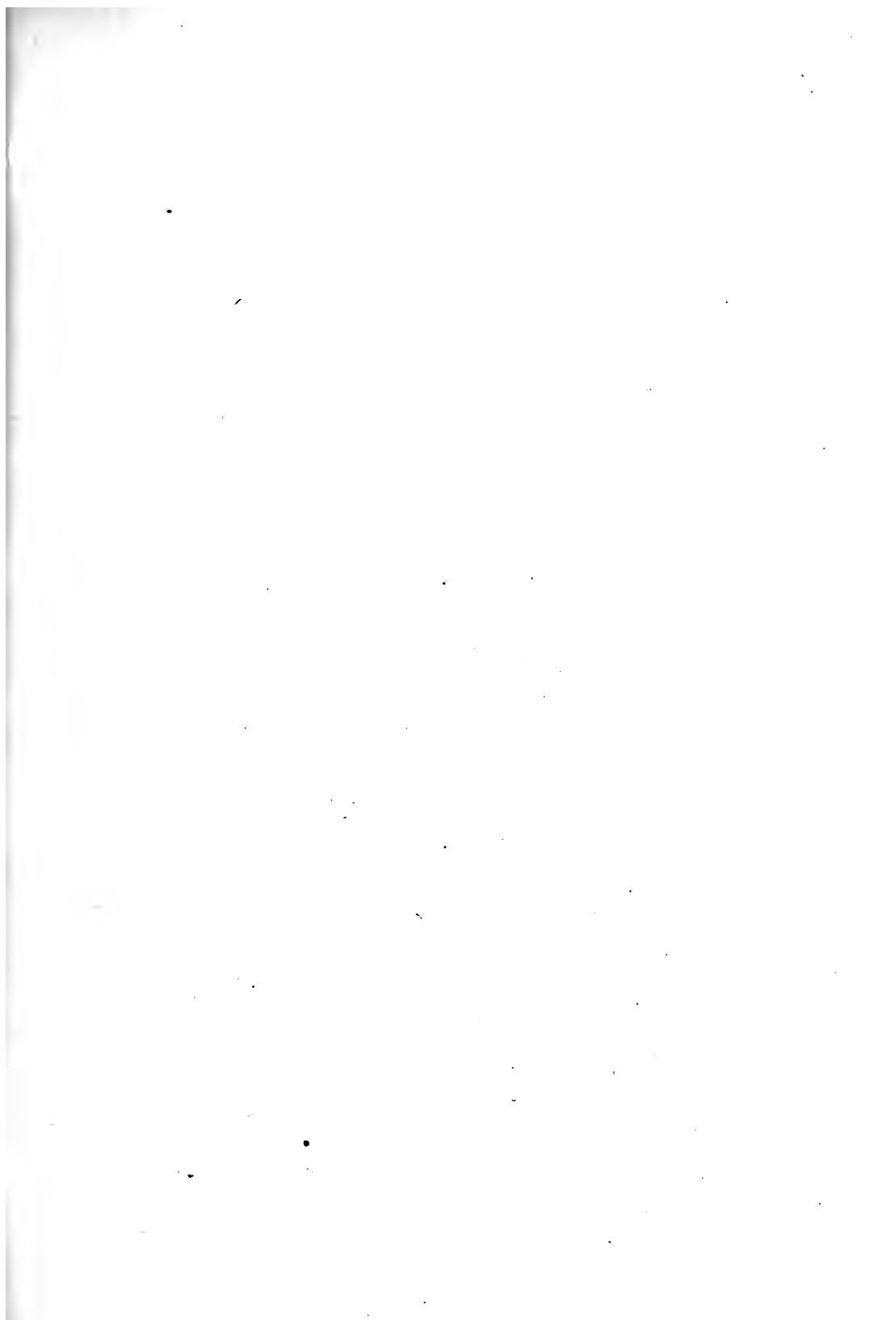
## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Одинокое положеніе критика при жизни и по смерти въ русской литературѣ.— Причины непопулярности трудовъ А. Григорьева, по мнѣнію Н. Страхова, В. Маркова, С. Трубачева, А. Галахова, О. Достоевскаго и Д. Аверкіева.—Выпускъ въ свѣтъ перваго тома сочиненій А. Григорьева и медленность распространенія книги.—Открытіе памятника А. С. Пушкину въ Москвѣ и пробужденіе интереса въ критику А. Григорьева.— 25 лѣтіе со дня смерти критика-самоубытника и литературныя поминки по немъ . . . . .	129—140
---	---------

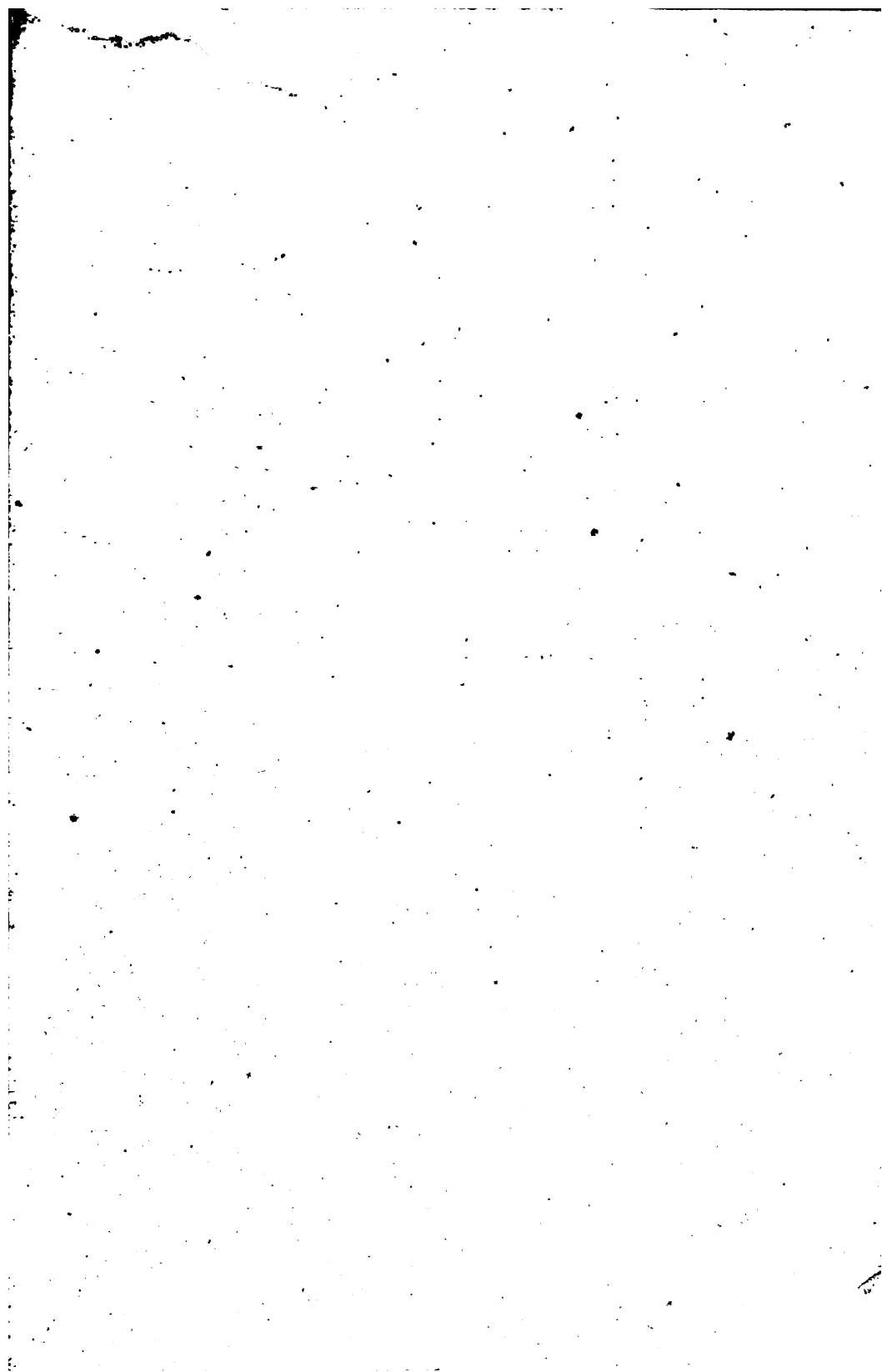
## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ

Наружность и здоровая, крѣпкая натура Ап. Григорьева.— Душевный складъ его: сходство съ Гамлетомъ, Чацкимъ и Донъ-Кихотъ изъ.—Положительныя и отрицательныя стороны его характера.—Свои свойства его личности; отраженіе въ ней стихій народнаго духа и богатство индивидуальныхъ особенностей: его идеализмъ, эн-

тузіазмъ, даровитость, — Частная жизнь А. А. Григорьева: отсутствіе склонности въ критикѣ къ семейной осядлости и супружеская рознь Григорьевыхъ, по объясненію ихъ сына; горячая привязанность А. А. къ предмету своей прежней любви; отношенія къ друзьямъ и постороннимъ лицамъ; демократизмъ А. А. и простой образъ жизни, нерасчетливость и непрактичность, неумѣнье распредѣлять время и непостоянство въ трудѣ, злоупотребленіе напитками и печальными послѣдствіями. — Артистическая натура Григорьева. — А. А., какъ многосторонне образованный, начитанный, гуманный, искренній и честный писатель. — Критическій талантъ его, отличительныя черты его мышленія и оцѣнки литературныхъ явленій. — Заслуги Григорьева въ исторіи русской критики и господствующее разногласіе о мѣстѣ, занимаемомъ имъ въ ней: сторонники первенства В. Г. Вѣлиискаго и сопоставленіе дарованія и дѣятельности Григорьева со значеніемъ критики Н. А. Добролюбова. — Послѣдователи А. А. Григорьева: Н. Н. Страховъ и Ю. Николаевъ. — Важная роль покойнаго критика въ дѣлѣ пробужденія народнаго самосознанія и умственнаго и эстетическаго развитія русскаго общества; возможно-широкое распространеніе его идей, какъ лучший памятникъ ему; стихотвореніе К. К. Случевского . . . . 141—169







СОЧИНЕНІЯ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

„Впечатлѣнія жизни“. Стихотворенія. Вып. I. СПБ. 1892 г. 40 к.,  
Вып. II. 1893 г. 30 к.

Цѣна 1 руб.

Складъ изданій: С.-Петербургъ, Малая Конюшенная ул.,  
д. 1—3, кв. 49.

Книжные магазины: **И. Глазунова** (Садовая, д. 20) и **Н. Г. Мартынова**. Площадь Александринскаго театра, домъ гр. Бекендорфа.







This book should be returned to  
the Library on or before the last date  
stamped below.

A fine is incurred by retaining it  
beyond the specified time.

Please return promptly.

MAR 20 '64 H

184-139

~~CANCELLED~~  
2 743

CANCELLED

7787453

MAR 14 1983